



ЮНОСТЬ

2

1969



Надежда Константиновна КРУПСКАЯ.

Скульптура работы народного художника СССР
Е. Белашовой.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



*Слава советским
людям,
прокладывающим
новые пути
в космос!*

Г О Д И З Д А Н И Я
П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й

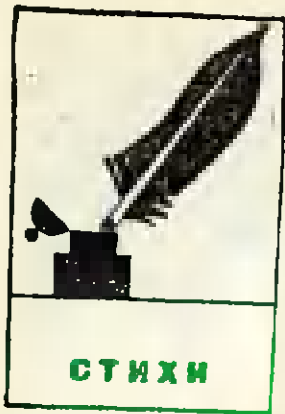
2

[165]

ФЕВРАЛЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



Геннадий Хорошавцев



Горны

Удушливый ком
поднимается медленно к горлу,
и песню горниста
совсем невозможно понять.
— Куда вы зовете меня,
пионерские горны?
Куда вы зовете меня,
барабаны, опять?

И детство как будто
кострами давно отпылало,
и номер дружины
на номер полка заменен.
Откуда же в Знамени,
символе воинской славы,
таинственный шепот
моих пионерских знамен!

Откуда в присяге
моя пионерская клятва
всегда быть готовым
к труду и суровым боям?
Вы слышите, горны?
Куда б вы ни звали солдата,
готова всегда
с вами выступить юность моя!

Сейчас она галстук повяжет,
крылатый и гордый,
и с песней пойдет,
от веселых веснушек ряба.
...Знакомым до боли,
простуженным голосом горна
поет, не срываясь,
«Подъем»
полковая труба.

Вечерняя поверка

Все живое в казарме
застыло и смолкло, не двигаясь.
Так притихшие травы стоят,
предвещая грозу.

Одному старшине
здесь дано это право завидное —
стихотворные строки фамилий
читать наизусть.

Я друзей понимаю.
Я сам, как поэмой, заслушался.
Может, кто-то из тех,
с кем я рядом сегодня стою,
завтра, всех прикрывая,
на дзот своим телом обрушится,
в ротных списках оставив
навечно фамилию свою...

Выбор

Не сердись, что я махнул рукой
на ковровый, плюшевый покой.
Суматоха полков и кают
мне дороже, чем такой уют.

Под «морзянку», бьющую в вагон,
спят солдаты с крыльями погон.
Я себя в солдатах узнаю,
юность окрыленную свою.

Уходя в ночное никуда,
за окошком стонут провода.
За окошком горизонт в огнях,
сто дорог зовут с собой меня.

И из них, из тех, что тяжелей,
ждет меня какая-то одна,
чтобы я всего глотнул сполна
и потом о прошлом не жалел.

Знаешь, проходя огонь и дым,
можно оставаться молодым!
...Нервничают строчки под рукой.
Не сердись. Прости, что я такой.

□ □ □

Владимир Поленов



Мальчишки

Мальчишки играют в войну,
Знакомую им понаслышке,
А я, в общем, тот же мальчишка,
Себе это ставлю в вину.

А мне бы вот так подбежать
К чумазому горе-вояке
И крикнуть, дыхание сжав:
«Отставить войну, забияка!»

Ах, если б все было не так!
Но сердце заходится рьяно,
Лицо зарывается в стяг,
Не в стяг — в кумачовую рану.

И, словно бы бабьим платком,
В те злые, жестокие годы
Слезу утирала тайком
Страна уголками восхода.

Погон я своих не сниму,
Наш общий покой охраняя...
Мальчишки играют в войну,
Покуда тревог не играют!

□ □ □

Виктор
Сычев



«По-2»

Глаза прищуришь,
всмотришься — и вот
Над полосой соснового
прибоя,
Покачиваясь, черточка
плывет,
Как будто стрелка чуткого
прибора.

Натужно тянет старенький
мотор:
«По-2» ресурсы вылетал
давно уже.
Но над землей сверкнет,
как метеор,

Как сталь клинка, что к бою
рвут из ножен.

И техникам,
Которым к сорока,
Кому пришлось иметь
с войною дело,
Покажется, что вдруг,
издалека,
Их экипажи
Еле долетели...

И что сейчас по горло
будет дел —
Латать, ласкать перкаль,
кляня пилота:
— Ну как, сержант,
ты чудом долетел!
Ну что ж, сержант,
ты сделал с самолетом!..

Но рев сверхзвуковых
тяжелых «Ту»
Заглушит рокот старого
мотора.
Они уйдут спокойно
в высоту
Расчерченного трассами
простора.

А над землею, видимый едва
И в реактивном гуле
еле слышный,
Садится тихо
старенький «По-2»,
Летающая память
о погибших...



Ему б в какую-нибудь Ниццу,
Где пляжи
выгнулись дугой...
А батька
мается в больнице
С незаживающей ногой.

Он днем лекарства пьет
И свято,
Как в бога, верит в докторов,
А ночью
фрицев кроет матом,
Кусая губы — жестко, в кровь.

А забытье придет под утро,
Словно привал перед рывком.
Ему больничная подушка
Шинельным снится рукавом,
Карболкой пахнущим и дымом.
И снится левая рука...

А рядом спят
друзья седые,
Которым нет и сорока.

Юлия Друнина



Мне уже в начале жизни повезло,
На свою не обижаюсь я звезду,
В сорок первом меня бросило в седло,
В сорок первом, на семнадцатом году.
Жизнь солдата, ты отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

Как мне в юности когда-то повезло,
Так и в зрелости по-прежнему везет:
Наше чертово «святое ремесло»
Распускать поводья снова не дает.
Жизнь поэта, ты отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

И, ей-богу, просто некогда стареть,
Хоть мелькают полустанками года.
Допускаю, что меня догонит смерть,
Ну, а старость не догонит никогда!
Не под силу ей отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

Из сицилийской тетради

Что же это за наважденье!
Мало памяти фронта мне!
«Террамото» — землетрясенье —
Вижу каждую ночь во сне!

Снова горы, тумана вата,
Визг резины да ветра свист.
За баранкою Вы — сенатор,
Сын Сицилии, коммунист.

«Коммунисты — на террамото!» —
Этот лозунг гремел везде.
...Нереальное было что-то
В краткой встрече, в ночной езде.

Будто вновь, сквозь тумана вату,
По дорожке по фронтовой
Я на «виллисе» мчусь с комбатом
К раскаленной передовой...



И с каждым годом
все дальше,
И с каждым годом
все ближе,
ближе

Отполыхавшая юность наша,
Друзья,
которых я не увижу.

Не говорите,
что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом.
Живу как будто в двух измерениях:
В шестидесятом
и в сорок первом.

Живу я жизнью обыкновенной,
Живу невидимой жизнью странной —
Война
гудит в напряженных венах,
Война
таится во мне,
как рана.

Во мне пожары ее не меркнут,
Живут законы солдатской чести:
Я дружбу мерю окопной меркой:
Тот друг,
с кем можно в разведку вместе...



В моей крови —
кровинки первых русских:
Коль упаду,
так снова поднимусь.
В моих глазах,
по-азиатски узких,
Непокоренная
дымится Русь.

В моих ушах
посвистывают стрелы,
Протяжный стон
преследует меня.
И смутно мне знакомый,
белый-белый,
Какой-то ратник
падает с коня.

Упал мой прадед
в ковыли густые,
А лишь очнулся —
снова сел в седло.
...Еще,
должно быть,
со времен Батыя
Уменье подниматься нам дано.

В моей крови —
кровинки первых русских.
Я знаю:
упаду,
так поднимусь.
В моих глазах,
по-азиатски узких,
Непокоренная
дымится Русь...

ее слова об активной жизни детворы, боевистости пионерской организации.

Слушая доклад Н. К. Крупской, я была далека от мысли, что очень скоро вновь встречу ее.

После съезда состоялся Пленум ЦК ВЛКСМ, и меня выбрали в Бюро ЦК, утвердили председателем Центрального бюро Детской коммунистической организации. С чего начать, что делать? Я понимала, что лучшего советчика, чем Надежда Константиновна, найти трудно. Но пойти к ней и сознаться, что я слабо представляю свою работу на посту председателя ЦБДКО, у меня не хватило духу, а гордости, идущей от молодости (мне тогда исполнилось 19 лет), было с избытком. Но стоило лишь повторить ей с просьбой принять, как был назначен день и час встречи.

Информация о плане работы Президиума Центрального бюро, как мне показалось, Надежду Константиновну не заинтересовала. У меня хватило сообразительности откровенно сказать ей, что мы слабо представляем себе, как живут пионеры, какие вопросы волнуют их, чем им надо помочь, поэтому решили провести смотр тульской пионерской организации; все, что увидим, широко осветить на страницах комсомольской и пионерской печати. Бюро ЦК комсомола создало бригаду, введя в нее представителей от «Комсомольской правды», «Пионерской правды» и журнала «Пионер». Меня утвердили бригадиром.

Во время разговора нам обоим как-то стало легче. Мне — потому что я преодолела ложную стыдливость, а ей стало ясно, что перед ней начинающий «руководящий» работник, который хочет, но не знает еще, как работать, ему нужна помощь.

Из этой беседы с Надеждой Константиновной я сделала для себя серьезный вывод на всю жизнь: никогда и нигде не создавать видимости, что все знаешь; простота и правдивость — верный союзник в понимании людьми друг друга, каким бы жизненным опытом они ни обладали.

После Тулы, откуда мы приехали, обогащенные знаниями жизни пионерских отрядов, накопив некоторый опыт, мы встретили Надежду Константиновну на заседании Наркомпроса. Она пригласила нас, пионерских работников, к себе. На другой день я вместе со своими товарищами — В. Зориным, И. Разиным, А. Высоцким, К. Соколовым, М. Рейхрутом — была у нее. Тульский смотр показал, что объединить-то мы массу ребят в пионерские отряды объединили, а вот содержание работы звеньев, отрядов еще не ясно. На первых порах ребят увлекали маршировка, песни, игры, оформление уголков, но пионеры выросли, эта работа их не удовлетворяла, и часть из них даже стала уходить из пионерских отрядов. То, что мы увидели в Туле, лишний раз подтвердило слова Надежды Константиновны, сказанные ею в докладе на VIII съезде комсомола: «Мы все любим наших пионерчиков, но, знаете, когда



Надежда Константиновна Крупская.

Рисунок Н. Жукова.

шении работы над книгой для пионеров «Круг общественных работ, навыков и знаний». Она высказала сомнение в необходимости издания такого пособия. Не получится ли в жизни так: возьмет вожатый эту книгу и по ней будет натаскивать пионеров, не сузим ли мы общественную работу отрядов размерами этой книги, не закуем ли мы работу пионеров в определенные рамки. Но мы, видимо, так убеждали в необходимости такого пособия, что Надежда Константиновна в конечном итоге согласилась с нами. «Круг общественных работ, навыков и знаний» был утвержден и разослан пионерским отрядам и сыграл определенную роль в оживлении пионерской работы. Но после Всесоюзного слета пионеров, принявшего «Наказ пионерской органи-

«...Человечество никогда не забудет того, что сделала эта женщина для человека, наиболее дорогого всему миру трудящихся...»

«...Выдающийся революционер, вдумчивый марксист и педагог... Стоя рядом с Владимиром Ильичем, она в течение долгих и долгих лет

несла на вид скромную, в самом же деле чрезвычайно существенную и во многом влиявшую на ход роста нашей партии роль, так сказать, главного секретаря, корреспондента и делопроизводителя во всей гигантской работе, которую вел Ленин в процессе строительства нашей партии...»

Юлия Друнина



Мне уже в начале жизни повезло,
На свою не обижаюсь я звезду,
В сорок первом меня бросило в седло,
В сорок первом, на семнадцатом году.
Жизнь солдата, ты отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

Как мне в юности когда-то повезло,
Так и в зрелости по-прежнему везет:
Наше чертово «святое ремесло»
Распускать поводья снова не дает.
Жизнь поэта, ты отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

И, ей-богу, просто некогда стареть,
Хоть мелькают полустанками года.
Допускаю, что меня догонит смерть,
Ну, а старость не догонит никогда!
Не под силу ей отчаянный аллюр —
Марш, атака, трехминутный перекур.

Из сицилийской тетради

Что же это за наваждение!
Мало памяти фронта мне!
«Террамото» — землетрясение —
Вижу каждую ночь во сне!

рищен.
В эти дни все ждали доклада Надежды Константиновны Крупской. Многие раньше не видели и не слышали ее. Она появилась на трибуне как-то незаметно. После первых произнесенных ею фраз создавалось впечатление, что мы ничего не услышим. Говорила она тихо и очень приглушенно. Но наступила мертвая тишина, все боялись пошевелиться и пропустить хотя бы одно слово, сказанное ею.

Н. К. Крупская сразу сказала, что разговор пойдет о воспитании борцов за коммунизм. В пионер-

Статья печатается в сборнике «Рядом с Лениным», подготовленном Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Политиздатом.



И с каждым годом
все дальше,
И с каждым годом
все ближе,
Отполыхавшая юность наша,
Друзья,
которых я не увижу.

Не говорите,
что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом.
Живу как будто в двух измерениях:
В шестидесятом
и в сорок первом.

Живу я жизнью обыкновенной,
Живу невидимой жизнью странной —
Война
гудит в напряженных венах,
Война
таится во мне,
как рана.

Во мне пожары ее не меркнут,
Живут законы солдатской чести:
Я дружбу мерю окопной меркой:
Тот друг,
с кем можно в разведку вместе...



В моей крови —
кровинки первых русских:
Коль упаду,
так снова поднимусь.
В моих глазах,
по-азиатски узких,
Непокоренная
дымится Русь.

В моих ушах
посвистывают стрелы,
Протяжный стон
преследует меня.
И смутно мне знакомый,
белый-белый,
Какой-то ратник
падает с коня.

Упал мой прадед
в ковыли густые,
А лишь очнулся —
снова сел в седло.

Еще,
не должны в своей работе копировать взрослых, но элемент борьбы за идеалы своих отцов и матерей должен всегда быть в их жизни.

Ее любимое выражение было — надо научить ребят вглядываться в жизнь. Не готовые задания давать ребятам, а будить в них инициативу, самостоятельность, чтобы они были не только исполнителями, но ясно сознавали, ясно видели, что надо делать и как надо делать. В вожатом она видела старшего товарища, советчика пионеров. С задачами воспитания подрастающего поколения, говорила Надежда Константиновна, могут справиться совместными усилиями партия, комсомол и школа.

Настроению делегатов, которые встретили Октябрьскую революцию детьми, были очень созвучны

ве-
не,
ее
на
ло
ти
ла
на-
ог-
се-
вое
ья
чи-
ор
го
ик
ий
ы-
их
м,
ы
е-

о-
у-
а-
я

ее слова об активной жизни детворы, боевитости пионерской организации.

Слушая доклад Н. К. Крупской, я была далека от мысли, что очень скоро вновь встречу ее.

После съезда состоялся Пленум ЦК ВЛКСМ, и меня выбрали в Бюро ЦК, утвердили председателем Центрального бюро Детской коммунистической организации. С чего начать, что делать? Я понимала, что лучшего советчика, чем Надежда Константиновна, найти трудно. Но пойти к ней и сознаться, что я слабо представляю свою работу на посту председателя ЦБДКО, у меня не хватило духу, а гордости, идущей от молодости (мне тогда исполнилось 19 лет), было с избытком. Но стоило лишь позвонить ей с просьбой принять, как был назначен день и час встречи.

Информация о плане работы Президиума Центрального бюро, как мне показалось, Надежду Константиновну не заинтересовала. У меня хватило сообразительности откровенно сказать ей, что мы слабо представляем себе, как живут пионеры, какие вопросы волнуют их, чем им надо помочь, поэтому решили провести смотр тульской пионерской организации; все, что увидим, широко осветить на страницах комсомольской и пионерской печати. Бюро ЦК комсомола создало бригаду, введя в нее представителей от «Комсомольской правды», «Пионерской правды» и журнала «Пионер». Меня утвердили бригадиром.

Во время разговора нам обоим как-то стало легче. Мне — потому что я преодолела ложную стыдливость, а ей стало ясно, что перед ней начинающий «руководящий» работник, который хочет, но не знает еще, как работать, ему нужна помощь.

Из этой беседы с Надеждой Константиновной я сделала для себя серьезный вывод на всю жизнь: никогда и нигде не создавать видимости, что все знаешь; простота и правдивость — верный союзник в понимании людьми друг друга, каким бы жизненным опытом они ни обладали.

После Тулы, откуда мы приехали, обогащенные знаниями жизни пионерских отрядов, накопив некоторый опыт, мы встретили Надежду Константиновну на заседании Наркомпроса. Она пригласила нас, пионерских работников, к себе. На другой день я вместе со своими товарищами — В. Зориным, И. Разиным, А. Высоцким, К. Соколовым, М. Рейхрутом — была у нее. Тульский смотр показал, что объединить-то мы массу ребят в пионерские отряды объединили, а вот содержание работы звеньев, отрядов еще не ясно. На первых порах ребят увлекали маршировка, песни, игры, оформление уголков, но пионеры выросли, эта работа их не удовлетворяла, и часть из них даже стала уходить из пионерских отрядов. То, что мы увидели в Туле, лишний раз подтвердило слова Надежды Константиновны, сказанные ею в докладе на VIII съезде комсомола: «Мы все любим наших пионерчиков, но, знаете, когда присмотришься к тому, что делают наши пионерские отряды и что делают наши форпосты, то можно прийти к заключению, что пионерские организации — это просто какой-то внешкольный кружок, какая-то совершенно смирененькая организация, которая ни о какой борьбе не думает». Вот у нас и пошел разговор вокруг вопросов, выдвинутых Надеждой Константиновной на съезде. Она приводила массу примеров участия детей в революционных событиях, и даже в жизни большевистского подполья, и на этих примерах доказывала, что возможны многие общественно полезные дела, посильные для ребят.

Мы рассказали Надежде Константиновне о завер-



Надежда Константиновна Крупская.

Рисунок Н. Жукова.

шении работы над книгой для пионеров «Круг общественных работ, навыков и знаний». Она высказала сомнение в необходимости издания такого пособия. Не получится ли в жизни так: возьмет вожатый эту книгу и по ней будет натаскивать пионеров, не сузим ли мы общественную работу отрядов размерами этой книги, не закуем ли мы работу пионеров в определенные рамки. Но мы, видимо, так убеждали в необходимости такого пособия, что Надежда Константиновна в конечном итоге согласилась с нами. «Круг общественных работ, навыков и знаний» был утвержден и разослан пионерским отрядам и сыграл определенную роль в оживлении пионерской работы. Но после Всесоюзного слета пионеров, принявшего «Наказ пионерской организации», эта книга утратила свое значение.

В большом разговоре с Надеждой Константиновной зашла речь о том, что пионеры подчас не знают, что принадлежат почти к двухмиллионной детской организации; дальше своего отряда ничего не видят.

Это было начало разработки вопроса о районных, областных, а затем и I Всесоюзного слета пионеров.

В дни, когда шла подготовка к нему, пионерские работники жили активной и сверхнапряженной жизнью. Надежда Константиновна в эти дни особенно была близка к нам. Она согласилась работать в комитете содействия слету и помогла получить от Михаила Ивановича Калинина согласие быть предсе-

дателем этого комитета. Вошли в него также тт. А. С. Енукидзе, Н. А. Семашко, Ем. М. Ярославский, Д. К. Гончарова (ответственный секретарь Президиума Московского Совета), Е. С. Коган (секретарь Московского городского комитета партии), К. И. Николаева (секретарь ВЦСПС) и другие партийные, советские работники. Задумано было большое дело — собрать в Москве около семи тысяч пионеров-делегатов от пионерских организаций. А денег у Центрального бюро юных пионеров было очень немного. Между тем предстояло оплатить проезд по железной дороге, питание делегатов, помещение, посещение театров. Было много и других расходов. И если бы не такой авторитетный, представительный комитет содействия, нам бы со всем этим не справиться.

На первом заседании комитета Михаил Иванович Калинин спросил: «А где же мой заместитель?» (я была утверждена его заместителем по комитету содействия) — и при этом многозначительно улыбнулся. «Какая у нас повестка дня и что нам надлежит обсудить?» Видя мое смущение перед столь авторитетными людьми, Надежда Константиновна и А. С. Енукидзе подбадривали меня взглядами и как бы говорили: не бойтесь, все решим. Утверждение порядка проведения слета больших дебатов не вызвало. Перешли к вопросу о размещении детей. Возникло два варианта: разместить делегатов-пионеров на квартирах рабочих или занять казармы красноармейцев, которые выехали в летние лагеря. Надежда Константиновна поддержала первый вариант: «Очень хорошо, что дети со всего Союза будут гостями московских рабочих». Второй вариант не встретил поддержки. Только Н. А. Семашко выразил сомнение, сможем ли мы обеспечить необходимые санитарные условия, но быстро согласился и заявил, что врачи тщательно проверят квартиры, в которых разместят детей. Дора Климентьевна Гончарова рассказала, что Московский Совет и районные Советы уже готовятся к этому, взяли на учет семьи рабочих, желающих взять к себе детей. Таких семей оказалось больше, чем нужно.

Дошла очередь до следующих вопросов: питание, проезд по железной дороге, предоставление помещений, стадионов, театров, парков и т. д. Все это требовало больших средств. Надежда Константиновна сказала, что Анатолий Васильевич Луначарский согласился бесплатно предоставить театры, цирк, кино, то есть все, чем располагает Наркомпрос. Надежду Константиновну поддержал А. С. Енукидзе, говоря, что не так велики будут затраты по каждому ведомству. Он, в свою очередь, поговорил с А. А. Андреевым, который в то время работал на транспорте. А. А. Андреев дал согласие на бесплатный проезд по железной дороге пионеров на слет и обратно, а Климент Ефремович Ворошилов обещал бесплатно предоставить Октябрьские лагеря для проведения дня военной работы слета, накормить ребят из красноармейской кухни. Клавдия Ивановна Николаева обещала выделить в распоряжение ребят профсоюзные клубы, стадионы, кино. Оставался нерешенным вопрос о питании ребят, так как все остальное обслуживание в Москве (трамвай, парки, наглядная агитация и т. д.) брал на себя Моссовет.

Надежда Константиновна обратилась к Доре Климентьевне со словами: не могли бы москвичи покормить детей, так как они будут ведь гостями Москвы? Дора Климентьевна Гончарова пообещала доложить эту просьбу Моссовету. Михаил Иванович изъявил желание поговорить с председателем Моссовета К. В. Ухановым. Вот так, без проволочек, без

канители была решена судьба Всесоюзного пионерского слета.

Когда зашел разговор о приеме пионеров-делегатов слета, во всех наркоматах и в центральных организациях (ВЦСПС, Центросоюзе) возник вопрос, кто должен их принять. Конечно, нарком и их заместители, сказала Надежда Константиновна. Это очень важно для детей. «Вот и хорошо, Надежда Константиновна, — обратился Михаил Иванович к ней. — Мы Вас попросим переговорить со всеми наркоматами и нужными руководителями, Вы умеете всех уговаривать, а им будет трудно Вам отказать».

Надежда Константиновна выступала перед делегатами слета с двумя докладами — и на Всесоюзной конференции в Андреевском зале Кремля и на международной конференции, где принимали участие пионеры других стран, которые были на слете. Ее личный пример помог нам очень быстро получить согласие Глеба Максимилиановича Кржижановского сделать на той же Всесоюзной конференции пионеров доклад о первой пятилетке. Глеб Максимилианович сначала усомнился: «О пятилетке — и детям, что же я им буду говорить», — но, узнав, что на этой конференции выступает с докладом «О Ленине» Надежда Константиновна, сказал: «Нужно. Хорошо. Я посоветуюсь с Надеждой Константиновной, как сделать доклад».

Статьи Надежды Константиновны до, в период и после слета привлекали внимание партийных, комсомольских, советских работников к этому большому и интересному начинанию и к самой пионерской организации.

В дни проведения Всесоюзного слета пионеров Надежда Константиновна как-то помолодела, была поистине неутомима, везде успевала, была на вокзалах, когда приезжали дети, на открытии и закрытии слета и просто среди ребят, когда они обедали и завтракали. Умудрилась побывать в одном районе в квартирах москвичей, где были гостеприимно приняты ребята, и очень сожалела, что не смогла провести с пионерами день в военных лагерях. Мы шутили говорили: «Конечно, Вам надо было и пострелять с ребятами из большой винтовки». Понимая нашу шутку, она ответила: «Из винтовки я, пожалуй, не постреляла бы, а вот борщ и кашу из красноармейского котелка с удовольствием бы поела и на пионерских кострах могла бы посоперничать с боевыми командирами». Перед этим мы ей с восторгом рассказали, что ребята ели лучше щи и кашу в военных лагерях, чем хорошо приготовленные бифштексы и гуляши в ресторане Центрального парка культуры и отдыха, где их кормили во время слета. Расхваливали и красочные костры и интересные беседы военачальников.

Вспоминается еще один эпизод, о котором трудно не рассказать. Открытие слета состоялось на стадионе «Динамо». Делегаты, московские пионеры — участники открытия слета, шли по Тверской улице стройными рядами. Они были в пионерских костюмах, веселые, загорелые, лилась песня, музыка духовых оркестров подбадривала шаг, на тротуарах стояли толпы москвичей. Было как-то радостно, и праздничное настроение не покидало никого. Надежда Константиновна и Алексей Максимович Горький (он несколько раз появлялся с ней на слете) приветствовали ребят с балкона Моссовета. Они оба были взволнованы, слезы не только стояли в глазах, но предательски текли у них по щекам. Я никогда такой взволнованной, одухотворенной не видела Надежду Константиновну.



Надежда Константиновна была прирожденным массовиком. В ее жизни (уже в советское время) коллектив рабочих комбината «Трехгорная мануфактура» занимал немалое место. Не так давно встретились старые работники комбината тт. Шмелев, Тавровская, Чернова, Сорокина, Курочкин, Плащанская, Семенова и помогли вспомнить отдельные эпизоды о связях Надежды Константиновны с рабочим коллективом комбината «Трехгорная мануфактура».

В ленинские дни 1936 года на торжественном собрании рабочих в театре имени Ленина Надежда Константиновна выступала с докладом об Ильиче. После доклада в верхнем фойе этого театра собрались работницы и рабочие, которые очень хорошо ее знали. Фойе было неширокое, посередине стоял большой длинный стол, очень скромно накрытый для чая. Все дружно расселись вокруг стола. Надежду Константиновну посадили в начале его, так, чтобы ей хорошо было видно всех присутствующих. Как-то само собой, без подготовки работницы начали вспоминать о своих встречах с ней в первые годы Советской власти.

— Да! — задумчиво сказала Надежда Константиновна. — В те годы я была у вас частым гостем. По решению Секретариата ЦК нашей партии все члены ЦК были прикреплены к крупным московским заводским и фабричным ячейкам для ведения среди рабочих агитационной работы. Время было трудное, надо было слово партии донести до них. Меня и Николая Ильича Подвойского прикрепляли к вашему коллективу. Николай Ильич и сейчас состоит у вас в партийной организации.

— Да! Да! Надежда Константиновна состоит у нас в партийной организации ткацкой фабрики, — сказал кто-то из присутствующих ткачей.

— А я помню, как вы посещали нас в ликбезе и читали нам лекцию, вот уже забыла, о чем. Только трудно давалась нам эта грамота. С фабрики спешишь домой. Там — куча дел, а тут уроки надо готовить и бежать в ликбез, — говорила прядильщица Семенова. Она напонила, как хотела бросить ликбез, но Надежда Константиновна удержала ее от этого шага словами о том, что матери ответственны за воспитание своих детей, а для этого самим надо быть образованными. Дети ведь скоро вас обгонят, станут грамотными и уважать перестанут, если будете безграмотными, отсталыми людьми, — не знаю, так ли Вы говорили, но эта мысль очень запала мне в душу, — закончила Семенова, при этом взглянув на Надежду Константиновну.

Сестры Антоновы, две ткачихи, вспоминали, как Надежда Константиновна выступала в ткацком цехе вскоре после смерти Владимира Ильича. Эта беседа заставила их задуматься, как дальше жить. Обе они подали заявление в партию.

— Тогда на «Трехгорке» вступило в партию много рабочих, — отозвался на их слова Сергей Владимирович Шмелев — заведующий химической лабораторией.

Никто не направлял этой беседы, кто-то начинал свой рассказ, как только кончал другой.

Надежда Константиновна, увидев Сорокину, обратилась к ней:

— Как ваши подшефные дети живут?

— Хорошо, — ответила Сорокина. И напонила, как Надежда Константиновна пригласила ее и ткачиху Чернову поехать с ней в детский дом. При осмотре детского дома она интересовалась всем. Хороша ли постель у ребят, нет ли пыли на мебели, в столовой попробовали обед: вкусно ли готовят для

детей. Когда все осмотрели, побеседовали с ребятами, с руководителями детского дома, Надежда Константиновна подала нам мысль: нельзя ли устроить так, чтобы детей детского дома работницы приглашали к себе домой на выходные дни. Как вы думаете, работницы согласятся? — Мы первые согласились с Надеждой Константиновной, и не на словах, а на деле; в первый же выходной день взяли к себе ребят, и стали они нам родными детьми. А за нами последовали другие работницы. Сорокина в тот раз не рассказала, но на «Трехгорке» все об этом знали, что Надежда Константиновна созвала у себя совещание представителей других фабрик и пригласила Чернову и Сорокину, заставив их рассказать, как ребята у них отдыхают, как чувствуют себя у них дома. И стало это хорошее начинание примером для многих работниц других фабрик и заводов.

Надежда Константиновна несколько раз пыталась дать беседе другое направление, но было невозможно остановить работниц, их рассказы были искренни, просты и душевны, и веяло от них таким теплом, что и самой Надежде Константиновне было интересно послушать. Она так же, как и все, отдалась воспоминаниям.

— Много раз мы хотели потревожить Вас, — вступил в разговор наш немногословный медлительный старый рабочий, председатель депутатской группы т. Новиков. — Но вот наш секретарь парткома (при этом он посмотрел на меня) не дает нам, все говорит: не беспокойте ее по пустякам, сами решайте свои вопросы без ее помощи. Так как, Надежда Константиновна, тревожить Вас или не тревожить?

Укоризненно посмотрела на меня Надежда Константиновна и сказала: — Мне не положено подрывать авторитет вашего секретаря. И сказать, чтобы вы не слушались ее — партийную дисциплину нарушать нельзя. Но я ваш депутат и член вашей депутатской группы. Должна же я нести нагрузку, вот вы и давайте мне поручения, а я в меру своих сил буду выполнять их. Милости прошу, приходите.

Незаметно беседа перешла на производственные темы, а затем на внутренние и международные вопросы.

Время было позднее, беседа явно затягивалась, кто-то заметил, что Надежда Константиновна устала, и встал, а за ним встали остальные. Все пошли ее провожать, помогли одеться, кто подал ей калоши, кто пальто, кто шляпу; проводили до машины, усадили ее и, только когда скрылась машина, стали группами расходиться. Кто-то при этом сказал: «А шофер-то старый, что Ильича возил, а как заботлив к ней».



Надежда Константиновна так хорошо понимала людей, их настроение, переживания. Не раз от нее можно было услышать: поставьте себя в положение того или иного человека хотя бы на минуточку, и вы всегда поймете его. Сама она всегда следовала этому правилу.

Возвращалась я с Пленума ЦК ВЛКСМ: он проходил в Андреевском зале Кремля. Ушла немного раньше, шла одна. У выхода Боровицких ворот повстречалась с Надеждой Константиновной. Было холодно, обе мы были основательно закутаны, но она сразу узнала меня.

— Пойдемте ко мне, согреемся, чайку выпьем, пойдемте.

Мне кажется, я не сказала ни да, ни нет и пошла за ней. Прошло немногим более двух месяцев после того, как смерть унесла близкого мне человека. Надежда Константиновна хорошо знала его и понимала мое горе. Когда мы уселись на кожаном диване в ее комнате, я забралась с ногами в левый угол дивана, Надежда Константиновна села справа. Незаметно для меня она начала свой рассказ, не затрагивая моего состояния, не говоря ненужных слов утешения, она хорошо знала, что сейчас нужно для меня.

— Вот так, книгу за книгой, статью за статьей, его речи, я все перечитала, все, что написал Владимир Ильич. Вы знаете, я никогда не теряла во время этой работы ощущения присутствия его, его мысли как бы вновь приобрели для меня новизну, и я значительно глубже стала познавать их и часто ловила себя на том, что я как бы продолжала с ним беседу, при этом я представила себе его возражение или подтверждение. Вот так я и привыкла коротать свободное время от работы, правда, его у меня мало, но все же было. Читая, я невольно вспоминала обстановку, в которой та или иная работа писалась, вспоминала товарищей, врагов, наши споры, драки. Владимир Ильич, когда оканчивал статью или работу, всегда читал мне первой, я невольно становилась его первым собеседником. Я привыкла к этому, как мне этого сейчас не хватает.

Надежда Константиновна перешла к рассказу о ее личных отношениях с Владимиром Ильичем. Эта сторона их жизни оставалась достоянием только памяти ее и их близких друзей. Чувствовалось, что об этом ей хочется говорить и говорить. Рассказав мне отдельные эпизоды, она как-то сама встрепенулась от воспоминаний, как видно, от моих слов: «Надежда Константиновна, об этом надо вам писать, это так нужно нашей молодежи, о такой большой любви она мечтает, и не всегда в жизни она есть».

— Я не поэт и не писательница,— при этом она как-то по-особому улыбнулась,— пережить большое человеческое чувство легче, чем написать о нем. Вот поэтому медленно подвигается моя работа над воспоминаниями. Пишу и вновь переживаю свою и Владимира Ильича жизнь.

Я смотрела на нее и чувствовала, как отогреваюсь физически от тепла в комнате и душевно от ее рассказа. Какая большая прожитая жизнь, и какое большое человеческое чувство связывало их! В то время я не видела в ней жену вождя пролетарской революции, гения человечества, а просто человека с его горем и переживаниями. Несмотря на то, что прошло более восьми лет после смерти Владимира Ильича, для нее он все еще был живым.

Мы перешли в кухню. Я сидела на табуретке, Надежда Константиновна налила чай. У меня невольно вырвалось: «Как же Вы его не уберегли?» Я сама испугалась своего вопроса, но Надежду Константиновну он не озадачил.

— Вы знаете, как много и самоотверженно работал Владимир Ильич, и если бы я захотела уменьшить эту нагрузку, он бы меня не послушался.— При этом она очень хорошо улыбнулась не мне, видно,— своим воспоминаниям.

В это время хлопнула входная дверь.

— Вот и Мария Ильинична пришла.

Я встала и начала собираться уходить.

— Посидите, посидите.

Как видно, я выразила жестом или словом, что стесняюсь и даже побаиваюсь Марию Ильиничну.

— Что вы, Нюра, Мария Ильинична только внешне суровая, а это добрейшей души человек.

Попили мы чай, разговор шел на самые отвлеченные темы.

Вскоре я распрощалась с ними.

Алексей Стребков

МОЙ УЧИТЕЛЬ ЛЕНИНИЗМА

В суровый морозный январский день, когда небольшая наша деревня Мульгино на Орловщине утопала в снегах, пришла к нам весть: умер Владимир Ильич Ленин. Не помню, кто и как ее принес,— телефона в деревне не было, газеты приходили с опозданием. Но тяжелая весть эта распространилась по избам мгновенно, и каждый воспринял ее как личное горе, как утрату в своей собственной семье. Женщины плакали, мужчины собирались группками, курили, вздыхали да тоже украдкой вытирали слезу. Никогда еще наше Мульгино не переживало такого горя.

В те дни в стране началось новое, небывалое движение: ленинский призыв в большевистскую партию. Сотни тысяч рабочих, крестьян, интеллигентов выражали свое желание стать коммунистами, чтобы коллективно восполнить великую утрату партии. Вот в эти-то дни трое пареньков из бедняцких семей — Миша Мальцев, Серега Савенков и я — решили вступить в комсомол. Решить-то решили, а как это сделать? До нашего уездного города Ливны сорок кило-

метров, до волости двадцать пять. Коммунистов и комсомольцев у нас в деревне нет. Кто за нас поручится?

На наше счастье, вернулся в деревню на побывку из далекого города Ленкорань, что у персидской границы, один наш мульгинский — красноармеец Михаил Савенков, коммунист. Он поддержал нас и стал нашим первым поручителем. Вторую рекомендацию дал секретарь волостного комитета комсомола. Так в ленинский призыв трое ребят из глухой деревни на Орловщине стали комсомольцами.

Тогда это было делом не простым, ибо коммунистов, как я уже написал, в деревне не было, и какое бы дело ни проводили у нас волостной комитет партии, волисполком, сельсовет, даже милиция, они при этом опирались на нас, трех пареньков с комсомольскими билетами. А ведь нам в те дни не исполнилось еще по шестнадцать лет, да и работы в хозяйствах родителей, как эти хозяйства ни были малы и нищи, хватало.

Молодым людям сегодняшних дней трудно, вероят-



...После окончания лекций мы сфотографировались вместе с Надеждой Константиновной...

но, и представить, в каких условиях приходилось жить и работать нам, деревенским комсомольцам двадцатых годов. Комсомольские собрания проводились у нас по воскресеньям в селе, откуда родом вышел знаменитый впоследствии шахтер Алексей Стаханов. От этого села до нашей деревни было двадцать пять километров. Бывало, в субботу известят: в девять часов комсомольское собрание. Встаем чуть свет и шагаем. А потом, уже вечером, тоже пешим порядком, топаем домой, скрашивая путь песней. Так иной раз всю дорогу и пропоем. Летом и сапоги снимали и шли разувшись, чтобы сберечь подметки.

Но мечтой моей стало попасть в город. Ведь в родительском хозяйстве хлеба до сева не хватало. Посоветовался я как-то после собрания с секретарем волкома комсомола Алешей Таршиновым. Выслушал он меня, согласился: верно. Промышленность сейчас начинают восстанавливать, там руки нужны. Ступай. Дал мне открепление и сказал на дорогу: не подводи сельскую комсомолию, не будь летуном, не гоняйся за длинными рублями, работай «на ять». Я обещал. Попрощались. Дала мне мать на дорогу полбуханки хлеба, с десяток вареных картофелин да щепоть соли. Денег, разумеется, не дала: откуда? Дошел я до ближайшей железнодорожной станции, влез в вагон и доехал до города Енакиево. Когда поют известную песню «Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой», я всегда вспоминаю свое прибытие в этот город.

Тяжело, очень тяжело жилось тогда в этом краю, особенно пострадавшем в гражданскую войну. Разрушенные стояли заводы, в заводских трубах птицы свили гнезда. На бирже труда длинные очереди, месяцами люди ждали хоть какой-нибудь работенки. Я было пришел в заводской комсомольский комитет. Показал комсомольский билет. Выслушать-то меня выслушали по-хорошему, но резонно сказали: куда ж они меня устроят, много квалифицированных рабочих ходят без дела. Я проявил настойчивость, добрался до секретаря партийного, как сейчас помню, по фамилии Журия. Посмотрел он на разбитые мои сапожонки, на узелок, в котором было все мое имущество, и развел руками: нет работы. Потом, должно быть, стало меня ему жалко, подвел к окну.

— Как звать-то?

— Алексеем.

Он показал рукой в окно: там виден был завод, в котором еле-еле теплилась жизнь.

— Вот, брат Алеха, видишь трубы, мертвый почти наш завод. Вот когда эти трубы задымят, приходи. Найдем работу. В ученье определим. А пока перебейся хоть чем-нибудь. — И добавил: — И носа чтоб не вешать, ты ж комсомолец. Комсомолец ленинского призыва.

Я эти слова его потом часто вспоминал. Работал я и батраком и камнями возил и щебень. Кое-как существовал, но носа не вешал. И обещание товарища Журия помнил. И действительно, когда летом 1925 года производство на заводе стало разворачиваться,

райком комсомола направил меня в прокатный цех в ученики. Вскоре я уже работал на дисковой пиле прокатного стана и даже иногда подменял машиниста.

С каким теплом вспоминаю я, теперь уже пожилой человек, эти дни моей комсомольской юности! Хоть и трудно, очень трудно было, но кажется, ничего лучше и быть не могло. И каждый день был у нас полон и работой, и учебой, и борьбой. Время зря мы не растрчивали. Нас бросали туда, где были нужны хорошие руки, и мы шли туда и работали в полную меру сил. Работал я и слесарем и машиниста на блюминге подменял. Не отрываясь от производственных своих дел, был членом заводского штаба «легкой кавалерии». Юнкорию довольно активно, был пионервожатым. Понадобилось укрепить транспортный цех — и меня, довольно уже квалифицированного прокатчика, послали помощником машиниста на паровоз. Слова не сказал, пошел. Раз нужно — значит, нужно.

И при всем том мы учились. Непрерывно учились ленинизму. Не было парня или дивчины, чтобы не занимались в политкружке. А для тех, кто хотел пополнить свое политическое образование, была создана совпартшкола, отличная совпартшкола, которой у нас в Енакиеве руководил Николай Алексеевич Вознесенский, впоследствии видный деятель Коммунистической партии. Я окончил эту школу. Стал коммунистом. День, когда я получил партбилет, я считаю самым значительным днем в моей жизни. Я ходил и все повторял: «Коммунист. Я коммунист!» — и мне казалось, что я стал каким-то другим, что мне теперь ничего не страшно. Я все сумею, все смогу, все сделаю, что только партия прикажет.

Но приказ, который я получил от партии, оказался довольно скромным. В райкоме, должно быть, учли, что был я когда-то пионервожатым, и мне поручили, опять-таки не отрываясь от производства, стать нештатным инструктором по работе с детьми. Так, работая сначала на паровозе, потом сцепщиком, потом составителем поездов, я (и, надо сказать, не без увлечения) занимался вопросами воспитания. И вот в 1930 году меня мобилизовали в счет трехсот коммунистов-производственников на пионерско-комсомольскую работу.

Тут я подхожу к той страничке моей биографии, о которой всегда буду вспоминать с любовью и волнением. Я говорю о тех пяти днях, которые мы, коммунисты и комсомольцы заводов и фабрик Украины, мобилизованные на незнакомое еще для нас дело детского воспитания, по окончании курсов под Харьковом провели в Москве.

Это было в апреле 1930 года. Прибыли мы в столицу специальным поездом, который был поставлен на запасных путях Курской железной дороги. Ему предстояло стать нашим жилищем на период столичного гостевания. Все мы страшно волновались. Ну как же, мы в столице, где никто из нас еще не бывал! Все мы по обычаю комсомольцев тех дней были одеты в юнштурмовки. Чтобы не ударить лицом в грязь перед москвичами, мы решили идти на курсы строем. Встали по четыре в ряд и, выйдя на Садовое кольцо, грянули по-украински любимую нашу песню.

— Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой.
Кто паровозы оставлял
И шел на баррикады.

И когда дело доходило до припева, в песню включалась вся наша колонна, а иные, засунув пальцы в рот, лихо подсвистывали.

— Наш паровоз, вперед лети.
В Коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Москвичи останавливались на тротуарах, улыбались, иные махали вслед руками, удивляясь, откуда это взялись такие горластые парни и девчата. После завтрака мы тем же строем прошествовали в Московский планетарий. Над нами зажглись сочные звезды, какие осенью горят над степями Украины, и мы, уставшие от дороги и новых впечатлений, честно говоря, сладко вздремнули под монотонный голос лектора. Но после планетария пришла весть, которая сразу же согнала с нас сонное настроение, заставила позабыть и звезды, и строение Вселенной, и все на свете. Мы узнали, что нам будет читать лекции Надежда Константиновна Крупская.

Ну кто из нас не знал этого имени, кто заочно не любил и не уважал этого человека! Ведь она была женой, другом, близким соратником Владимира Ильича Ленина. Мы знали ленинскую биографию, можно сказать, «назубок», знали о том, что когда-то эта девушка из интеллигентной русской семьи, рискуя своей свободой, преподавала в рабочих школах, что вслед за Владимиром Ильичем устремилась она в далекую Сибирь, что там обвенчалась с политическим ссыльным, обменявшись с ним самодельными медными гильцами. Знали, что она оставалась другом и помощником Ленина до самой его кончины. И все мы, конечно, читали ее статьи о педагогике и детском воспитании. А тут нам предстоит ее слушать!

В этот вечер мы долго не могли уснуть в вагонах поезда, служившего нам жильем, тихонько пели украинские и русские песни, переговаривались. На следующий день каждый из нас запасся карандашом и тетрадкой. Решено было записывать все как можно подробнее.

За час до первой лекции Надежды Константиновны все мы, разумеется, были уже в зале, на своих местах, сидели над раскрытыми тетрадями, блокнотами, нетерпеливо вертели в руках остро отточенные карандаши. Знали: то, что мы услышим, — это ведь на всю жизнь. И вот наконец открылась дверь, и на пороге в сопровождении какого-то товарища, который должен был нам ее представить, появилась Надежда Константиновна. Все мы ее знали, конечно, по фотографиям и портретам. Помнится, у нас в общестии висело фото: больной Владимир Ильич полулежит в кресле, а она в свободном сером платье сидит рядом с ним на садовой скамейке.

Вот такой же, очень какой-то простой, она и предстала перед нами, и этой своей простотой прежде всего поразила нас. Ведь что там греха таить, каждый из нас втайне ожидал увидеть какого-то необыкновенного и удивительного человека, а перед нами была пожилая, болезненного вида, скромно и даже несколько старомодно одетая женщина с гладкой прической. Она смотрела на нас и улыбалась как-то по-особенному, по-матерински, что ли.

— Здравствуйтесь, товарищи, — сказала она, все еще улыбаясь. И мы вразнобой, но старательно грохнули:

— Здравствуйтесь, Надежда Константиновна.

Но когда она начала свою лекцию — нет, конечно, не лекцию, а беседу, ибо то, что мы услышали, лекцией никак не назовешь, — мы все как-то сразу забыли и про подчеркнутую обыденность ее облика, и про старомодное платье, и про болезненный вид. В аудитории наступила такая тишина, что глуховатый, негромкий голос Надежды Константиновны был

слышен в любом, самом отдаленном углу просторного помещения, в котором как-никак сидело больше трехсот парней и дивчин, в общем-то довольно беспокойных и шумных.

Вот сейчас, почти сорок лет спустя, пройдя длинный жизненный путь, я стараюсь понять, почему эта седоватая, немолодая женщина излучала такое обаяние и оставила в моей душе такой глубокий след. Вероятно, все-таки потому, что, слушая ее, мы все время представляли ее рядом с Лениным, образ которого был нам так дорог!

Она говорила нам о важной миссии воспитателей новых поколений строителей социализма, возложенной на нас Коммунистической партией. Самой важной, самой почетной и самой нелегкой миссии, по ее словам. Заблаговременно разложив перед собой тетрадки, мы во время этой первой ее лекции, точнее, беседы, увлеченные тем, что она говорила, так ничего и не записали, и, лишь вернувшись в свой вагон, я постарался по свежим впечатлениям восстановить основные тезисы этой первой ее беседы.

— Нет для истинного большевика более важной и ответственной задачи, чем воспитание новых поколений строителей социализма.

— Вас, друзья, ждет на этом пути много трудностей, огорчений. Не бойтесь. Коммунист не может, не имеет права бояться трудностей. Смело, ничего не тая, рассказывайте об этих трудностях молодежи, ученикам, пионерам, детям. Ильич в самые тяжелые моменты всегда говорил большевикам, народу правду, и только правду, говорил, не боясь этой правды, как бы она ни была горька, и это мобилизовывало людей на борьбу с трудностями, спланивало народ вокруг партии.

— В каких бы тяжелых условиях ни приходилось работать вам, верьте: правда, большая правда на вашей стороне, на стороне большевиков, и сами не бойтесь этой правды, ибо лишь правда, прямо и твердо сказанная, может мобилизовывать очень чуткую молодежь на великие дела...

У нее был удивительный дар убеждать. И в то же время она говорила с нами, комсомольцами, как с равными, как с товарищами. Это был разговор по душам, о том, что саму ее беспокоило. Она словно советовалась с нами, и в этом, вероятно, также заключался секрет ее обаяния. На ее лекциях каждый из нас чувствовал себя как бы ее собеседником, и каждому казалось, что она говорит именно с ним.

— Коммунистическое воспитание,—говорила она,— заключается в том, чтобы научить, с пионерского возраста научить молодежь идти вместе с комсомолом, под руководством партии, быть верными солдатами социализма.

Помнится, в первом же своем выступлении она привела нам слова Владимира Ильича, обращенные к III съезду Российского Коммунистического Союза Молодежи:

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество... Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек будет говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не выйдет».

А потом, в ходе бесед, не раз возвращалась к этим словам.

В перерыве мы шумной толпой окружили ее и засыпали вопросами со свойственным молодости эгоизмом, позабыв, что перед нами пожилой человек и что она, естественно, устала во время лекции. Но для таких людей, как Надежда Константиновна, воз-

раст был не страшен. Серебряные краски старости не портят, а как бы даже украшают их. И она охотно, сама увлекаясь, беседовала с нами, отвечая на наши вопросы. Теперь, изучив ленинские труды и ленинскую биографию, я знаю, что эта манера, этот метод уважительного разговора с такой аудиторией был и ленинским методом. Ведь Ленин в своих беседах, речах всегда не только давал, но и что-то брал у масс, не только учил, но и учился у них. С такой же меркой подходила к аудитории Надежда Константиновна, и это сообщало ее беседам особую убедительность.

Разумеется, при первом же удобном случае мы стали упрашивать ее рассказать нам о жизни и деятельности Владимира Ильича. Она согласилась. Следующая лекция ее была о Ленине.

Теперь мы уже свыклись с необычным лектором и начали записывать ее слова. Я могу процитировать их по старой тетрадке своих записей. Вероятно, вы все читали, (а тем, кто не читал, настоятельно рекомендую прочесть) воспоминания Крупской о Ленине. Поэтому то, что говорила она тогда нам, украинским комсомольцам двадцатых годов, едва постигшим азбуку коммунизма, сейчас уже не покажется новым, ибо эти мысли Надежда Константиновна потом зафиксировала в своих статьях и в этой книге. Но то, что мы слышали тогда эти мысли от нее самой, навсегда запечатлело их в нашей памяти.

Помнится, начала она свою лекцию о Ленине ссылкой на его первые работы и процитировала нам выдержку из ранней его работы «Что такое «друзья народа»...?», тогда еще мало кому из нас известной. Вот эти слова:

«Когда передовые представители его (класса рабочих.— Автор.) усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу,— тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Ведь эти слова Владимира Ильича, сказанные еще в прошлом веке, освещают весь путь нашей партии.

Особенно подробно рассказывала Надежда Константиновна об отношении Ленина к вопросам воспитания. Он, сын прекрасного педагога, видел обучение в школах в неразрывной связи с революцией, с движением народов к коммунизму. Он видел в школе, постановке всей школьной, пионерской, комсомольской работы важное средство подготовки бесклассового общества. Он много думал о школе и воспитании. И Надежда Константиновна рассказывала нам, как важно, по мнению Владимира Ильича, было тесно увязывать школьную учебу с жизнью страны, как значительны вопросы политехнического воспитания, которые надо решать по-большевистски, то есть умно, продуманно и глубоко.

Вспоминается еще такой ее рассказ. Однажды она рассказала Владимиру Ильичу о статье в американском журнале, в которой говорилось, что американцы собираются в таком-то году в своей стране изжить неграмотность. И, рассказывая, говорила она, я как-то невольно вздохнула: а когда же мы-то решим эту задачу. Владимир Ильич задумался, потер себе лоб, а потом оживился и сказал: мы сделаем то же самое, может быть, даже раньше, чем Амери-

ка. Сделаем, если сумеем мобилизовать массы на это дело, если за него возьмутся самые широкие слои интеллигенции. Теперь мы знаем, как Ленин был прав. Трудящиеся Советского Союза, направляемые своей великой партией, в кратчайший период ликвидировали неграмотность — это самое страшное наследие царского строя. Сейчас наша огромная страна стоит на пороге обязательного полного среднего образования. Ну, а Соединенные Штаты, богатейшая из капиталистических стран, и до сих пор имеют еще миллионы безграмотных.

По кирпичику укладывала Надежда Константиновна в наше сознание основы ленинского учения. Но что было самым важным и самым главным, — она прививала нам жгучий интерес к произведениям Ленина, которые мы в те времена еще мало читали и знали разве только по цитатам. Может быть, это — преувеличение, но по себе знаю, верю, что после ее лекций все мы, триста украинских парубков и девчат, стали усердными читателями произведений Владимира Ильича, стали изучать ленинизм по первоисточникам.

И еще помню ее слова о Ленине как о человеке.

— Он не был аскетом, — рассказывала она. — Он был жизнерадостным человеком, он и на коньках

любил кататься, обожал велосипедные прогулки. И по горам лазил, как завзятый альпинист. И на охоту любил ходить. Очень любил хорошую музыку. И песни. И сам пел при случае. Но больше всего любил он людей. Беседы с людьми были самым дорогим из его занятий. Он всегда восхищался мудростью народа. Он учил людей и учился у них.

Эту последнюю фразу я крупными буквами записал в своей тетрадке и дважды подчеркнул. Учить массы и учиться у масс! Теперь это популярнейший лозунг, а тогда это было для нас откровением и как бы ключом ко всей ленинской жизни.

Пять дней, проведенных нами тогда в Москве, лекции Надежды Константиновны промелькнули быстро. Но верю, что никто из нас, присутствовавших на этих лекциях, не забывал их всю жизнь. Надежда Константиновна навсегда останется для нас лучшим учителем ленинизма.

Фотографию, где мы снялись вместе с Крупской, я пронес через все прошедшие с тех пор сорок лет, не расставаясь с ней и в тяжкие годы войны. Эту фотографию и тетрадь с записями ее бесед я сберег, и на основе этих записей я и написал эти воспоминания для «Юности».



ПУБЛИ-
ЦИСТИКА

В. Любова

ВОЕННЫЙ ОБЪЕКТ № 736



В те годы я работала директором 105-й ленинградской школы в Бабурином переулке, на Выборгской стороне. Хорошо помню наш веселый выпускной бал весной 1941 года.

А спустя пять дней... Утром 22 июня учителя и ученики, которые еще оставались в городе, пришли в школу.

— Валентина Федоровна, ребята просят вас на комсомольское собрание,— взволнованно сказал мне вбежавший в кабинет Юра Лерман, вчерашний выпускник, секретарь комсомольской организации школы. И через несколько минут перед полным залом звучал его звонкий голос:

— Комсомольцы, помните, как мы много раз говорили, что по зову Родины, по зову партии готовы идти в огонь и в воду и, если потребуется, никто из нас не пожалеет ни молодости, ни жизни... Друзья, час этот настал. Я первый иду добровольцем защищать нашу священную землю.

Собрание было коротким. Комсомольцы вместе с коммунисткой Александрой Титовой Кондратьевой, завхозом школы, привели в боевую готовность чердак и бомбоубежище; под руководством учителей отобрали и упаковали наиболее ценные приборы и наглядные пособия кабинетов; в учебной части был составлен круглосуточный график дежурств по школе. Вскоре большинство наших выпускников и комсомольцев-десятиклассников ушли на фронт или стали работать в госпитале. Среди них были Юра Лерман, Коля Костин, Вова Михайлов, Юра Барабанов и другие. Много старшеклассников с учителями уехало рыть противотанковые рвы. Остальные ребята несли дежурство по школе.

С войной началась новая жизнь школы. Учителя работали на противотанковых рубежах, помогали райисполкому эвакуировать население, несли службу дружинников МПВО района. Здание школы было занято под эвакупункт, а потом и под воинские подразделения.

Враг со всех сторон окружал город. Настроение у нас было очень тревожным. Все чаще и чаще стали поступать печальные вести с фронтов о ранениях и гибели родных, знакомых.

Первого сентября ребята пришли в школу. Они толпились у двери, на которой висело необычное объявление.

— Факт, что пока война, занятий не будет. Вот и объявление написано: «Школа не работает». Да и все классы заняты военными. Учителей нет, и ребят осталось мало: некоторые еще с оборонных не вернулись, а некоторые эвакуировались,— уверяла ребят семиклассница Зина Курочкина.

— И совсем не факт. Ты читать по-русски не умеешь. В объявлении написано: «Пока школа не работает»,— а дальше: «О начале занятий все будут своевременно оповещены». Ну, а это о чем говорит?— возразил ей Гриша Баранов.

Занятия в нашей школе начались после Октябрьских праздников и не прекращались во все тяжелые годы войны и блокады города.

Вначале занимались все классы. Но зимние месяцы выдерживали только старшеклассники. Это были страшные месяцы, холодные, голодные, без воды и света. Но «зимовщики», как мы называли своих старшеклассников, не сломались. Девушки и юноши,

их было семнадцать, успешно окончили весной школу. А один из них — Юра Пунин — отлично.

Выпускники учились и одновременно работали на оборону города. Отличник Юра, пропагандист и агитатор школы, был донором в военном госпитале, Роза Гендина и Андрей Копылов работали в госпитале санитарями; Лена Сорокина — воспитателем в детском доме; Кира Мякишева, секретарь комсомольской организации школы, в первый же блокадный год вырастила комсомольскую организацию, до этого насчитывавшую пять человек, до тридцати пяти.

В девять часов со звоном начинались занятия, на уроках учителя объясняли новый материал по программе, спрашивали старый, за ответы ставили оценки. Но во всем чувствовалась особенная деловитость, и все было подчинено строгому военному порядку. Часто уроки прерывались душераздирающим воем сирены — сигналом воздушной тревоги, а иногда и сразу оглушительным грохотом разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда. В том и другом случае ученики, как один, поднимались из-за парт и быстро шли за учителем цепочкой в бомбоубежище. Бойцы школьной группы самозащиты спешно занимали боевые посты. Школа становилась крепостью.

Для старших ребят урок продолжался в приспособленных для занятий отсеках бомбоубежища, а маленьким учителя что-нибудь читали или рассказывали. Бывали дни, когда одна тревога сменялась другой, и тогда приходилось сидеть в бомбоубежище долгие часы.

Дежурные по школе, учителя и ученики, считали себя свободными только тогда, когда все малыши были разведены по домам и школа подготовлена для работы к следующему дню.

В школе оставались ночные дежурные; дежурство было круглосуточным.

Каждое утро перед занятиями в кабинете директора собирались на диспетчерский час (5—10 минут) завуч, завхоз, дежурные. Они докладывали, как прошла ночь, готова ли школа к занятиям. Директор отдавал распоряжения. Все это записывалось в журнале дежурств.

Никто не думал тогда, что наша простая самодельная книжка станет историческим документом и будет храниться в музее. Вот несколько записей из нее:

«25 июля 1941 года (8—16 часов). День прошел без особых трудностей, отправлены на оборонные работы 5 учителей и 16 старшеклассников. Дежурные: Линфорс, Николаева»

25 августа (20 час. 30 мин.— 8 час. утра). В течение ночи прибывали беженцы; размещены во 2 и 3 этажах. Дежурные: Костылева, Рябова.

Дежурным: в помощь столовой для обслуживания беженцев направить четырех учениц. Директор школы В. Любова.

9 сентября (8—16 ч.). В течение дня непрерывные воздушные тревоги: 11 ч.— 11 ч. 20 мин.; 11 ч. 55 мин.— 12 ч. 15 мин.; 13 ч. 50 мин.— 14 ч. 28 мин. В школе все благополучно. Во время последней тревоги дежурный ученик Коля Ефремов на чердаке школы загасил две зажигалки. Дежурная: В. Каракулина.

3 марта 1942 г. (8—16 ч.). Читали с учащимися старших классов письмо с фронта от бывшего ученика Юры Лермана. Он пишет: «Дорогая Валентина Федоровна. Простите, что пишу плохо; пишу левой рукой: правую проклятые искалечили. Вы за меня не беспокойтесь, я постараюсь быть полезным Ро-

дине, ведь я воспитывался в нашей 105-й советской школе. Накануне боя был принят в партию. Любящий и уважающий вас Ю. Лерман». Дежурная: В. Гусарова.

24 ноября 1942 г. (8—16 ч.). Сегодня не было на занятиях учительницы Н. Г. Алмазовой. Вероятно, добраться до школы помешал обстрел. Уроки математики замещены. В течение дня было две воздушных тревоги. Дети своевременно были отведены в бомбоубежище. Продолжалась подписка на танковую колонну, собрано — 1 323 рубля. Дежурная: Е. Панкратова.

30 ноября 1942 г. (8—16 ч.). Школа к занятиям была подготовлена хорошо. В школе чисто, в классе, кроме VII, тепло. Ребята этого класса плохо заготавливают дрова. Завтракали все своевременно. Обед из двух блюд (суп из фасоли с пшеном и 100 граммов гороховой каши) запоздал. Состоялся инструктаж воспитателей по проведению бесед, посвященных памяти С. М. Кирова, и политинформация для учителей и работников школы. Дежурная: М. Киршина.

Дежурным: за последние дни учащиеся выходят из школы большими группами, что опасно в случае обстрела. Пронаблюдать выход учащихся из школы. Директор В. Любова».

Школьники в те дни с особым рвением относились к учению. Помню, как в новогоднюю ночь старшеклассница Зоя Прусакова была тяжело ранена и отправлена в госпиталь. Когда она через три месяца вернулась, учителя и ребята устроили у нее на дому консультации по всей учебной программе: всем хотелось, чтобы она не отставала от класса. И она не отстала.

Помню, как она на костылях зашла ко мне в кабинет, чтобы сообщить, что приступила к занятиям.

— Спасибо, Валентина Федоровна, вам, учителям и ребятам, за внимание ко мне...

— Тебе спасибо, Зоевка, за мужество...

Она выглядела худенькой и жалкой. Но вскоре, когда к ней вновь вернулась ее прежняя веселость, Зоя с юмором рассказывала о пережитом ею.

Ребята работали много и самоотверженно. Школа находилась на самообслуживании. Две старые, истощенные няюшки — Александра Васильевна Богословская и Анисья Матвеевна Аианьева — при всем своем желании не могли обслужить школу. Школьники и учителя помогали им убирать помещения, заготавливать дрова. Для отопления исполком выделил нам деревянный дом на соседней улице. Мы разбирали его, возили бревна и доски на тачке во двор, пилили, кололи, а потом уже топили печки-временки, сложенные тоже своими руками. Канализация не работала, для уборных рыли ямы во дворе.

Всем этим работам сопутствовал постоянный риск быть убитым или искалеченным: как стало известно позже, наша школа была обозначена в фашистских планах как военный объект номер 736; а это значило, что она была в квадрате систематического обстрела.

«...В руках немцев обычный план города превращался в карту боевых операций. Они испещрили его условными цифрами. Каждая цифра — номер «военного объекта».

Каждому номеру соответствовали артиллерийские данные: прицелы, калибры, типы снарядов. Так, по объекту № 736 (школа в Бабурином переулке) рекомендовалось стрелять осколочно-фугасными; по

объекту № 192 (Дворец пионеров) — предпочтительно футасно-зажигательными...» — сообщала «Правда» в статье «Как они обстреливали Ленинград».

И они стреляли... Прямых попаданий в здание нашей школы не было, но от взрывной волны и осколков снарядов, рвавшихся вблизи, у нас то и дело вылетали оконные рамы, двери, рушились печи, а иногда и целые звенья кирпичных стен, часто выходил из строя водопровод. Но все, что было под силу ученикам и учителям, ремонтировалось и восстанавливалось. Восстанавливалось людьми, которые едва держались на ногах, обессиленные голодом и холодом.

Могу ли я забыть новогоднюю елку в первую злую военную зиму?! Город был без света, без воды, без топлива, окруженный врагами, обстреливался днем и ночью, но все-таки было решено организовать для всех ленинградских детей новогоднюю встречу. Для ребят Выборгской стороны она была в нашей, 105-й школе.

В зале стояла красиво убранная маленькая елочка. Затежник приглашал ребят в хоровод, но голодные, с потухшими глазами ребята жались друг к другу и к теплой печке, к елке не шли и даже не глядели на нее: ждали обещанный «чудо-обед», который, как назло, откладывался: одна за другой следовали воздушные тревоги, и ребят приходилось спускаться в бомбоубежища.

Но вот наконец они в столовой, за столами. Им подали густой суп, густую пшеничную кашу и даже сладкий компот. Кроме всего этого, каждый получил новогодний подарочек — пакет с сухарями, пряником и двумя мандаринами — с теми самыми, что с таким трудом были доставлены в Ленинград бесстрашным шофером Твердохлебовым в новогоднюю ночь через Ладожское озеро, по «дороге жизни».

От обстрелов и бомбежек мы детей оберегали. А вот с голодом бороться было куда сложнее. В первую военную зиму больше людей погибло от истощения, чем от вражеского огня. Много умерло от голода учителей и ребят, особенно мальчиков.

Тяжело видеть умирающих людей, особенно детей. В ту зиму к нам поступил в десятый класс новичок Лева Фридман. Он был очень худ, еле держался на ногах. На переменах жадно читал, и ребята его прозвали профессором. «Читать — это значит жить», — внушительно говорил он товарищам. И вот Лева умер. Такие же, как он, истощенные мальчики сделали для него гроб из школьной парты, на которой он сидел. А девочки-одноклассницы на санках отвезли гроб на кладбище.

Ученик IX класса Юра Ротман перед смертью принес хлебную карточку своей любимой учительнице.

— Дома последний брат умер, теперь все, конец... Александра Федоровна, вот вам моя хлебная карточка: вы должны жить...

— Что ты, что ты говоришь! Возьми себя в руки. Жить, обязательно жить! — испуганно и строго говорила ему Александра Федоровна Яковлева. Она отвела Юру в столовую и усадила за стол, попросила нянюшку подать ему горячего чаю, а сама поспешила в магазин, чтобы выкупить ему хлеб. Но Юру уже ничто не могло спасти...

Как-то рано утром в кабинет постучали. Вошли два брата — Вася и Коля, ученики I и II класса.

— Ночью фашисты разбомбили наш дом. Мама

погибла... Что нам теперь делать, Валентина Федоровна? — спросил старший, Вася.

Напоила я их чаем, как могла, старалась успокоить.

— На время войны устрою вас в детский дом. А потом вернется с фронта ваш папа.

— Уж вернется ли, от него давно нет писем, — печально сказал Вася.

— Если что случится с папой, возьму вас к себе.

— И вы будете нашей мамой? — обрадовался маленький Коля.

Это было зимой, а весной опять зашел ко мне Вася. Здороваясь, поставил на стол бутылку с розовой жидкостью.

— Это клюквенный морс. Я за ним простоял вот такую очередь, давали тут, в ларьке. Бутылку мне одолжила Титовна. Немножко я сам отпил и немножко — Титовна, а это вам, Валентина Федоровна: говорят, для здоровья хорошо. Пейте!

На меня смотрели такие глаза, что я не могла отказать.

— Ну вот и хорошо, — с облегчением вздохнул Вася, — теперь я побегу к себе, в детский дом.

Но он не побежал, а поплелся, как старичок. Мы тогда все так ходили: хотя паек хлеба получали уже побольше, но сил еще не было...

Ранней весной 42-го года были сильные заморозки по утрам. Водно такое утро завхоз школы Александра Титовна Кондратьева растерянно сообщила мне:

— Взгляните, Валентина Федоровна, что творится на нашем дворе! Авария неминуема. Не знаю, что и делать...

Я выбежала во двор и ахнула, увидев перед собой сплошной каток: ночью из канализационных люков выступила вода и залила весь двор, а утром воду сковало морозом в сплошную льдину.

— Скоро поднимется солнце, растопит лед, и грязная вода проникнет в бомбоубежище... Немедля надо прочистить колодцы и спустить в них воду, а я не могу их найти, колодцы. Помню, один тут где-то, — махнула она перед собой, — а где? У меня нет сил колоть лед. — И она беспомощно оперлась на тяжелый лом.

— Что здесь случилось? — спрашивали пробежавшие на занятия старшеклассники.

— Разрешите лом, Александра Титовна, — не дожидаясь особых объяснений, обратился к завхозу Юра Пуниев.

— И мне, Титовна, давайте лом, да подлиннее, — присоединился к Пуниеву семиклассник Гриша Баранов.

Скоро колодцы были найдены и авария предупреждена.

С появлением весеннего солнца начали прибывать и силы.

В теплые дни на большую перемену мы выпускали ребят во двор школы. В одну такую перемену в кабинет ко мне вбежала дежурная учительница Александра Федоровна Дворцова. Со слезами радости она закричала:

— Валентина Федоровна, ребята во дворе дерутся, честное слово — дерутся!

Я вначале никак не могла понять, в чем дело, но потом сообразила и сама заплакала. Это была действительно радость: раз ребята начали драться, значит, спасены, значит, будут жить!

А вскоре эти ребята с учительницей биологии

Марией Федоровной Киршиной вскопали и засеяли весь школьный двор — под овощи. Они почти ежедневно ходили за город собирать съедобные травы, из которых варили суп: в школьной столовой — для ребят, в заводской — для рабочих. Пучочки щавеля носили раненым бойцам в подшефный госпиталь.

Девочки, большие и маленькие, во главе со старшеклассницей Ниной Хрущевой взяли на себя всю заботу о раненых, не отказываясь, впрочем, от помощи учительницы Ольги Константиновны Рубежанской, помогавшей им готовить концерты и сочинять стихи.

Девочки читали раненым газеты и книги, писали письма за тех, кто сам писать не мог; помогали санитаркам и сестрам покормить и напоить тяжело раненных, а иногда убрали палаты и мыли полы. Изодня в день они чинили и штопали белье для раненых. Очень часто по просьбе воинов разыскивали в городе их родных, передавали письма. Делать это было совсем не просто — ведь город обстреливался.

Летом девочки (с 1943 года школа стала женской) жили за городом, в сельскохозяйственных лагерях, помогали совхозу, работали на полях. А гвардейцы стояли неподалеку на отдыхе. Вот там и завязалась дружба. Осенью, когда возобновились занятия, шефы не раз приезжали в гости к школьникам. Когда началось наступление на Ленинградском фронте и гвардейцы уходили все дальше от Ленинграда, в школу стали приходить письма, иногда радостные, а иногда и печальные, извещавшие об утрате друзей.

...Ста одиннадцати девочкам нашей школы были вручены медали «За оборону Ленинграда».

Живое тянется к живому, гласит народная мудрость. И мы в те тяжелые дни в каждую свободную от работы минуту старались почитать, послушать музыку, ходили в институт усовершенствования учителей, в театр, устраивали с ребятами вечера самодеятельности, участвовали в кружках, выпускали стенные газеты и «боевые листки». Задорно светились глаза пионервожатой Милочки Плотниковой, когда ей с пионерами удавалось провести интересный сбор. Она и темы для сборов подыскивала соответствующие, например: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» или «Работать ловко — нужна сноровка»... Учительница начальных классов Александра Матвеевна Савина в блокадную зиму окончила вечернее отделение педагогического института имени Герцена. Она и теперь часто вспоминает, как спешила после уроков в институт: «На лекциях или на практических в лаборатории все тяжелое забывалось, даже не так сильно хотелось есть».

— Н еужели вам не было страшно в Ленинграде? — спрашивают часто многих из нас. Конечно, и страшно было и тяжело. Только страх был какой-то особенный, и чаще всего не за свою жизнь, и сменялся он нередко радостью, чувством гордости.

Мне было очень страшно, когда вокруг школы с диким грохотом рвались снаряды, здание содрогалось, и казалось, вот-вот оно рухнет и погребет под собою сотни школьников. Но никакой страх не мог меня удержать, чтобы не подняться на чердак, где стояли на посту учителя и ребята, и потом не спуститься в бомбоубежище, чтобы убедиться, что и там все живы.

Разве думали о себе Александра Титовна, завхоз

школы, и пьянюшки — Александра Васильевна и Ани-сья Матвеевна, когда, заготавливая на зиму топливо для школы, возили тачки с дровами, по ночам щепали лучину, а утром разносили ее по классам, чтобы ребятам легче было растопить печки?

Разве думала о себе учительница Ольга Ивановна Карнакова, когда категорически отказалась эвакуироваться со своими детьми, заявив в райкоме партии:

— Как я могу спасти своих детей и себя, когда в школе остаются мои товарищи и мои ученики?

И только тогда она покинула осажденный город, когда ей поручили вывезти воспитанников детского дома.

Разве думала о смерти учительница немецкого языка Римма Юрьевна Цемахова, потерявшая в начале войны всех родных и близких, когда, еле передвигая ноги, шла на уроки и дежурство в школу с другого конца города?..

И не о смерти, а о жизни думала учительница Александра Матвеевна Савина, когда стремилась сдать экзамены в институт только на «5», и пионервожатая Милочка Плотникова думала о будущем, когда старалась на пионерских сборах повеселить ребят и научить чему-нибудь нужному в жизни.

О жизни, только о жизни думала Валентина Ивановна Гусарова, когда ходила в магазин на Невский, чтобы купить старшеклассникам новую книжку. И делопроизводитель Вера Палладиевна Каракулина, тщательно и любовно охраняя документацию и архив школы, тоже думала только о будущем.

И так все ленинградцы, не думая о себе, не страшась смерти, помогали друг другу, городу, фронту.

Когда гитлеровцы поняли, что ни голодом, ни холодом, ни воздушными тревогами не сломить Ленинград, они все свирепее стали обстреливать город. И как велика была радость для всех нас, для всего нашего народа, когда в ночь на 18 января 1943 года по радио объявили о прорыве вражеской блокады! Всю ночь Ленинград не спал. Утром, задолго до уроков, взрослые и дети — все были в школе. Улыбки не сходили с лиц; во всем теле чувствовалась такая легкость, что хотелось не ходить, а бегать и летать. С первого же дня мы стали получать поздравления и посылки с Большой земли.

Но со снятием блокады обозленный враг все-таки не прекращал обстрелов. Теперь уже люди гибли не столько от голода, сколько от снарядов и бомб. В школе все чаще узнавали печальные известия о смерти родных и друзей.

На одном педсовете учительница начальных классов Анна Ивановна Рябова сказала:

— Мы справедливо считаем, что необходимо щадить нервы ребят, и стараемся это делать, но не всегда получается. Я, например, пытаюсь отвлечь детей от разговоров о войне, говорю им о красоте зимы, а они мне — о замерзшем водопроводе; я им рассказываю о реке, а они — о бомбежке на переправе; я прошу их изобразить на рисунке весну с ярким солнышком и белоствольными березками, а они мне рядом с солнцем рисуют разорвавшуюся бомбу, искалеченные деревья.

— Правда, правда, Анна Ивановна, — подхватила Александра Матвеевна Савина, — вот сегодня мы читали с ребятами «Город весной» и делали зарисовки. Так Валя Зимина нарисовала трамвайную остановку во время обстрела и — ни одного живого человека, кругом только трупы и трупы... Рисунок подписала: «У Литовского моста». И действительно, что могла

нарисовать девочка сегодня, когда она вчера попала под страшнейший обстрел и была потрясена увиденным?!

Чтобы спасти детей от обстрелов, мы на лето 1943 года по распоряжению руководителей города вывели младших школьников в пионерские лагеря, а старших — в сельскохозяйственные. И все же много ребят оставалось в городе.

День 18 октября 1943 года для нашей школы был особенно тяжелым. Первую половину дня, как обычно, занимались. Обед был перенесен на более ранний час, так как в привычное время зачастили обстрелы. Едва лишь ребята кончили есть, как началось... Первые два снаряда разорвались во дворе школы, где учителя и старшеклассники загружали дрова в машину. Все, казалось, захлебнулось в кирпично-красном густом тумане. А когда пыль улеглась, мы увидели ужасное: в третьем и четвертом этажах школы зияла громадная пробоина, от дров и машины остались одни щепки; раненый шофер был отброшен далеко в сторону, около него навзничь лежали убитые Надежда Владимировна Владимирова — библиотекарь школы и Елизавета Алексеевна Николаева — учительница литературы. У входа в бомбоубежище полусидели засыпанные пылью три мертвые девочки, ученицы первого класса. После первого снаряда они побежали в укрытие, но взрывная волна второго настигла их... Несколько человек было ранено, тяжелую контузию получила учительница Валентина Ивановна Гусарова.

До поздней ночи учителя, нянюшки и старшеклассники приводили школу в порядок, готовили ее к завтрашним занятиям. Почти всю ночь перебирала дрова по школьному двору мать одной из погибших девочек, искала свою дочку. Уж под утро с надрывным стоном она вбежала ко мне в кабинет:

— Куда ее дели? Отдайте мне мою девочку!..

Мне казалось, что все кончено, ребята больше не придут в нашу школу: родители не пустят. Но на другой день, в 9 утра, все школьники были на местах. И когда мы с завучем Анной Григорьевной Казининой проходили по классам, чтобы объяснить случившееся и почтить память погибших вставанием, мы видели в запавших глазах ребят не страх, а лютую ненависть к врагам и готовность учиться, бороться.

Наступил сорок четвертый год. Ленинград был полностью освобожден от блокады. Фронт все дальше и дальше удалялся от города. Школа

работала полным ходом, ребята учились хорошо. Весною они успешно сдали экзамены не только по математическим и гуманитарным дисциплинам, но и по военной подготовке и спецделу — телеграфии.

Я хорошо помню, как в июне на окруженной высокими тополями площадке сада имени Карла Маркса военрук школы А. Ширяк подавал четкую команду.

— Стройся! Смирно!..

Прошло несколько секунд, и шеренги выстроились перед командиром. Все лица обращены вперед. Сейчас это уже не только ученицы десятого класса; это подтянутые, собранные бойцы, с противогазами через плечо, вполне готовые к предстоящим экзаменам по военному делу. Звучит новая команда:

— Елена Романова! К преодолению полосы препятствий приготовиться!

— Дистанция пройдена. — Физрук школы О. К. Кузьмина засекает личное время — 40 секунд.

Небольшой перерыв, и начинается испытание по огневой подготовке, потом по спецделу. Все переходят в просторный класс, где к каждой парте прикреплены ключи телеграфного аппарата. Одна за другой отвечают ученицы. Вопросы сложны. Они требуют специальных знаний телеграфного дела и материальной части. Но девушки обстоятельно отвечают на все вопросы и за аппаратом, выстукивая телеграммы, чувствуют себя уверенно. Преподавательница Е. Шведова довольна ответами.

Экзамены окончены. Подведен итог. Больше половины учениц получили пятерки, остальные — четверки. Присутствующие на экзамене городской военный комиссар и другие товарищи тепло благодарят выпускниц за отличное изучение военных дисциплин.

Сейчас, вспоминая военно-блокадное время, невольно задумываешься: что же дало тогда нам, учителям, ученикам и нянюшкам 105-й школы, силы выжить и трудиться? Любовь к Родине и вера в победу, непрестанный труд и борьба, сплоченность нашего коллектива, дисциплина. Жить в то время — это значило бороться. Бороться с вражескими налетами и обстрелами, бороться с холодом и голодом, со злыми слухами, с плохим настроением, бороться со смертью ради жизни.

И сегодня я обращаюсь к теперешним школьникам:

— Нам, старикам, очень хочется, чтобы вы не забывали, какой ценой завоевано счастье для вас. Берегите его...



Михаил
Квеливидзе



Чола

Чола Ломтатидзе — грузинский писатель начала века. Умер в 1915 году в царской тюрьме, вдали от родной Грузии.

Позабудешь,
что небо бывает порой голубым
И на свете есть солнце,
что светит и греет без правил...
Кто посмел наказать тебя так!
Кто с усердьем тупым
Прозябать — а не жить —
Вдалеке от отчизны заставил?

Как обречь тебя люди на долю такую
могли?

И свободы лишить,
Не убив в тебе чувства свободы!
Ты годами не видишь под снегом
сокрытой земли,
Только — серую ветошь небес, половик
в непогоду...

Приобщенье к природе!..
О, если б увидеть хоть раз
Зелень и синеву,
Ощутить наступление лета...
Благодатный твой край —
Неужели там солнце сейчас?
Праздник света, тепла —
Неужели возможен ты где-то!..

Снова сердцем ты тянешься к югу,
не видя дорог,
Тихо шепчешь ты:
«Родина... Жизнь моя... Синее небо...»
Да и плачешь притом,
потому что забыть ты не смог
Вкуса влаги и воздуха,
запаха лета и хлеба.



Фотография

Я женщину вижу на снимке в журнале —
Лицо ее на море обращено...
Подруга ли чья-то, невеста, жена ли?
Не знаю... Не знаю...
Но знаю одно:
Лица не увижу я женщины этой,
Стоящей на снимке спиной ко мне...
И сколько б ни ждал, ни метался
по свету,
Все может случиться, но только не это:
Лица не увижу ее и во сне...
Все может случиться, как в жизни ведется,
Но что бы ни грянуло — радость, беда,—
Ко мне эта женщина не обернется,
Не обернется ко мне никогда...

Мольба

Я, человек уехавший из Грузии,
Боготворящий свой родимый край,
Колена преклонив, просить берусь я:
Дай, боже, мне уменья! Силы дай
Такое написать стихотворенье,
Чтобы оно, над скалами звеня,
Спасло бы не от смерти —
От забвенья
На родине возлюбленной меня!

Перевела Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

Песня

Я, как гроза, угрюм. А ты горда,
как город, превзошедший города
красой и славой, светом и стеклом.
И вряд ли ты займешься пустяком
души моей. Сегодня, как всегда,
уходят из Тбилиси поезда.

Уходят годы. Бодрствует беда
в душе моей, которая тверда
в своей привычке узнавать в луне
твое лицо, ниспосланное мне.
Но что луне невзрачная звезда!
Уходят из Тбилиси поезда.

Уходит жизнь — не ведаю куда.
Ты не умрешь. Ты будешь молода.
Вовеки оставайся весела.
Труд двух смертей возьму я на себя.
О, не грусти в час сумерек, когда
уходят из Тбилиси поезда.



Он ждал возникновенья своего
из чаш небытия, из мглы вселенной.
Затем он ждал — все к этому вело —
то юности, то зрелости степенной.

Печально ждал спасения любви,
затем — спасенья от любви печальной.
Хвалы людей и власти над людьми
он ждал, словно удачи чрезвычайной.

Когда он умер, он узнал про смерть,
что только в ней есть завершенность жеста.
Так в первый раз сумел он преуспеть
вполне и навсегда, до совершенства.

Перевела Б. АХМАДУЛИНА.

Хуга Гагуа



Голоса

Рассеиваясь, в воздухе витают,
Кружатся голоса вокруг земли:
Далекое, они не пропадают,
Забытые, они живут вдали.

Вот звезды фейерверком оголтелым
Прожгли простор и канули во тьму,
И я услышал в мире опустелом
Свой голос. Он искал меня. К чему?

К тому ли, что пространство — не помеха
Для слова, осознавшего родство
С природой? Или это было эхо,
Лишь отголосок сердца моего?

Не знаю. Может быть, в блуждании долгом
Искала память старые следы
И не могла найти. Не знаю толком.
Но голос звал меня из темноты.

Так иногда иными голосами
Взыскуемая из небытия,
Тень прошлого мелькнет перед глазами —
Живая тень, — и оробею я.

О нет, я не виновен перед прошлым,
Я честно жил — и кончим разговор!
Так почему же голосом тревожным
Меня пытается совесть до сих пор?

Не потому ль, что в воздухе витают,
Кружатся голоса вокруг земли?
Далекое, они не пропадают,
Забытые, они живут вдали!

Они грохочут громом колокольным,
Они нас будят в час и век любой —
Ты слышишь! — чтобы в мире беспокойном
В ответе быть перед самим собой!

Сон

А солнце заходило, заходило,
И где-то в подворотне лаял пес.
А ты — ты улыбалась и шутила,
Как будто уходила не всерьез.
А солнце западало, западало...
Так пропади же пропадом! Скорей
Уйди, не мучь меня! Постой! Как мало
Твоей улыбки и вины моей!

Уйди. Не смейся только. О, скорее,
Скорей уйди! Уже темно. И вдруг —
Я просыпаюсь... Господи, да где я!
В чужом доме! И по спине — испуг...
Так ищет пробудившийся ребенок
Отца, не понимая, что к чему,
И застывает, увидав спросонок
Мужчину незнакомого в доме.



Утро ли вспыхнет веткой миндальной,
Вечер ли скрипнет дальним веслом —
Я уже слышу голос недальний,
Рокот рыдальный в сердце своем.
Рокот Шопена! В бегании клавиш —
Тень ли ночная, свет ли дневной —
Как ты нечетно жизнью играешь,
Плещешь и плачешь вместе со мной!
Вздох затаенный — перед судьбою,
Выдох протяжный — сквозь бытие:
Все, что могу я, — вместе с тобою,
Все, что умею, — это твое.
Тихо живу я, тише, чем дышит
Время глухое в темную дверь.
Тихо пишу я, тихо, как пишут
Жизнь человека годы потерь.
Но ни минуты жизнь не теряет,
Полною мерой мерит меня:
В зеркале ночи — день повторяет,
Век отражает — в зеркале дня.

Постой, охотник...

Мне кажется, до моего рожденья
С какого-то нечаянного дня
Рассеялись мои стихотворенья
По свету, разлетелись без меня.
Их научила мудрая природа
Свистеть, и ворковать, и верещать,
А у меня всего одна забота —
Им золотые клетки обещать.
Не зря я изучал их певчий нор
И говорил медовые слова.
Я вижу: после сладких уговоров
У них уже кружится голова.
Открой! — они в окно уже стучатся.
Открой! — а то и окна разобьют.
Все кончено! Теперь я должен взяться
За свой прямой неблагодарный труд.
Они уже летят ко мне, не зная,
Что ждет их, и трепещет каждый стих.
А я — я только утка подсадная.
А где охотник, целящийся в них?
Всем певчим миром и поодиночке
Они от нетерпения дрожат.
Вдохни в них только жизнь свою —

и строчки

На самом деле чудо совершат.
Но кто-то усмехнется: что за ересь!
И оборвется начатый распев,
И, в выборе случайном разуверясь,
Умрут стихи, родиться не успев.
И, как когда-то раньше, до рожденья,
С какого-то нечаянного дня,
Рассеются мои стихотворенья
По свету, разлетятся без меня.
Постой, охотник, ты нечестно вызнал
Мою мечту — и целишь прямо влет.
Остановись!

Когда раздастся выстрел,
Твоя винтовка и меня убьет!

Перевел О. ЧУХОНЦЕВ.

Наум Кислик



Соль

И оживал я и кончался,
потом я ожил и окреп.
И тут додумалось начальство,
чтоб я не даром ел свой хлеб.
Чтоб с кучею продаттестатов
из Закавказья на Урал
через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал.
Леса пестрели в Закавказье,
а за хребтом кружился снег,
и не сбежать от той оказии —
со мною шестеро калек.
Из Вятки, что ли, из Ветлуги,
татарин с Камы и казах...
Один слепой, один безрукий
и четверо на костылях.
Пока неспешно по России
нас развозили поезда,
еще мы все не раскусили,
в чем радость наша, в чем беда.
Но был один, кряхтя от боли,
а все ж полазав по толчку,
полсидора дешевой соли
понаменял себе в Баку.
Подсобирал за Христа ради,
нацелившись на чистоган:
прослышал он, что в Сталинграде
шла соль — полсотни за стакан.
Я б этой сволочи коленкой
со всею радостью поддал,
но — черт возьми! — он был калекой,
я и его сопровождал.

...Бежали смутно небосклоны,
дышали трудно города,
шли эшелоны, эшелоны,
оттуда — мы, а те — туда.
А те все мимо, мимо, мимо,
в закат неяркий и сырой...
Так разъезжались мы, томимы
взаимной завистью порой.
Но посреди круговорота
и превращения судеб
еще немалая забота
у всех была — насущный хлеб.
И с ворохом продаттестатов

мотался я, на горло брал:
через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал.
И посреди круговорота,
мечу дамоклову под статью,
еще одна была забота —
от эшелона не отстать.
Пока ты лазишь на карачках
из-под вагона под вагон,
уж он, глядишь, за водокачкой
сопит, ревет, берет разгон.
...Бредя уныло по платформе,
я признавал, судьбу кляня,
что ни проезду, ни прокорму
моей команде без меня.
А в той команде инвалидной,
где не устав уже, не строй,
начпродом я, и замполитом,
и старшиной, и медсестрой.
Беда, что не был службой тяги
минуту малую одну...
А что мне толку в той бумаге,
что я с войны — не на войну;
что не страшиться мог штрафбатов,
что наплевал на трибунал!
Через Москву, через Саратов
я раненых сопровождал!
Я стал расхлебывать баланду,
по дымным станциям мечась,
я догонял свою команду,
как будто воинскую часть.
Но вот наплыли спозаранку
коробка зданья, деревцо,
фанерка с надписью «Солянка»
и крик о том, что делят соль.
Детишкам, бабам в шапки, в руки
делили даром на путях
солдат слепой, солдат безрукий
и трое, что на костылях.
А в поезде, на нарах нижних,
перед печуркой на свету
несостоявшийся барышник
оплакивал свою мечту.
Пока я лазал на карачках
из-под вагона под вагон,
он просвещал слепых и зрячих,
какой у жизни есть закон:
— А что, смотреть вам в зубы, что ли!
Наш брат, само собою, прост...
Так на, возьми щепотку соли,
насыпь-ка умному на хвост!
Ни барыша ему, ни смысла
с тобой вожжаться — он таков:
загреб харчи себе и смылся,
шукает новых дураков.
Да я, по правде, ни вот с эстоль
за дураков не огорчусь.
Как прохарчитесь вы до места —
бог весть! А я-то прохарчусь.
Так при своей дешевой соли,
как при казне иной король,
цигарки тщательно мусоля,
он толковал, в чем жизни соль.
Передавал свой личный опыт,
скорбя как будто и любя:
— Не будь раззявой — сам обштопай,
чтоб не обштопали тебя!
...Из одного в другое ухо
проход свободный, задарма.
Но штука в том, что голодуха,
она не тетка, не кума.
Подсунув сидор в изголовье,

на нижней полке мирно дрых,
как сбыв пшеницу, по присловью,
владелец кладов соляных.
Ползли по шпалам стоны, стуки,
дрожал на лицах свет скупой...
— Пощупаем,— сказал безрукий.
— Посмотрим,— подсолил слепой...
...Вокзал без окон и без кровли —
слепого бедствия лицо,
и одинокое по-вдовьи,
задымленное деревцо.
Вокзалу этому под пару
базар, где было в дни войны
торговцев больше, чем товару,
червонцев меньше, чем слюны.
Где продавалась, где менялась,
убого выстроясь в ряды,
вся эта соль, что отстоялась
на самом дне большой беды.
Там, у путей, где зябкий ветер
морозной крупки сыпал соль,
толпились женщины и дети,
толкалась голь, теснилась боль.
Эх, голодуха, голодуха,
не молодуха, не кума!..
И произнес безрукий глухо:
— Соль раздается задарма...
— Валяй! — Слепой махнул рукою.—
Не в соли соль и не в рублях!
— Давай, давай! — кивнули трое,
стоявшие на костылях.
Детишкам, бабам в тряпки, в шапки
товар бесплатный в дар поплыл...
Гонял по шпалам ветер зябкий
и землю стылую солил.
Солил ее с небесной кровли,
как будто не была она
от слез, от пота и от крови
насквозь и глубже солона.
...Не торопясь, из-под закатов
в рассветы поезд ковылял
через Москву, через Саратов
из Закавказья на Урал.
С войны, с довольствия, с учета —
на все четыре, в белый свет!..
Но в той свободе было что-то
щемящее. Какой-то след.
Нерастворимая крупица.
Горчайшей памяти кристалл...
Но вот проститься, разлучиться
нам постепенно срок настал.
Навстречу радости и муке,
сливаясь с темною толпой,
сперва ушел солдат безрукий,
потом ушел солдат слепой.
И замела следы поземка,
когда растаяли в полях,
когда ушли, стуча негромко,
те трое, что на костылях.
К концу пути убито, тихо
пересидевший всех иных,
стал собирать себя на выход
владелец кладов соляных.
Неспешно складывал пожитки,
в карманы что-то ушивал...
В окне лесок растаял жидкий,
снежок вовсю забушевал.
Когда, поближе к Оренбургу,
пошла степная полоса,
взял костыли, подумал, буркнул
и, тяжело крикнув, поднялся.
И незлобив, не жаден с виду,

а просто жалобен и стар,
вдруг протянул мне тощий сидор,
в каком держал он свой товар.
— Бери! — И, бросив соль на лавке,
шагнул к дверям, но странно так,
вдруг дернувшись, как на удавке,
вернулся, взял, вздохнул:
— Чудак!..

Бежали смутно небосклоны,
дышали трудно города,
шли эшелоны, эшелоны —
еще не кончилась страда.
Еще была открыта взору
неоперенного юнца,
который знать не знал в ту пору,
что и не будет ей конца...

□ □ □

Юрий Мельников



Шумит неумная вьюга,
Но в хате не холодно мне.
Висит фотография друга
На желтой сосновой стене.

На нем ордена и медали,
В пилотке до самых бровей,
Он смотрит в далекие дали
Из юности жаркой своей.

И бомбы и пули изведав,
Полка своего старожил,
Он только лишь день
До Победы,
Один только день не дожил.

Упал за Карпатами где-то,
Сраженный осколками враз...
А сколько подобных портретов
Хранят в каждом доме у нас!

Виктор
Урин



Ракетчики

Как литератор и как бывший воин,
кому так кровно армия близка,
я был особой чести удостоен —
меня везли в ракетные войска.

Я вынул пропуск. Начиналась зона.
И там, где проверял контрольный пост,
майор сказал: «Вы в секторе обзора.
Прошу в укрытье». И повел на мост.

Светало... Ветви тихие повисли...
Чуть брезжила брусничная заря...
И вдруг
[отнюдь не в переносном смысле]
там, вдалеке, задвигалась земля!

Я просто не поверил ни за что бы,
что эти перелески, тишь да гладь —
обложка грозной боевой учебы,
прикрывшая подземную тетрадь.

Итак, земля раздвинулась!

И тотчас
ракета, шею тонкую взметнув,
приподнимается, сосредоточась,
чуть наклоняя треугольный клюв.

И словно бы подножие расплавя,
где все уже дымится и звенит,
выталкивая бешеное пламя,
ракета

вклеывается
в зенит.

Рожденные в подземном бастионе,
ее сопровождают
свист и гром,
когда она с площадки, как с пядони,
летит жар-птицей
с огненным пером.

И все в ней отзывается на зовы
высокой справедливости самой.
Чуть мешковатые комбинезоны
сержанты расстегнули под землей.

Сосредоточенны и моложавы,
в беретах, чуть заломленных на лбу,
работали защитники державы,
ответственные за ее судьбу.

И в это время показалось даже:
ракета появилась и ушла,
как суверенный перст добра и стражи,
взметнувшийся над происками зла.

Леса задумчиво сдвигали брови,
и горизонт, окрашенный в рассвет,
как древнерусский щит, был наготове
с шипами
стратегических ракет.

Расставание с агитбригадой

Ожидание... Армейские резервы...
Одинаковые, медленные дни...
И от сосен тени мечутся, как зебры,
Перепрыгивая хвойные огни.

А рассвет, едва намеченный, не резкий,
Вслед за нитью перехватывает нить,
И зовет в политотдел полковник Вревский
И велит стихотворенье сочинить.

И в смятенье, в недосказах и обмолвках
На опушках осыпающихся рощ
Я так молод, что хожу еще в обмотках,
Я так молод, что пишу еще про дождь.

И в лесу я выступаю на концертах,
И наброски свои прячу в патронташ,
И за сценою в жестянке от консервов
Развожу краснотерпильный карандаш.

Мои лозунги рифмованные — в клубе,
И на марше — мои песни о войне,
И гранаты, как картофельные клубни,
Вызревают на затянутом ремне.

Эшелон за эшелоном мне в досаду
Уходил, пересекая горизонт,
И однажды предал я агитбригаду
И с резервом дезертировал на фронт...



Есть в зиме материнское что-то,
что-то выплывшее из снов.
Не ее ли печаль и забота
в белизне молчаливых снегов!

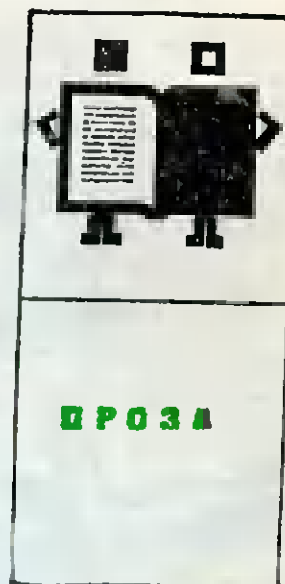
И какая-то мягкость ночлега
приглашает тебя дремать,
и в платке оренбургского снега
над тобою склоняется мать.

Вот ты слышь и в какие-то сроки
пробуждаешься среди весны,
и блестят твои мокрые щеки
от растаявшей седины.

Евгений Воробьев



Фото 1941 г.



УВОЛЬНИ- ТЕЛЬНАЯ В ГОРОД

РАССКАЗ

Рисунки В. Богаткина.

Расчет не успел отрыть окоп на заданную глубину, а Нечипайло уже отлучился под каким-то благовидным предлогом. Ему не терпелось провести «рекогносцировку на местности».

Приглянулся дом на той стороне шоссе, с резными наличниками на окнах, с покосившимся крыльцом. Нечипайло размахисто постучался и, не дожидаясь ответа, открыл дверь.

Позже на покосившееся крыльцо поднялись и вошли в дом еще несколько номеров расчета. Нечипайло уже сидел за столом, скинув шинель, и вел себя непринужденно, как желанный гость.

Конечно же, артиллеристы, входя, нерешительно топтались у порога. Слышалось обязательное в таких случаях хозяйское «в ногах правды нет»; каждый церемонно здоровался, покашливал, поправляя ремень, но в конце концов проходил и подсаживался к столу.

Лишь Суматохин вошел безгласно. Он сел в углу и принялся внимательно слушать радиопередачу про уборку хлопка.

— Вы с нашим Суматохиным не знакомы? — Нечипайло повернулся к хозяйской дочке. Та сидела на кровати, потому что все стулья и табуретки были заняты.

Она отрицательно покачала головой.

— Суматохин у нас бо-о-ольшую военную карьеру сделал! Еще недавно был самый последний номер в расчете, по-нашему выразиться, третий ящичный, а недавно Суматохина выдвинули сразу во вторые ящичные...

Все рассмеялись, а Суматохин лениво улыбнулся. Нечипайло уже успел выпросить у хозяина все. Зовут того Пал Палыч, сын в армии, сам он до

1. последнего времени работал по соседству в Тимирязевской академии, знал даже самих академиков, например, Вильямса. Зимой Пал Палыч хлопотал истопником, а с наступлением тепла, когда котельную гасили, копался на опытных участках академии.

Пал Палыч смотрел не слишком приветливо. И не в том дело, что незваные гости мешали или его раздражала самоуверенная болтовня Нечипайло. Пал Палыч был раздосадован — больше того, рассержен — тем, что артиллеристы установили здесь свои пушки и спилили несколько высокорослых тополей напротив дома, сразу за оврагом.

Он и не скрывал, что характер у него сварливый. Отругал Совинформбюро за то, что оно запаздывает с информацией. Его возмущал сам факт, что пушки, хотя и дальнобойные, установлены на окраине Москвы. Конечно, с солдата нельзя спрашивать, как с генерала. Но все ли солдаты отдают себе отчет в том, где нынче воюют? Пал Палыч так разволновался, что на его острых скулах выступили красные пятна.

Во время разговора подошел и телефонист Федосеев. Ну, теснота, набились прямо, как на вокзале! Сизое махорочное облако наподобие дымовой завесы — и хозяев не увидеть. Федосеев нерешительно потоптался в дверях и собрался уходить, но хозяйская дочь пригласила его раздеться: вот и чайник скоро поспеет. Она кивнула на плиту, где стоял большой медный чайник, надраенный до щегольского блеска.

— Какой может быть чай, когда посуда нужна совсем для другой жидкости!

Пал Палыч уже отсердился, он достал бутылку и вручил ее Нечипайло.

Анастасия Васильевна и ее дочь, которую Нечипайло фамильярно называл Грунечкой, мобилизовали



все полые сосуды. Нужно было обладать глазомером наводчика орудия № 4805, чтобы никого не обделить живительной влагой и в то же время не налить лишнего в пластмассовый стаканчик, в рюмку, в алюминиевую кружку, в стакан тонкий, в стакан граненый, в фарфоровую чашечку и в латунный колпачок от снарядного взрывателя; колпачок обнаружился в кармане у этого тихаря Суматохина.

Нечипайло все подмигивал симпатичной Груне своими нагловатыми голубыми глазами, поглаживая себя по голой голове, будто поправлял несуществующую прическу, и молодое лицо его никак не сочеталось с преждевременной лысиной.

Разливая водку, он священнодействовал. Руки в татуировке не знали покоя, и сам он при этом не умолкал ни на минуту. Федосеев вспомнил аналогичный случай. Дело было еще в начале осени на Смоленщине. Вошел Нечипайло в избу с компасом в руке и сказал хозяйке: «Бабка, вот посмотри на компас. Прибор показывает, что у тебя в доме спрятана самогонка». При этом Нечипайло озабоченно вгляделся в стрелки компаса, пошевелил губами, как бы подсчитывая что-то в уме, и добавил после паузы: «Три бутылки». «Не может быть! — всплеснула руками бабка, испуганно косясь на компас. — У меня всего одна бутылка, и от той разит сивухой». «Вот ту бутылочку славянам и пожертвуй. Какая может быть сивуха? Смоленское шампанское!!!»

Анастасия Васильевна, которая поначалу не выказывала особой приветливости, тоже оттаяла, поставила на стол миску с квашеной капустой, холодную картошку в кожуре, пузырек подсолнечного масла.

От чашечки она отказываться не стала и пояснила Нечипайло, что употребляет водочку с лечебной целью:

— Привязалась какая-то гипертоническая болезнь. Доктора обнаружили давление в крови.

Рюмку поставили перед Груней, но она отодвинула ее.

— Может, вас, Грунечка, компания не устраивает? — обиделся Нечипайло.

— Просто не имею права. Обязалась вести нормальный образ жизни.

Она сдержанно рассмеялась, поправила пучок светлых волос и поглядела на Федосеева. У нее были совсем темные, чуть раскосые глаза.

Груня достала из сумки бумажку, но вместо Нечипайло почему-то протянула ее Федосееву, сидевшему напротив.

— «Расписка, — начал читать вслух Федосеев. — Я, нижеподписавшаяся, добровольно вступая в кадры доноров Московского института переливания крови, даю настоящую расписку в том, что я никогда не болела, не лечилась и не лечусь, — здесь Федосеев осекся и сбавил голос, — от сифилиса и малярии; за сокрытие этих заболеваний отвечаю по статье 150 Уголовного кодекса (умышленное заражение); обязуюсь, — голос его вновь окреп, — аккуратно выполнять свои донорские обязанности и вести нормальный образ жизни...»

Пал Палыч громогласно выразил неудовольствие по поводу того, что Груня записалась в доноры. Тем более, дополнительного пайка ей за это еще ни разу не выдали. А если привяжется малокровие? Она и так худенькая. И ездить отсюда в центр города, к черту на кулички...

— А я вот никогда в Москве не был, — признался Федосеев, пожав массивными плечами. — Эшелон кружился-кружился весь день по Окружной дороге...

— Зачем день? Ночью выгрузили. Станция Сортировочная,— уточнил Кавтарадзе, по прозвищу «Сибиряк»: он самый зябкий на батарее и уселся поближе к плите.— Легче на Эльбрус забраться, чем в Москву.

Пал Палыч не понял, при чем здесь Эльбрус, он был поглощен мыслями о Груне, которая своевольничает и ездит в этот самый институт. А долго ли сейчас угадать в Москве под бомбежку? Пал Палыч ведет учет всем воздушным тревогам, начиная с самой первой, двадцать второго июля, и радиоточку теперь никогда не выключает. Особенно много нервов он истратил семнадцатого и девятнадцатого ноября: объявляли по шесть тревог.

— Кто тебя не знает — подумает, ты и в самом деле такой,— сделала Груня замечание отцу и покраснела, а поняв, что покраснела, опустила голову.— А я не только в доноры, и в медсестры пойду! В Тимирязевке большой госпиталь раскинулся. И номер узнала в политотделе. Двадцать три восемьдесят шесть.

— Чем в том госпитале горшки выносить, лучше к нам в артиллерию,— встрял в разговор Нечипайло.— Мы все-таки боги войны!!!

— Не боги горшки обжигают,— невпопад напомнил поговорку Суматохин.

Нечипайло расхохотался, со словами «Вот дает!», сильно стукнул по плечу флегматичного Суматохина, а затем неожиданно запел высоким чистым тенором:

Я долго тогда в лазарете
В обнимку со смертью лежал.
И плакали сестры, как дети,
Ланцет у хирурга дрожал.

— Ты пой, пой, служивый, я песни уважаю,— сказал Пал Палыч одобрительно.— Но только когда они ко времени. А то, помню, войну объявили, весь день по радио песни орали безо всякого антракта...

— А меня возьмут в артиллерию? — спросила Груня и поглядела в глаза Федосееву.

— Зачем не возьмут? Медперсонала не хватает. Кто остался после Соловьевской переправы? — Кавтарадзе говорил медленно, с трудом подбирая русские слова.— Фельдшер Гуревич и Шура Окунева, санитарструктор. Ой, смелая барышня! Так что...

— Будете у нас, Грунечка, богиней войны! — Нечипайло пригладил отсутствующие волосы.

Пал Палыч театрально поблагодарил Нечипайло за придумку насчет дочери и поднялся из-за стола, свирепо отодвинув табуретку. Он долго ворчал, с Груней не разговаривал, даже не смотрел в ее сторону...

2.

Кто бы мог подумать, что на рассвете артиллеристов подымут по тревоге и что на этот раз тревога окажется действительно боевой?

После нескольких пристрелочных выстрелов из первого орудия весь дивизион открыл огонь. Тяжелые 152-миллиметровые орудия стреляли чуть ли не на предельной дальности. Телефонист Федосеев первый узнал, что они ведут огонь по противнику, занявшему Красную Поляну, по автоколонне немцев, втянувшейся в Прудки, по южной околице деревни Катюшки, которая на полтора километра ближе Красной Поляны, по железнодорожному поезду на станции Лобня и по другим целям.

Номера расчетов действовали расторопно. Только Суматохин двигался вяло, работал неторопко. И сейчас на его лице не было написано ничего, кроме

того, что его разбудили раньше времени. Но товарищи по расчету прощали его, потому что и под огнем, в минуты отчаянные, он не изменял своей неторопливой манере двигаться, соображать, отвечать и тем самым нечаянно ободрял окружающих. Осколки свистят, а ему и пригнуться лень.

Нечипайло, напротив, суетился на огневой позиции, без умолку болтал. Как всегда в минуту большого напряжения, он любил слышать свой голос. Левой рукой вращал поворотный механизм и при этом приговаривал:

— Это для фрица убийцы, это для фрица кровопийцы, это на помин офицерской души, а это — еще кой-кого оглуши!..

Через десяток минут Кавтарадзе уже грел руки о ствол своего орудия. Видно было, как над ним струится горячий воздух.

При каждом выстреле все широко раскрывали рты: не так больно бьет в уши. Земля успела основательно промерзнуть, отчего еще больше сотрясалась при каждом выстреле.

А когда повели беглый огонь всем дивизионом, сразу из шести стволов, в ближних домах вылетели стекла, а кое-где сорвало с петель, с задвижек оконные переплеты и двери.

Федосеев все поглядывал на покосившееся крыльцо.

После очередного залпа он увидел, как на доме, уже потерявшем стекла, зашевелилась труба, кирпичи начали осыпаться и съезжать по скатам заснеженной крыши.

А сегодня, как на грех, собрался с силенками мороз — все-таки декабрь на носу, — и перепуганные жители, поднятые ни свет ни заря, изрядно оглушенные, затыкали выбитые стекла одеялами, подушками, охапками сена, наволочками, набитыми всякой всячиной. Федосеев все смущенно поглядывал на дом; казалось, и крыльцо скособоилось еще сильнее и крыша надета набекрень.

Когда Федосеева сменили у полевого телефона, он, потирая ухо, онемевшее от трубки, зашагал к пострадавшему дому.

Пал Палыч сколачивал из фанеры и досок какое-то подобие ставен. Так бросаются в глаза нарядные резные наличники, когда окна без стекол! Федосеев ждал, что сейчас Пал Палыч начнет его ругать.

Тем неожиданнее для себя он услышал:

— Стекло — дело поправимое. Бейте немца громче, я отвечаю! Только отгоните прочь, чтобы Гитлер насмерть заблудился в подмосковном снегу!

Федосеев вызвался помочь с ремонтом. Какой же уралец боится пилы и топора? Но Пал Палыч отказался: сам управится.

Анастасия Васильевна, повязанная теплым платком, хлопотала у плиты, а Груня сидела за столом в шубенке и что-то писала, дуя на пальцы. Плита дымилась, и Груня сильно щурилась, отчего в ее темных, удлинённых глазах появилось что-то монгольское. На плите стоял тот самый медный чайник, закопченный до черноты...

— Если вы пришли греться... — начала Груня.

— Пришел померзнуть вместе с вами.

— Вечером угощу оладьями, — подала голос от плиты Анастасия Васильевна. — Блюла немного муки к рождеству христову. Да уж ладно...

Он хотел сказать что-то сочувственное по поводу выбитых стекол и всех прочих убытков, но не нашелся и промолчал.

— Кстати явились, — улыбнулась Груня. — Понесете чайник.

Это была затея матери: вскипятить чайник, зава-

рить чай и отнести пушкарям на позицию. Расчет находился безотлучно при орудиях, а согреться нечем и негде. Когда шел снежок, разрешалось жечь сильные костры, а сегодня погода летная, костры погасили, и они дотлевали.

Федосеев нес чайник, а Груня, обходя расчеты, повторяла:

— Кто хочет горячего чаю? Угощайтесь. Извините, без сахара...

Одним из первых подставил свою объемистую кружку Нечипайло:

— Рядом с такой сладкой барышней сойдет чай вприглядку. Как говорится: ешь — потей, работай — мерзни.

Как только Нечипайло увидел Груню, он с ходу запел песенку Груни из кинокартины «Вратарь республики». Он с особенным значением, подмигивая в сторону Федосеева и вгоняя Груню в краску, спел заключительную фразу: «Без луны на небе мутно, а при ней мороз сильней, без любви на свете трудно, а любить еще трудней».

Нечипайло сидел возле чадающих головешек, аппетитно грыз сахар, прихлебывал чай, Груню называл Грунечкой, но ему и в голову не приходило осведомиться, как она с родителями живет сегодня и как они думают жить завтра в открытом всем ветрам выстуженном доме. Он допил кружку, сказал: «Ну, я отчаялся» — и занялся своими делами. Настроение сразу поднялось, и он принялся напевать:

Я могилу фрицу копал,
Но его зарыть нелегко.
Долго я томился и страдал,
Помоги же мне, Сулико.

Когда до Кавтарадзе доносились звуки родной песни в такой редакции, он, не полагаясь на башлык, повязанный поверх ушанки, затыкал себе пальцами уши, как в минуту залпа всего дивизиона. На нем башлык пастуха из Сванетии, но Кавтарадзе в постоянных спорах со старшиной батареи («по уставу не положено!») выдавал башлык за форменный, кавалерийский.

Дивизион отстрелялся, прозвучал отбой, номерам расчетов разрешили отлучиться с огневой позиции, погреться где-нибудь по соседству. Федосеев принял даже на этот счет телефонограмму из штаба полка: «Наступившие морозы могут привести к обмороживанию конечностей у личного состава... Сократить время пребывания на наружных постах...»

Конечно, первый, кто выпросил себе у старшины «перекур с дремотой», кто исчез с огневой позиции и с кем, по выражению командира батареи, была «утрачена визуальная связь», — Нечипайло. Командир увидел только спину наводчика и бросил вдогонку:

— Вот пенкоед!

А Нечипайло уже подходил к целехонькому домику с зелеными ставнями на дальнем краю оврага.

3.

Федосеев забежал к Груне, чтобы сообщить: его отправляют с боевым поручением.

— Сказали, на два дня. Так что послезавтра увидимся.

Его серые глаза смотрели почти весело.

— Вот и хорошо, — в тон ему откликнулась Груня. — А не успеете, в субботу. А еще задержитесь, в воскресенье. Это же совсем скоро!

— Совсем скоро. — Он беспомощно улыбнулся, ему совершенно некуда было девать сильные, большие руки.

Поддакнул вот, а сам огорчился: «Как же это? До воскресенья еще четыре дня, целая вечность». Он готов был обидеться, не понял, что еще раньше, когда он так весело начал прощаться, обиделась Груня.

Федосеев получил ответственное задание: он с Шарафутдиновым, из новеньких, прошагает по линии связи, и провод приведет их на передовую к лейтенанту Воейкову. Если шагать напрямки — километров семнадцать, семнадцать с половиной, не больше.

Федосееву очень нравился этот Артемий Воейков, долговязый, веснушчатый, рыжеватый, со слегка вихляющей походкой. От него всегда можно было узнать что-нибудь интересное; он и стихов знает столько, что на всю зимнюю ночь хватает. Замполит говорил, что вовсе не все стихи чужие, он и самостоятельные стихи декламирует... И в математике лейтенант силен, как главный бухгалтер...

Сидеть с таким разведчиком на самом что ни есть передке, в боевом охранении, обеспечивать связь «Оленя» с батареей, бегать, ползать вдоль провода, искать обрывы, сращивать концы, когда воздуха за огнем не видно... Федосеев будто сегодня еще больше раздался в плечах. Вот что значит чувство ответственности!

Однако ни через два дня, ни в субботу, ни в воскресенье Федосеев на батарею не появился, не было его и через неделю.

Груня уличила себя в том, что весь день поджидает его — вот неожиданность! Она отправилась на батарею к тому бойкому артиллеристу, лысому, с красивыми, нахальными глазами, который любит петь частушки и песенки. Может, у него можно узнать про Севу Федосеева?

Поначалу Нечипайло не удержался и снова затянул песню Груни из картины «Вратарь республики».

— Что, барышня? Много горя и страдания сердце терпит невзначай?

Но, увидев выражение лица Груни, Нечипайло перестал ерничать и сообщил, что Федосеев дежурит на самой передовой, где убило двух линейных надсмотрщиков, а от линии связи остались одни ошметки.

4.

В воронке, присыпанной черным снегом, где остро пахнет обожженной землей и горелым порохом, сидят двое молодых людей — коренной москвич и парень с Урала, наблюдатель и его новый телефонист. Справа от них, в мелких окопах и воронках, — пехота, боевое охранение. Лейтенант корректирует отсюда огонь и поэтому неразлучен со стереотрубой. Федосеев тоже заглянул в стереотрубу; он увидел задворки поселка, шлагбаум, задранный в низкое серое небо, станционное здание, какой-то пакгауз и вагоны подле него.

Отсюда не слышать своих пушек, но слышны и видны разрывы своих снарядов. Они вздымают над снежным полем черные столбы земли, так что видимости совсем не стало. Огонь плотный, и земля не успевает опадать. Пласты вздыбленной земли остаются висеть на горизонте черной массой, презревшей закон тяготения.

Вчера утром колонна немецких танков и цуг-машин рвалась сюда по шоссе. Можно было различить невооруженным глазом, какие танки средние и какие тяжелые. Снаряды ложились близко. Лейтенант и Федосеев ныряли на дно воронки, чтобы не приласкал свой же осколок.

Лейтенант сохранял присутствие духа, несуетли-

вую деловитость, не менялся в лице. И лишь когда нужно было накрыть движущиеся цели и счет шел на мгновения, когда лейтенант, не отрываясь от бинокля или стереотрубы, молниеносно производил вычисления и диктовал координаты Федосееву, он так сильно бледнел, что Федосеев видел каждую веснушку. Если в декабре все лицо обметало, сколько же веснушек высыпает летом?

— Ну что там пушкари на самом деле?!—раздразнился Федосеев.— Может, Суматохин плетется, медленно несет снаряд? Или установщик долго возится с колпачком? Или краник взрывателя тугой и не поддается пальцам? Почему же тогда никто не берется за плоскогубцы?! Заело замок? Замешкался заряжающий Кавтарадзе? Или Нечипайло с лентой вертит поворотный механизм? Вообще-то на них такое непохоже... Так что же они, черти полосатые? Когда же там прозвучит команда «огонь»?!

Батарея запаздывала с залпом, лейтенант бледнел, а Федосеева начинала бить нервная дрожь. Он не знал, куда девать свои руки, налитые железной силой. Телефонная трубка казалась в такие минуты хрупкой, а в трубке мерещился глухой стук, с каким уже падают одна за другой шесть пустых гильз.

Но едва начинали рваться свои снаряды, Федосеев мгновенно забывал, как винил пушкарей во всех смертных грехах. Ничего не поделаешь, таковы все артиллерийские разведчики: движется новая цель, переданы новые поправки, новое ожидание и снова несправедливые упреки, ругательства, проклятия, предвещающие очередной залп.

Судьба артиллерийских разведчиков — всегда вдали от своей батареи. И чем солиднее пушки, тем дальше от них наблюдатели. Истоки точности берут начало далеко-далеко, где-нибудь на колокольне разбитой церкви, на чердаке дома, на рослой сосне или на бугре, в такой вот воронке, где сидит дальноточный и не по летам терпеливый, приглядистый лейтенант Воейков.

«Вот бы стать похожим на лейтенанта!—замечтался Федосеев.— Может, и меня когда-нибудь война произведет в лейтенанты. Или служба оборвется раньше времени?»

Впереди за линией окопов установилась непрочная фронтовая тишина. Припустил снежок, из воронки не видать уже и третьего телеграфного столба, шагающего вдоль шоссе. Вскоре перед глазами возник такой умиротворенный пейзаж, будто их заснеженная яма передвинулась куда-то в безопасный, покойный тыл. И лейтенант догадался, откуда пришло обманчивое ощущение — от первобытной чистоты снега. Он присыпал все черные круги, проплешины на месте разрывов, всю пороховую копоть, сделал невидимым задымленный передний край, забелил облако дыма справа, над станцией Лобня.

Стереотруба ослепла, лейтенант закрыл свой планшет: вычислять, наблюдать нечего. Двое молодых людей могут и вдоволь помолчать и наговориться.

Между прочим, одноклассники, вместе в школу пошли. А Федосеев-то думал, что он моложе лейтенанта года на четыре. Он стал относиться к лейтенанту еще уважительнее — столько успел человек в свои годы! — и в то же время с большей внутренней свободой: как-никак сверстники.

От нечего делать лейтенант взялся высчитать, благо, карта под рукой, как далеко от их воронки до Арбатской площади. Кстати сказать, отсчет километров на подмосковных шоссе начинается от Кремля, в то время как, например, в Санкт-Петербурге версты полосаты были отмерены от почтамта. Оттуда отправлялись в дорогу царские фельдъ-

егеря, которые, по утверждению старинного автогра, «мчались на перекладных так быстро, что кончиками своих шпаг едва успевали пересчитывать верстовые столбы».

— Во-о-от там, на обочине шоссе, прячется в сугробе столб «26»... Красная Поляна, Звенигород, Алабино, Истра, Голицыно, Яхрома... Ты понимаешь, что за перечень?

Федосеев недоуменно пожал плечами:

— Населенные пункты...

— Да там москвичи снимали дачи. Это же исконные дачные места!..

Но откуда Федосеев может знать про подмосковные дачи, если он никогда не видел Москвы? И он вовсе не один такой на батарее. Разгрузились ночью на задворках какой-то сортировочной станции, а до вокзала, до города так и не доехали...

«Как же это? — встревожился лейтенант. — Защитники, а Москвы не видели. Может, так и умрут за нее? Им увольнительная в город нужнее, чем мне, коренному москвичу...»

Думать сейчас о какой-то экскурсии не к месту и не ко времени. Лейтенант укорял себя в неумном мальчишестве, но мысленно уже шагнул по Москве,



58.

уже что-то объяснял своему соседу по воронке и другим артиллеристам, а те смотрели во все глаза на Красную площадь, на Кремль, на станции метро, на переулки его Арбата.

Лейтенант с увлечением рассказывал про царь-пушку и «место лобное, для голов ужасно неудобное», про парашютные вышки и про «лестницы-чудесницы» в метро, про вращающуюся сцену во МХАТе и «чертово колесо» в Центральном парке. А подробнее и охотнее всего — про тихие зеленые переулки Арбата, по которым еще сопливым мальчишкой бегал в школу. Он знал на Арбате все проходные дворы, все лазы в заборах; в тех захолустных переулках живет-доживает и никак не умирает московская старина.

Тут Федосеев осмелился перебить лейтенанта и вслух вспомнил, с каким трудом он, бывало, пробирался в школу через лес. А когда тропу заметало снегом по пояс, приходилось пропускать занятия.

— Небось, хочется съездить домой, в Москву? — Федосеев показывал рукой куда-то себе за спину, где в четырех километрах южнее сидел на контрольном пункте Шарафутдинов.

— А мне даже по телефону поговорить в Москве не с кем, — отмахнулся лейтенант невесело. — Кто — на фронте, кто — в глубоком тылу. Единственный знакомый голос во всем городе — диктор, который по телефону сообщает точное время. Но разве с ним можно поговорить по душам?

— А вот у меня к вам разговор по душам, — неожиданно сказал Федосеев. — Меня сюда, на передовую, временно прислали. Хочу попроситься насовсем. Линейным надсмотрщиком на ваш энпе...

— Понимаешь, куда просишься?

— Дед говорил: не повезет, так дома и лежать споткнешься.

— Тут скорее споткнешься о собственный могильный холмик. Ты же сам хлебнул сегодня. Сквозь огонь шагал, ползал...

— А все-таки... Чтобы не только своего орудийного пороха понюхать, но и чужого.

— Такого аромата здесь хватает, — рассмеялся лейтенант и вновь принялся за какие-то вычисления, держа карандаш в окоченевших руках и не закрывая планшета.

Что он так долго вычисляет, когда стереотруба закрыта чехлом?

А лейтенант спросил весьма несмело:

— Хочешь, стихи почитаю?

— Хочу, товарищ лейтенант.

Воейков собрался было достать тетрадку, лежащую в планшете, но передумал: снег все не унимался, — и принялся читать на память:

Я, ложку потеряв свою,
У друга одолжил.
Начался бой, и в том бою
Мой друг смертельно ранен был.
Его суровый гордый рот
Еще дымился алой кровью.
И я один ушел вперед,
От ярости нахмутив брови.

Чтение пришлось прервать: метрах в шестидесяти, прямо на дороге, разорвался тяжелый немецкий снаряд, а разлет осколков, как известно, тем больше, чем сильнее промерзла земля и чем тоньше снежный покров.

Оба нырнули на дно воронки, где лежали стереотруба и ящик с телефоном. К счастью, провод нигде не перебило, «Лебедь» сразу подал признаки жизни, ответив «Оленю», то есть Федосееву.

Потом Федосеев удивился вслух: лейтенант так ловко производит вычисления, неужели цифирь не мешает ему сочинять стихи?

А лейтенант очень охотно поддержал разговор и

поделился с телефонистом давними своими сомнениями о выборе профессии. Никак не мог он весной позапрошлого года решить, куда пойти учиться — на математический факультет или в литературный институт.

— Слава богу, военкомат за меня решил, — рассмеялся лейтенант. — Угодил я в артиллерийское училище. Училище хорошее. Но только жаль, что два года вместо современных пушек изучали всякую рухлядь. Представляешь себе наглядные пособия — пушки одна тысяча девятисотого года рождения?..

Лейтенант собрался было рассказать подробнее об этих, как он выразился, «ненаглядных пособиях», но только махнул рукой. Он проворно вылез из воронки, чтобы показать дорогу на полковой медпункт двум раненым из бригады морской пехоты: на одном были бушлат и ушанка, на другом — шинель и бескозырка. Раненые ковыляли по шоссе, опираясь на свои карабины, как на посохи, а ранены были один в левую, другой в правую ногу. Раненые сообщили, что идут от железнодорожного переезда, от Лобни. Над станцией стоит дымная туча, хотя ее и не видно отсюда за снегом; это матросы подожгли бутылками два танка...

Когда раненые прошли и вновь стало тихо, Федосееву не пришлось упрашивать лейтенанта дочитать стихи. Видимо, автору не терпелось самому проверить строчки на слух:

Когда нам ужин привезли,
Взял ложку из-за голенища,
Стал есть и ел, не посолив,
Без соли солоната пища.

— Над концом надо еще поработать, — сказал лейтенант озабоченно и застегнул планшет.

5.

Федосеев появился на батарее с хорошими новостями. Он сам видел, как фашистов выбили из Красной Поляны, как они драпали из деревни Катюшки, как их отбросили от станции Лобня, где до сих пор торчит задранный в небо шлагбаум.

Теперь их пушки уже не могли дотянуться до фашистов. Телефонисту нетрудно было догадаться, что батарея вот-вот снимается и ее перебросят на другой участок.

По возвращении Федосеев не мог сразу отлучиться от телефона и лишь поглядывал издали на знакомый дом. Дом стоял незрячий, с фанерными бельмами на окнах, и потому выглядел нежилым. Но вот он, дымок, подымается над прохудившейся трубой! Значит, Пал Палыч все-таки склеил глиной на морозе потревоженные, разъединенные кирпичи.

Федосеев издали ощущал тепло, идущее от плиты, видел негаснущую лампочку над столом, слышал, как потрескивает и шепелявит в углу комнаты черная радиотарелка, которую Пал Палыч не позволяет выключать. Федосеев отчетливо представлял себе обстановку, утварь дома. Он умел вызвать в своем воображении внешность родителей Груни.

И только ее лицо оставалось расплывчатым, неуловимым. Светлые прямые волосы, чуть выдающиеся скулы и чуть раскосые глаза делали ее похожей на миловидную крашеную татарочку.

Он спросил про обитателей дома у Нечипайло, но тот отмахнулся от вопроса, плутовски подмигнул и показал рукой на дом с зелеными ставнями, куда теперь ходит ночевать, поскольку с их пушкой возятся орудийные мастера. Еще после первых залпов он высмотрел, что в доме на дальнем краю оврага стекла уцелели, видимо, ставни помогли, и от-



правился туда на «рекогносцировку». Его послушать, так веселая хозяйка уступила ему свою двухспальную кровать с периной, дышит на своего ночлежника не надышится. Муж у нее чересчур пожилой и все время на колесах: катается проводником в ташкентском поезде; по угощению ясно, что маршрут у него сытный, плов у хозяйки — фирменное блюдо...

Федосеев не дослушал Нечипайло, отчужденно передернул плечами, круто от него отвернулся и зашагал к знакомому дому. Хозяева не очень удивились его приходу, но предупредили: шинель не снимать, из окон чертовски дует.

Он подменил Пал Палыча у плиты и долго сидел в одиночестве, подкладывая по полену, по два: пусть Груня согреется, когда придет.

Вернулась Груня только поздним вечером. Они сидели вдвоем у плиты, и казалось, двум этим истопникам не хватит длинной декабрьской ночи, чтобы переговорить обо всем, отчаянно важном для них обоих.

Он рассказал ей о своем Соликамске, о старых солеварнях, просоленных настолько, что бревна только чернеют, а не гниют. Рассказал, как дед брал его на охоту, как он лениво учился в педагогическом техникуме, не доучился и поступил на рудник электриком. А красиво там внизу, где калийная соль! Пропластки и прожилки у нее сургучно-кровоавого или молочно-голубого цвета. В Соликамске и вода с примесью брома, никто в городе не страдает от бессонницы, спят крепко, как Суматохин. Пласты глубокого залегания называют сивинитом, и в честь этого уже несколько уралочек окрестили Сильвинами и Сильвами.

— А меня,— Груня вздохнула,— нарекли в честь бабушки Аграфеной.

— Вот хорошо-то! И мою бабу так звали. Крепкая была старуха! На три дня одна-одинешенька в тайгу уходила. Между прочим, стреляла знаменито, получше деда.

Ему нравилась работа на руднике. Что больше все-

го привлекает в звании «дежурный электрик»? Приходится принимать быстрые решения, и притом самостоятельно. В аварийных случаях тем более нужна расторопность, уверенность в себе.

— А на фронт попал и потерял эту самую уверенность. Может, на руднике ее оставил, а может, в запасном полку забыл, вот ведь беда какая.— Он пожал плечами, внимательно поглядел на свои сильные руки и надолго задумался; Груня не мешала ему молчать, она понимала, что внезапное признание не из легких.— Вот только на этой неделе немного ума набрался...

— Что-то я не заметила,— поддела Груня с коротким смешком.

Но тут же она посерьезнела, перешла на доверительный шепот и, оглядываясь на перегородку, за которой спали родители, призналась, что вчера была в райвоенкомате и подала заявление с просьбой направить ее на фронт, в санитарки. С ней ездил усатый писарь из штаба дивизиона, замполит послал его на подмогу.

Федосеев был счастлив сидеть рядом с Груней, болтать о всякой всячине, ощущать доверчиво прижатое к нему плечо, жить в ее присутствии. Оба чувствовали себя столь близкими, что обоюдно угадывали мысли и чувства, хотя, в сущности, очень мало знали друг о друге. Может, потому каждый жадно рассказывал о себе, чтобы другому не приходилось выпрашивать, как это делают малознакомые?

6.

Лейтенант Воейков доложил замполиту дивизиона о замышляемой экскурсии по Москве.

— Но только за счет положенного отдыха,— сказал замполит строго.— И разработайте эту московскую «операцию» во всех деталях.

При этом замполит так посмотрел на лейтенанта Воейкова, будто тот был виноват — до сих пор не выполнил указания.

Однако подходящий момент для московской «операции» представился лишь за несколько часов до того, как пришло время оставить Верхние Лихоборы.

— Только нашел себе перину со всеми удобствами — снимаемся с позиции... Я вообще неведу-



чий,—жаловался Нечипайло с веселым отчаянием.—Еще в молодости заблудился в дебрях судьбы. И в армии не повезло. Провоевал без году неделю — и в госпиталь. В лотерее для раненых выиграл гребешок — причесывать нечего...— Он откинул на затылок ушанку и пригладил лысую голову.

Лейтенант уже знал, что в условленном месте, где-то на развилке Можайского и Рублевского шоссе, будет ждать «маяк», он вручит командиру дивизиона секретный пакет с указанием их дислокации. А лейтенанту с группой бойцов, увольняемых в город, надлежит быть в восемнадцать ноль-ноль у станции метро «Смоленская», по правой стороне Садового кольца, если двигаться к Бородинскому мосту, надлежит стоять на тротуаре и приглядываться, прислушиваться к тягачам, которые прогромыхают мимо.

Утром Федосеев зашел в знакомый дом попрощаться, но застал только встревоженную Анастасию Васильевну.

— Аграфена опять убежала в военкомат...

— Не сказала, когда придет?

— Да она, наверно, и сама не знает. Бегаёт натащак. И спала сегодня на одном ребре. На стуле притулилась у плиты...

Федосеев ушел в последнюю минуту: недолго и отстать от экскурсии. Напоследок он обеспокоенно взглянул на полукруглый номерной знак, прибитый возле крыльца, — Верхние Лихоборы, № 20.

С аккуратностью артиллерийского разведчика рассчитал время лейтенант. С места пушки снимутся через два часа. Пока погрузят полтора боекомплекта, пока заправятся горючим... Нужно пробраться заулками и переулками на Дмитровское шоссе, прямым ходом туда из овражка не выехать. Мимо Савеловского вокзала. Проехать из конца в конец всю Каляевскую улицу. Свернуть вправо на Садовое кольцо. Миновать площадь Маяковского, площадь Восстания. Со Смоленской площади свернуть направо на Бородинский мост и дальше — на Можайское шоссе. Лейтенант принял в расчет скорость движения всей колонны, хотя и не верил в то, что «маяки», высланные вперед на перекрестки, обеспечат «зеленую улицу». На квадрате карты, куда теперь попала Москва, лейтенант вычислил и длину маршрута, предстоящего пушкам. Оставалось составить график всей экскурсии по минутам.

Больше всех предстоящим увольнением в город заинтересовался Нечипайло.

— Такой случай пропускать никак нельзя... Когда меня выпустили оттуда, — Нечипайло на мгновение скрестил указательные и средние пальцы, изобразив решетку, — то в паспорте поставили веселый штамп «минус шесть». Чтобы я в шесть самых больших городов не торопился на жительство. Вот война кончится, а меня, может, и в Москву не впустят...

Он говорил с неожиданной для него искренностью, в глазах горела давняя боль. Большие глаза Нечипайло, казалось, случайно попали на рябчатое, некрасивое лицо, осветив его теплым голубым светом.

Выглядели экскурсанты необычно. У всех при себе карабины, подсумки, «сидоры» за плечами. Их даже заставили надеть сумки с противогазами, чтобы комendantский патруль не придирался. Лейтенант разозлился: «Неужели не хватило времени понять? Ну к чему немцы станут отравлять газами город, который хотят захватить?»

Доехали на трамвае до станции метро «Сокол», вошли в почти невидимую дверь, окутанную морозным паром. Нечипайло был разочарован тем, что

на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне ему все очень понравилось.

Неожиданно быстро доехали до площади Революции. Лейтенант сказал, что она в самом центре города, и приказал выходить.

Федосеев, как и его попутчики, весьма неуверенно ступили на эскалатор. Все ему было внове в подземном этаже Москвы. «Стоять справа, проходить слева, тростей, зонтов и чемоданов не ставить». Все, кто спускается им навстречу по соседнему эскалатору, только что с мороза — румяные, розовощекие, особенно девушки.

Но вот снова твердый пол под ногами. Они перешли площадь, прошагали мимо Стереокино, мимо Центрального детского театра и, слушая объяснения некурящего лейтенанта, постояли, подымили тесным кружком на площади Свердлова. Лейтенант быстро вошел в роль и разглагольствовал, как заправский экскурсовод.

Фасад Большого театра, знакомый Федосееву по фотографиям и киножурналам, неузнаваем. Может, оттого, что не видать коней на верхотуре? Вся верхушка театра завешана двумя декорациями — слева двухэтажный дом, правее роща. Лейтенант объяснил, что это камуфляж. Нечипайло заинтересовался, сколько чугунных коней на крыше в той замаскированной упряжке — четыре или шесть, состоит при них чугунный ездовой или нет?

Вышли на Красную площадь, и Федосеева сопровождало ощущение, что он ходит по давно знакомым местам. Лейтенант обещал показать Минина и Пожарского, народных ополченцев старой Руси, но памятник заложили мешками с песком. Молодцевато прошагали от Мавзолея часовые, там сменили караул. Федосеев проводил часовых завистливым взглядом — вот это строевая подготовка, не то, что в запасном полку!

Лейтенант рассказал о Кремле и Красной площади много такого, чего Федосеев не знал. Конный патруль еще раз измерил притихшую площадь из конца в конец. Ранние сумерки доносили приглушенный снегом цокот копыт по брусчатке. Лейтенант обратил внимание на то, что циферблат часов с наступлением сумерек не подсвечивают, как это было до войны; что кремлевские звезды замазаны защитной краской (он цветисто назвал их рубиновым созвездием Кремля); что с кремлевской стены еще не смыло фальшивые окна и деревья — их намалевали, чтобы сбить с толку фашистских налетчиков.

Решили дожидаться шестнадцати ноль-ноль, чтобы послушать кремлевские куранты. Федосеев напряженно вслушался в четыре мелодичных удара — с детства знакомый перезвон — и неожиданно подумал, что эти куранты сейчас играют и в холодном доме без окон, где не выключается радио, не гаснет электрическая лампочка, а шаткие отсветы, идущие от плиты, мельтешат по стенам и потолку.

Лейтенант взял Федосеева под локоть, замедлил шаг, отстал от группы и смущенно спросил, показывая рукой на кремлевскую стену:

— Видишь, ветер сметает снег с зубцов. Похоже на пороховой дым из бойниц крепости? А голубые ели выстроились в шеренгу, как бойцы, и набросили на себя белые маскировочные халаты...

Федосеев дважды кивнул в знак согласия, и лейтенант заулыбался; при этом он так провел ладонью по лицу, словно решил раз и навсегда стереть все веснушки. Он сосредоточенно думал сейчас о чем-то своем, не вошедшем в программу экскурсии, утвержденной замполитом...

С Красной площади лейтенант повел свою группу по улице Горького. Федосеевым владела радость

узнавания нового большого города. Это чувство острее у человека, который мало путешествовал, а жил где-то в медвежьем углу, в захолустье. Что откроется за перекрестком? Где кончается улица? Кому памятник? А как выглядели витрины магазинов, заложенные сейчас мешками с песком? И он все пытался вообразить, как выглядела Москва мирная и оживленная. Во всяком случае, город не был бездетным, как сейчас, не был таким безголосым и не боялся огней.

Он мысленно выругал себя за то, что не решился приехать в Москву до войны. Если поднатужиться, скопить денег на поездку можно было, и прямой вагон Соликамск—Москва прицепляли к пермскому поезду. Правда, все, как сговорились, пугали, что невозможно достать койку в гостинице. С одной стороны, не без добрых душ на свете, но в то же время известно, что Москва слезам не верит... Конечно, он мог бы заехать прямо в Верхние Лихоборы, ему сразу слышалось такое знакомое: «Проходите, садитесь, в ногах правды нет...» Он посмеялся над собой: рассуждает так, будто был знаком с Груней до войны...

«Может, Груня успела вернуться до того, как наши завели тягачи? Так и не попрощался... Совсем неко времени эта прогулка. Адрес-то помню. Но ответит ли Груня на письмо?»

И он слушал и уже не слышал рассказ лейтенанта про то, как расширяли бывшую Тверскую, передвигали четырехэтажные дома.

Они дошли до Тверского бульвара, постояли у памятника Пушкину, лейтенант почитал на память стихи Маяковского. Нечипайло громко, заливисто хохотал — лихо этот Онегин в письме Татьяне «разрисовал» ее супруга: дескать, муж у вас дурак и сивый мерин...

Лейтенанта тревожило, что Пушкин ничем не укрыт. Ведь он стоит с непокрытой головой. Правда, в сером небе маячит аэростат воздушного заграждения.

Так и подмывало свернуть по бульварному кольцу к Арбату, провести свой опустевший переулок, пусть даже квартира на замке и он не встретит во дворе никого из знакомых. Но не тащить же за собой из сущего эгоизма шестерых товарищей! Им в том переулке на Арбате делать совершенно нечего.

Он раздумчиво поглядел в сторону Никитских ворот, вздохнул и повернул назад. Чем медленнее шагал лейтенант, тем походка у него делалась все более штатской, даже чуть развинченной.

Зашли на темный телеграф, в большой операционный зал. Лейтенант с наслаждением вдохнул милый с детства, не выветрившийся запах почты — смешанный запах сургуча, клея, штепсельной краски и еще чего-то, манящего вдаль... Он сверился с часами — семьдесят пять минут в запасе.

Не торопясь вернулись они на площадь Революции и вторично спустились в метро: есть время прокатиться взад-вперед. Несколько раз они выходили из поезда, пересаживались и осматривали станции. Кавтарадзе особенно понравилась станция «Маяковская» со стальными колоннами. Он готов дать руку на отсечение: к этой стали добавляли их чиатурский марганец. А Федосееву приглянулись «Красные ворота» — красные и белые плиты под ногами, белые ниши и красные стены: такие же краски на горизонтах калийного рудника.

В огромном бомбоубежище, каким стало московское метро, складывался свой быт. На станции «Арбатская» Нечипайло увидел на какой-то служебной двери табличку «Для рожениц», но комментировать

не стал, только присвистнул и почесал лысину. На станции «Курская» работал филиал публичной Исторической библиотеки; он открывался когда прекращалось движение поездов. Федосеев проникся уважением к подземным читателям: занимаются в часы воздушной тревоги!

«А сам даже не записался в библиотеку на руднике. И вообще ленился читать...»

Станции готовы к беспокойной ночной жизни. Топчаны, сложенные штабелями; куцые детские матрасики в дальнем углу платформы; деревянные настилы, чтобы сойти с платформы в тоннель.

Пожалуй, из предосторожности нужно покинуть метро до того, как в восемнадцать ноль-ноль окончится движение поездов и станции начнут принимать потоки ночлежников...

Закончили путешествие на станции «Смоленская». В морозном облаке пара тускло светилась синим светом коренастая и приземистая буква «М».

У вестибюля уже выстроилась очередь. Сегодня погода благоприятная: звезд не видать, — и потому ночлежников немного, преимущественно женщины с детьми, старики и старухи.

Быстро стемнело. Вот что значат торопливые декабрьские сумерки! Дома затемнены, как нежилые, а вся широкая улица — как выморочная. Не слышно шума городского. Прошла машина с прищуренными фарами, узкие прорези пропускали лишь подслеповатый синий свет.

Снег не унимался, и нелетный вечер нес городу сон и покой. Прежде, вспоминал лейтенант, даже в такой слабосильный снегопад начиналась дворницкая страда: шваркали лопаты, звякали скребки, движущиеся транспортеры ухватисто подгребали комья, глыбы, сугробы снега, и его увозили машинами. Ох, и намерзся он когда-то, взирая на диковинную снегоуборочную машину!

В томительном ожидании артиллеристы толпились на кромке тротуара и вслушивались в заснеженный простор Садового кольца, не громяхают ли вдали знакомые тягачи с пушками на прицепе.

Доносились только гудки полуслепых автомашин. — Зачем кольцо Садовое? — допытывался Кавтарадзе. — Где ваши сады?

Лейтенант объяснил, что когда-то посередине улицы тянулся бульвар, но его вырубili.

— Зачем вырубili? — удивился Кавтарадзе, но ответа не дождался и ушел греться в метро.

А лейтенант взял Федосеева под руку, отвел в сторону и сказал доверительно:

— Отсюда до моего дома рукой подать. — Он протянул руку в сторону пустынной улицы. — Во-от там... — Он вдруг прихлопнул на себе ушанку. — Да, забыл сказать, Федосеев. Насчет твоей просьбы. Доложил «ноль пятому» и получил добро. Так что прощайся с тылом, с пушками. Будем ползать, прятаться и подглядывать вместе...

Просто удивительно, как быстро сдружились наблюдатель и его телефонист! Так могут сдружиться только люди, которые неделю подряд сидели, тесно прижавшись друг к другу, в заснеженной воронке, грызли вдвоем один мерзлый сухарь, смотрели по очереди в один бинокль, делили на двоих кирпичик пшеничного концентрата, прихлебывали из одной фляжки, спали по очереди, а в уши им свистели одни и те же осколки.

7.

Первым в заснеженной полутьме различил головной тягач не кто иной, как Нечипайло.

— Я даже подкову вижу, которую Лукиных при-



188.

вязал проволочками к своему радиатору! — не удержался и соврал Нечипайло.

Всей группой они побежали через улицу. Посередке мостовой громыхали двухкилометровым ходом «Ворошиловцы» с пушками на прицепе. Можно было забраться на тягачи, на станины орудий и на ходу, но командир, ехавший впереди в «эмке» вместе с замполитом, увидел своих и остановил колонну.

Лейтенант Воейков доложил, что вверенная ему группа в количестве шести бойцов вернулась после увольнения в город в полном составе и в назначенное время... Это только походка у Воейкова штатская, а подход к начальству у него образцовый, и каблуками он пристукнул молодцевато, и руку лихо вскинул к ушанке, и отрапортовал бравым тоном.

Тут же раздалась команда «по ко-о-оням!» — и все разбежались по своим расчетам, по своим тягачам.

— Эй, сибиряк! — закричал водитель тягача, как только увидел знакомый башлык. — Прыгай сюда! На теплую плацкарту... Поближе к мотору.

Меж сведенных станин орудия, обмотанных веревкой, безмятежно спал Суматохин. Он положил под себя плащ-палатку, набитую сеном, а накрылся не то какой-то попоной, не то орудийным чехлом, в полутьме не разобрать.

Вот и в прошлый переезд, едва тягач тронулся с места, Суматохин улегся в тряскую, жесткую люльку и невпопад сказал, адресуясь к самому себе: «Баба с возу — кобыле легче».

Нечипайло тогда вдоволь посмеялся: живет чело-

век под фамилией Суматохин, а спит круглосуточно, без просыпу. И сейчас Суматохин невозмутимо спал. Ему не было никакого дела до того, что пушки громыхали по московским улицам.

Однако что за незнакомый пассажир объявился на соседнем тягаче? На сиденье позади водителя пристроился какой-то толстяк. Нечипайло вгляделся: да это же не толстяк, а толстушка. У кого же волосы так симпатично выбиваются из-под ушанки? Ай да Груня! Хрупкая барышня, а характера твердого. Ну и закутали ее! Наверно, родители на нервной почве весь гардероб напялили на дочку, а сверху еще ватник и эту мятую шинель.

«Где же наш телефонист? — заерзал Нечипайло. — Трясется в конце колонны рядом с лейтенантом. Их теперь кипятком не разольешь. Федосеев, небось, и не знает, кто к нам на батарею определился. Обрадую его на первой остановке. Вот глаза растопырит! Впрочем, он теперь отрезанный ломоть. Москвич сманил его в разведку...»

Лейтенант и Федосеев сидели с расчетом шестого орудия. Лейтенант повернулся налево и все вглядывался в темноту широкой улицы, за которой лежал еще более темный Арбат.

А Федосеев неотрывно смотрел на заснеженную мостовую. Два пучка синеватых лучей с трудом пробивали плотную темень. В чуть подрагивающих лучах видны были редкие снежинки. Они возникали из черноты, там же пропадали, и потому казалось, что снежинки падают, только пока освещены.



Анатолий Ткаченко

ЖЕЛТЫЙ БУРУКАН

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. Лисогорского

Вы видели, как цветут багульниковые сопки? Нет, не просто багульник, а целые сопки, маленькие, большие и совсем огромные. Лишь бы на них леса не было. Это даже рассказать невозможно. Снизу и до самых макушек сопки делаются оранжевыми, фиолетовыми, розовыми. Говорят, это только здесь, в наших краях, так цветет багульник.

Ну и запах от него — на всю тайгу, на все поселки и дороги! Запах сильнейший, приятный, немного конфетный издали и одуряющий вблизи.

Ползаешь в сопках — голова начинает кружиться, будто чего-то сладкого объелся или браги ягодной выпил. Но это без привычки. Нам, главстановским мальчишкам, ничего от багульника не бывает — так, если уж очень долго в сопках побродишь, домой смурным немножко вернешься. Но, случилось, багульник усыплял своим запахом людей. Цветом заманивал, а запахом...

— Вот батя рассказывал, — говорит Клим Сорин, — давно это было, лет пять назад. Приехал один командировочный из Москвы. Начальник. Пошел в багульники погулять, уснул — и все. Не проснулся. — Клим вытянул руку, слегка махнул в левую сторону. — Вон на той сопке, которая за речкой, с двумя горбами.

Я припомнил: в самом деле что-то говорили о той верблюжьей сопке. Будто там по ночам какие-то звуки раздаются, тени бродят. И бабы никогда не ходили на верблюжью сопку за грибами. А цвела она ярче других, сразу на два-три цвета — аж больно глазам! Но, может быть, это так казалось?

1

— Сходим? — говорит Клим Сорин, опять махнув рукой в сторону двух горбов. — А? Может, трусишь?

Вот так всегда: не успеешь ответить — он уже припрет тебя да еще захохочет. Выворачивайся потом, доказывай. Хорошо, сейчас никого нет, не перед кем ему особенно храбрость свою показывать... Да, знаю я этого Клим, хоть и дружу с ним не так давно, — сам придумает что-нибудь потихоньку, про себя, испугается и сразу начнет других пугать, чтобы никто не догадался, как ему самому страшно. Конечно, потом Климу приходится первому в любое дело лезть — это правда. Может быть, так он и заставляет себя быть храбрым?

Мне немного обидно, что не я первый предложил сходить на верблюжью (а ведь подумал об этом, даже хотел сказать: «Сходим, а?» — но не то сердце уж сильно замерло от страха, не то не успел выговорить), однако, если честно признаться, мне не очень обидно, не до слез: я привык, что меня почти во всем опережает Клим. И не только меня. Поэтому, наверное, и дружить с ним интересно. Все главстановские мальчишки так думают. Но он сам выбирает себе друзей.

— Давай, — соглашаюсь я, для вида, совсем безразлично, будто всего и дела, что сыграть партию в шашки.

Это не очень нравится Климу, он начинает громко насвистывать «Расцвели яблони и груши», выплывает тальниковый прут и, щелкая им по ботинку, пускается под гору, к речке. И правильно, когда бежишь, легче: не так страшно, забываешь, что ли, обо всем. Наверное, потому и в атаку на войне бегом бегут, а не шагом ходят.

У речки, которая называется Сомитка (она седьмая по счету от перевала до нашего поселка), оста-

навливаемся, ложимся животами на округлые валуны, пьем воду. Раз речка — надо пить.

Разуваемся, бредем через быструю и холодную воду (где-то в горах еще не растаял снег), натягиваем ботинки, отдыхаем на валунах, потом снова пьем — ведь дальше поход в сопки.

— Закурить бы, а? — спрашивает Клим.

Но курить у нас нечего, да и не умеем мы еще курить, особенно я — задыхаюсь от дыма. Но сейчас бы, пожалуй, закурить — для отчаянности. Еще немного медлим, размышляем. Клим хлещет прутом по воде, и наконец я встаю. Думаю, что надо идти к ольховой роще — за ней начинается склон двугорбой сопки, — однако не тороплюсь (встать первому — и то уже хорошо), потом вижу впереди себя спину Клина в коричневой вельветовой рубашке, шагаю следом.

За ольховником — сразу багульник. Плотный, ярко-фиолетовый, будто с неба пролились тысячи чернильниц. Он сначала полого тянется вверх — волнами, перепадами, — а дальше стеной вздымается к небесам, и кажется, белые облака лежат, отдыхая, на цветах багульника.

Идти тяжело, по грудь увязаем в сплошном багульнике, иногда скрываемся «с головкой», тропы почти не видно — появится узким прогалом и опять нету (с тех пор, как на сопке умер командировочный, сюда мало кто ходил). Но мы идем, продираемся. Царапаем лица, руки. Мутно становится в голове от запаха. Идем... Зачем? Не знаем. Но надо — это точно. Надо потому, что мы не хотим показаться друг другу трусами, потому, что весна, хороший день, потому, что мы все-таки сдали экзамены — перешли в 8-й класс, потому, что впереди огромное, еще непочатое лето, и надо как-то по-хорошему, по-необыкновенному начать его. Надо, и все.

Кое-где росли одинокие березки — им удалось пробиться сквозь толщу багульника, и теперь они не погибнут. Вообще когда-то и эта сопка была покрыта тайгой, но прошелся по ее горбам пожар, оголил их, после заполонил здесь все набежчик-багульник.

Ближе к вершине — больше камней, голых осыпей (снизу ничего этого не видно). В одном месте Клим сдвинул камень, и под нами зашуршала, потекла щебенка. Сорвались еще два-три камня и со страшной силой запрыгали вниз. Врезались в чащу багульника, взбили над ним розовую цветочную пыль. Мы спрятались, выждали за уступом скалы, пока успокоится щебеночная река, осторожно начали пробираться дальше. Молчали. Потому что первому заговорить — что бы ни сказал — рискованно: вдруг голос не послушается, жалобно прозвучит.

Лезли, карабкались. Исцарапали до крови руки, у меня порвалась штанина на колене, Клим ободрал свои почти новые черные ботинки — они у него посерели. Попадет ему дома. И мне тетка за штаны всыплет, пообещает отцу-матери написать. Все равно лезли, карабкались.

И поняли зачем, когда очутились на вершине левого горба верблужьей сопки. Было это здорово: мы поднялись в самое небо. Белое кучевое облако лежало на наших головах — можно потрогать его пальцем, — а внизу весь мир перед нами: дальние и ближние сопки — багульничьи, березовые, лиственничные, еловые (черные); блескучие речки в распадах, озера; желтая дорога, как брошенная на увалы спутанная нитка, — от поселка к поселку; и сами поселки далеко видны рублеными кубиками-домами, а окна тоже блескучие; дымки кучерявые из труб паровозиков-кукушек в разрезе, где добывают руду. И, конечно, солнце. Большое, красное,

низкое. Почти вечернее и потому усталое. Но главное — оно совсем близко от нас, подождем немного и, как у Маяковского в стихах, похлопаем его по горячему плечу.

Клим Сорин садится на камень, сдергивает кепку, обмахивает ею лицо. У него припух правый глаз, заметная царапина на лбу. Но он не жалуется да и не будет жаловаться, просто сделался очень серьезным, чтобы я его еще больше любил. Как-никак, все он, Клим, придумывает. И сам впереди идет. Никогда бы мне не побывать на верблужьей, если бы не он. Я это понимаю. И Клим понимает. Однако не будем об этом говорить — не девчонки же.

— Здесь помер командировочный, — сказал Клим, слегка ткнув каблуком в щебенку. — Вот бы закурить, а?

Я не спорю, но думаю: как же тогда он задохнулся от запаха багульника? Вершина голая, круглая, каменная, ветром продувается. Багульник где-то вполгоры остался. Это снизу кажется, будто вся верблужья фиолетовая от цветов. Но я не спорю. Зачем сердить Клина? Здесь так здесь. Давно ведь было, целых пять лет назад. А курить не хочу. Я в общем-то люблю чистым воздухом дышать, от дыма задыхаюсь. Наверное, физически слабый.

— Да-а, — отвечаю так, чтобы ответить, лишь бы не обиделся друг.

Смотрю на наш поселок Главстан. Как на топографической карте, нарисованной яркими красками, весь он отсюда. Дома в одну улицу, сбоку школа, квадратики огородов: черные — уже вскопанные, бурые — еще нет. Трактор, как букашка, ползет по дороге, что-то резко блеснуло: не то ведро у колодца, не то открытое окно в доме. И вокруг поселка, вдоль разрезов, где когда-то добывали золото, — отвалы перемытой руды или просто серой гальки. Отвалы намыты ровно (отсюда это очень хорошо видно), прямоугольниками, конусами — серые, как вырубленные из свинца. Отвалов много, здесь в прошлые времена было богатое золото, и потому поселок называли Главстан — Главный Стан. Отсюда и сейчас еще во все стороны тайги старатели расходятся — искать золотые жилы.

— Что, сочиняешь? — спросил Клим, кивнул вниз, на речку, на поселок: это он намекает на то, что я пишу стихи и, может быть, сейчас у меня в голове вертятся строчки, потому что действительно вид с двугорбой сопки самый замечательный. — Стихи — это пустяковое дело, — говорит Клим, слегка с хрипотцой в голосе (для солидности). — Настоящая работа — золото добывать. Что хочешь купишь, ну и всегда деньги имеешь.

Если бы так сказал не Клим, а кто-нибудь другой, я бы смог ответить, например: «Что ты понимаешь в стихах? Вот у меня был случай: написал на одного, в четвертом классе когда учился, — еще как помогло. Хоть и поколотил он меня шибко. Никакое золото так не сработает...» Но Климу я ничего не говорю, не могу. Потому что в прошлом году он полета проработал с отцом на бутаре (катал тачку) и заработал двадцать граммов золота — это больше двадцати золотых рублей — бон. Купил велосипед, московский, самый новенький в поселке, с маркой «МА». На оставшиеся деньги ездил в район — а это у нас почти город, — ходил на приезжих циркачей, ел мороженое и выпил целый стакан красного бочкового вина — грузин на рынке продавал.

Вот я и молчу. А что скажешь такому человеку? Даже имя у него необыкновенное — как у маршала Ворошилова. И он уже кое-что повидал. Конечно, и у меня было немножко такого... Ну, например, от поселка Тугур на побережье Охотского моря (там и

сейчас еще живут мои родители, а мне уехать пришлось — в школе не было седьмого класса) я добирался сюда, на прииски, к тетке, верхом на олене. Двести километров. По тайге. Со стариком эвенком. Ночевали у речек, пили чай, варили мясо. Видели медведя — в ручье сидел, рыбачил. Лося видели, лису. Сколько раз я вываливался из седла (раз даже чуть шею не свернул), пока научился держаться. А это совсем не просто: шкура у оленя не то что у коня, она так ходит на спине, что кажется, будто совсем не приросла к мясу, а лишь слегка накинута на спину. Старик эвенок давал мне покурить из своей трубки, хохотал, когда я падал, но под конец похвалил, сказал, что я как настоящий ясовей — олений проводник.

Не у каждого было такое путешествие (я хочу об этом поэму написать). Однако не станешь всем рассказывать: будет похоже на хвастовство. Да и не поверят вообще, особенно про ясовея. Другое дело — золото добывать, тут любому видно. А имеешь велосипед — можешь совсем помалкивать. Катайся и помалкивай.

Вздыхаю, молчу. Обещаю себе: в скором времени сделаю что-нибудь выдающееся (или самородок найду большущий, или золотую жилу открою), и меня все узнают. Клим станет меньше задаваться.

Неподалеку цвиркает на камне, суетится синичка-трясогузка, трясет длинным хвостиком. Наверное, у нее здесь гнездо. Зачем забралась на такую высоту? Ветер, камни... Вон и коршун летает над соседним горбом. Будто стережет верблюжьей. Может, недоуолен, что мы здесь, проникли в его владения. Надо бежать вниз — уже и солнце коснулось краешком дальнего, совсем почерневшего зубчатого леса. Тени длинные от сопки в распадки — там уж совсем темно. И ветер остренький засквозил, как иголками прошивает.

Но вставать не хочется. Опять та же дорога — осыпи, камни, багульник... Какое-то оцепенение, оледенение напало на нас. Сидим, стнем, молчим. Будто вот-вот подлетит к нам коршун, в минуту сделается огромным, величиной с самолет, поднимет нас лапами и плавно, как на парашюте, опустит к речке.

— Пойдем, — говорю я.

— Ага, — отвечает Клим, однако не поднимается, сонно смотрит на закат. А солнца уже нет, лишь красное сияние от него над угольными зубцами леса.

— Пойдем.

Он сидит еще несколько минут. Мне эти минуты кажутся очень долгими, будто я постарел от них лет на пять. Потому что вдруг почувствовал (морозцем по коже): будет нехорошо впереди. Надо идти сейчас же. Потом, может быть, и встать не захочется. Здесь такое место... А вот что это?.. Снизу то теплыми, то холодными толчками начал наплывать плотный, вязкий, сладкий, как помада, багульниковый запах. Я встал, тряхнул за плечо Клима.

Он вскочил, будто испугавшись со сна, повернул головой, сказал:

— Здесь пойдем, ладно? — и показал рукой в сторону от той дороги, по которой мы поднимались. Я посмотрел туда. Мне показалось, что и в самом деле склон здесь почти гладкий и более пологий. Значит, Клим не дремал — думал, выбирал обратный путь.

Сразу и вместе пошли вниз, потом побежали, но вскоре разбудили осыпь, она засвистела, зашипела по-змеиному, сорвались камни — пронеслись мимо нас в сумерки. Отдохнули, пока замирала осыпь, пошли дальше, теперь осторожно. Поняли — спускаться труднее: дрожали ноги, ломило в коленях, и рукам делать нечего — просто так болтаются. Шли

рядом — так веселсе — и сразу остановились, ощутив впереди черноту. Беззвучно упали в нее камни.

Двинулись влево, в обход. Валуны становились крупнее — мы прыгали с одного на другой, — потом они стали громоздкими — мы обходили их, — потом валуны сделались скалами — мы протискивались в расщелины. Отовсюду сыпалась, шипела щебенка. Кажется, нашли спуск, присев, съехали метров на пятьдесят вниз. И опять валуны. И совсем рядом правый горб верблюжьей. Куда мы идем? Может, повернуть назад? Но кто нам покажет дорогу?

— Где багульник?

Это сказал я, а может быть, Клим. Или мы вместе сказали — ведь идем мы, как и вышли, рядом, плечом к плечу. Так мы с ним еще не ходили.

— Даже не пахнет...

Главное — двигаться, не стоять: ведь уже темнеет. Глубоко внизу, в черноте, как на дне моря, мерцают огни Главстана. Неужели так до него далеко? И почему-то в стороне оказался поселок... Главное — двигаться, идти.

Вошли в сплошные камни. Темная тишина. Скажешь слово — ухает в провалах и пещерах. Шагнешь — грохот. Сырость, плесень... Откуда-то вода. На горе. Настоящая вода. Тиной поросла — болото. Клим бросил в него камень — бултых! — и круги ленивые, а в скалах: «Бултых!.. Бул!.. Бух!!..» Жутко. Кажется, кто-то все следит за нами из-за камней, из черных провалов. Вот сейчас швырнет булыжником... Или высунет волосатую лапу, к себе затащит... Обошли болото — снова камни, осыпь. Заторопились, побежали. Лишь бы вниз. И уже не остановиться.

А двугорбая будто ждала этого — ожила каждым своим камнем, щебенкой, каждой своей колючей песчинкой. Все сдвинулось, покатилося, заскользило, зашипело. Проснулись в провалах звуки: «Ох! Ах! Бабах! Ого-го!..» Захохотали совы, запищали мыши, налетел и заслонил черными крыльями небо коршун. Рухнули скалы и, рассыпаясь, устремились вниз. «Ого-го! Ха-ха!..» Двугорбая была уже не сопка — провал, чернота, гнилое подземелье. Отсюда никто не выберется...

Мы врезались сначала в запах, потом в кусты багульника. Пробрались дальше, вглубь. Зарылись с головой. И тут, обессилев, сели на землю. Хватали ртами помадный воздух — он казался нам наичистейшим, — а позади все еще грохотала сопка, ворчала, шипела. Дальние горы отзывались эхом: одни весело, будто хохоча, другие мрачно, будто ругая верблюжьей, что так просто отпустила нас. Камни и щебенка, катясь сверху, разбивались и затихали в багульнике, у его начала, кромки. Нам они были не страшны, и лишь плотнела, сгущалась в воздухе взбитая облаком багульникова пыльца.

Когда поутихла, как бы совсем потерялась в темноте сопка, встали потихоньку — чтобы не спугнуть ее снова, — пошли вниз по склону, отклоняясь вправо и вправо, на огни поселка.

Каким легким мне показался багульник! Пусть царапает, бьет по лицу, спутывает ноги! Пусть дурманит, пьянит — это же такой запах! — пить его с удовольствием хочется. И кто наболтал, что от него умереть можно? Будто бы багульник совсем бесполезное растение — одна красота, да и то издали.

Спустились к речке. Оказалось, почти к тому же месту, откуда начали свой поход. Упали животами на валуны, долго пили воду. Фыркали, захлебывались. Потом умылись. Потом еще немного попили. Сели передохнуть.

Дыра у меня на штанине расползлась, просвечивало голое колено — исцарапанное. Низ другой штанины тоже был порван. Как выглядел Клим, я не ви-

дел: темно. Но подумал о его новых ботинках, и аж сердце зануло: ведь новые, черные, слегка лакированные! Отец выпорет его, это точно, хоть и в восьмой класс перешел Клим и в прошлом году работал на бутаре. Отец у него сердитый. А тетка моя расстонется, изругает: «Шей, штопай. Вот навязался на мою голову!» Дядьку Василия, ее мужа, я совсем не боюсь: хороший человек — часто выпивший и добрый. Как-нибудь вывернусь. И все-таки неладно как-то. Стыдно все получилось. Зачем мы полезли на эту двугорбую?..

Клим Сорин засмеялся: «Хи-хи-хи!..» Но слишком тоненько у него получилось для своего голоса, непохоже на себя. Наверное, почувствовал это (так бывает: пока не услышишь свой голос, не знаешь, какой он), замолчал и хрипло, как обычно, кашлянул. Потом встал, подтянул брюки, выпятил слегка вперед грудь — это его всегдашняя привычка, — сказал:

— Ну как, струхнул?

— Ничуть, — ответил я, и голос у меня, оказалось, тоже не совсем свой.

— Ха-ха! — теперь грубее засмеялся Клим. — Вот смех, правда?

— Ага. — И у меня лучше получилось.

— Я за тебя боялся. Сам — ничего. Для смеху...

— И я...

Перебрали речку, пошли по дороге на увал, к огням своего Главстана. Теперь он был рядом — большой, с множеством людей, с теплыми домами, с моей теткой, которая поругает, но и даст поесть, с мальчишками и девчонками. Хоть он и в тайге, наш Главстан, — жить в нем можно. Еще как! Особенно если из тайги темной и жуткой возвращаешься.

Вышли на улицу. Тут нам расходиться: Климу налево, мне прямо. Но надо что-то сказать. Так нельзя. Так стыдно как-то — будто ничего с нами сегодня не случилось. Ведь завтра встретимся и потом встречаться будем. Нам еще и дружить надо.

Я не знал, что сказать, молчал, чуть отвернувшись. Я вообще редко удачно говорю. Ждал. И, кашлянув в кулак, Клим сказал:

— Знаешь, давай про это — никому...

— Ладно.

— А ты смелый, молодец... — Он слегка толкнул меня ладонью в плечо. — Возьму на бутару. Считаю, что записал.

2

У моего дядьки, теткинго мужа, хорошая фамилия — Васейкин. Он Василий да еще Васейкин. И от «весны» что-то в его фамилии есть, и от слова «сеять», и от веселки — деревянной лопаты. И все негромко, уменьшенно, ласково. А он, Васейкин, — просто пекарь. Главстану хлеб выпекает.

Как-то раз, в одно отличное, погожее утро (в такое утро только и думаешь, как бы скорей схватить кусок и сорваться на улицу), он сказал, присев на мою узенькую железную кровать и чуть не столкнув меня на пол:

— Посоветоваться хочу. Понимаешь, у меня подсобник в сопки убежал — где-то там жилу нашли. Поработай, а? Пока вернется.

— А когда он?..

— Скоро, должно. Он уже бегал. Комары накусают — прибежит.

Любому отказал бы — потому, что мы и сами, под командой Клима Сорина, собирались в бригаду для похода на Пашкину жилу, — но Васейкину не могу.

Во-первых, я живу у него, и он относится ко мне ничуть не хуже, чем к своим ребятишкам (правда, они у него еще малолетние), во-вторых, сам он мне как человек нравится. Я, может быть, даже мечтаю немножко быть таким, как Васейкин, когда вырасту. Таким спокойным, всегда усмехающимся, работающим, очень большим и удивительно ласковым: с ним, если было у него время, можно было и в шашки сыграть, и сказки друг другу порассказывать, и гольянов на озере поудить.

Не могу я отказать Васейкину. Тем более он и не приказывает. Молча поднимаюсь, делаю небольшую зарядку — так, прыгаю, машу руками, — и мы вместе завтракаем: по пол-литра молока, по куску белого, самого белого хлеба (его Васейкин выпекает для себя лично). Потом идем по утреннему поселку. Немножко зябко, немножко робко, немножко сонно от солнца, росы, ветра с сопки. Двигутся в разрез рабочие, где погромыхивает «бочка» — большущая машина, перебивающая породу; расходятся по конторам служащие. А мы идем печь хлеб — белый и черный — и также сдобные булки для всех людей Главстана.

В пекарне Васейкин, опять умывается, долго моет руки по локоть под ведерным медным умывальником, потом умываюсь я, и он, надев чистенький, хрустящий халат, подает мне такой же. Я думаю: вот за ним никто не следит, а он сам моет руки — ведь только что дома умывался. Халат мне велик, до самых пяток, но пахнет от него свежо — мылом и чистой водой, — и мне хорошо в нем. Васейкин вручает мне щетку на длинной ручке, ставит на длинный скобленный стол жестяную кастрюлю, не то с маслом, не то с растопленным жиром, говорит:

— Мажь формы. — Пододвигает стопку черных жестяных коробок, в которых выпекают буханки. Показывает: — Вот так, смотри сюда. — Берет форму, быстро проводит внутри смоченной в жире щеткой, откидывает форму на другой край стола. — Понятно, дружба?

Я хочу ответить ему: «Да, понятно, дружба», — но пока молчу — надо попробовать, а вдруг и не очень-то получится. И хорошее, васейкинское слово «дружба» пропадет за так просто. Начинаю работать. Сначала поддеваю слишком много жира, потом слишком мало — одна форма блестит, как мокрая, другая совсем сухая. Васейкин смотрит, терпит. Когда видит, что я наловчился — внутренности форм ровного тусклого блеска, — отходит к высоким корытам с тестом.

Тесто в корытах поднялось, вспухло, нависло над краями, как снег на крышах после метели, от него пахнет кисло, сыро и почему-то вкусно. Слева белое тесто, справа — сероватое, из него выйдет, наверное, черный хлеб. Васейкин присыпает вспухшие корыта мукой, пробует тесто ладонью, поглаживает и вдруг начинает изо всей силы тузить его кулаками. Ударит, провалит руку по самый локоть, вытащит и снова бьет. У него трясется белый поварской колпак на голове, халат на плечах того и гляди треснет, лицо багровеет. Тесто пытит, бухает, лезет вверх. Сопrotивляется. А Васейкин насаждает. И понемногу тесто, будто выпустив из себя весь кислый дух, опускается до кромок корыта, смирясь, затихает. Зато пекарню прямо-таки распирает от кислоты, я думаю, что и на улице, во всем поселке люди знают: Васейкин месит тесто.

Печь у него уже топится. Огромная, из темного кирпича, как рыцарский замок, с отверстием, похожим на арочные ворота, и заслонка — как кованые жалюзи. Трещит, ухает сухими березовыми поленьями, уложенными по четырем углам кострами. Это



похоже на пальбу, гром сражающихся дружин, даже слышно, как шипит горячая смолка, стекая по стенам замка.

В окно я вижу угол крепкого рубленого сарая (в нем хранится мука), склон багульниковой, чисто розовой сопки, тальник с новенькой листвой на речке. И солнце — везде солнце. Аж сердце ноет, когда подумаешь, что дружки где-нибудь в разрезе возле «бочки» сидят на отвале, швыряют гальку, смотрят, как подкатываются вагонетки с золотой рудой, или на марь пошли за прошлогодней клюквой... А вот старик Афанасий воду с Семитки привез, подогнал лошадь вплотную к стене пекарни, откинул мокрый мешок, прикрывавший торчком стоящую деревянную бочку, запустил в нее черпак на длинной ручке. По желобу вода потекла сквозь стену в пекарню, ударилась в пустую бочку неподалеку от моего стола, заплескалась, зашумела, от нее остро запахло тальником и Семиткой, и я раздул ноздри, как конь, учуявший запах свежего сена. Все внутри у меня тоненько и жалостливо запело.

«А еще пришел помогать, — сказал я себе. — Слабый человек. Нехорошо так».

Васейкин очень чуткий, он все без слов угадывает. Ему бы в разведке служить, шпионов допрашивать. Сел отдохнуть, закурил, потом говорит:

— Надоело, а, дружба?

Я улыбаюсь ему: мол, нет, ничего, терпеть можно. Он не верит, его не обманешь.

— А я тебе по наряду проведу. Заработаешь. Пока этот дурак Федька бегаёт. Копи на велосипед. Не хватит сколько — подмогу.

— На золоте больше можно...

— Золото, золото... — Мотает головой очень грустно Васейкин. — Помешались на золоте. А где оно? Когда-то, может, и было. Когда нас не было.

— Есть еще. Надо уметь найти.

— Я не против. Ищите. Вот Федька прибежит. Валяй ты.

— Пашкина жила — сила, рассказывают.

— Ну, посмотрим.

Я подумал, что подсобник Федька как раз на Пашкиной жиле сейчас. Сколько он уже бегал в тайгу на новые месторождения! Услышит — бежит. Хромой, одноглазый, простуженный до костей, и все не может успокоиться. Старательская кровь никак не утихнет в этом человеке. Когда-то он и сам открывал жилы, одна так и называлась — «Федькина жила». Удачлив, говорят, был Федька. Самые широкие бархатные штаны по праздникам надевал, кутил страшно, раз десять женился. Но было это давно — тогда Федька был молодым и сильным. Потом он замерзал в тайге — случайно спасли, в другой раз чуть не помер с голоду — съел свои кожаные сапоги, а года четыре назад его помял медведь — навсегда лишил одного глаза и сделал хромым. Федька устроился к Васейкину подсобником. Работал старательно, молчаливо. Вел себя очень послушно. Но как услышит о новой жиле, соберётся потихоньку — и айда. Один, ночью, по тайге.

— Ну Федька, понятно, — рассуждает Васейкин. — Мужик испорченный. Больной, можно сказать. А вы, пацанье? Грамотные все ж, по семь классов имеете. Туда же лезете. Удачу вам подавай. А какую удачу нашел Федька? Да тогда хоть золото-то было...

— Интересно ведь.

— Это правда. Я вот тоже, когда приехал, чуть в тайгу не ушел. И был одно время. И золотишко в руках подержал. И жадность видел. И понял: не надо это мне. Золота больше — жадность больше. Вот на «бочку» пошел бы работать, если б специаль-

ность была, скажем, механика. Просто так, чтобы не видеть в глаза красивый этот металл.

Я не очень понимаю Васейкина, почему надо бояться золота. На вид оно совсем и на золото не похоже. Когда я первый раз увидел, не поверил, — Клим Сорин показал в бумажке, свернутой аптекарским порошком. Желтенький, тусклый песочек — и все. Но сдай его в приемную кассу — боны получишь. А на боны в золотоскупке покупай что твоей душе угодно. Мотоцикл и то пожалуйста! И продукты там лучше, и мануфактура, и очередей почти никаких.

Васейкин, насвистывая «Трех танкистов» (а насвистывает он отлично, очень точно, аж холодок где-то под сердцем возникает), длинной кочергой, похожей на багор, разбивает березовые угли в печи-замке, и оттуда полыхает жар, как из пустыни Сахары. Я отодвигаюсь подальше: боюсь сгореть. Васейкин с красным, налитым угольным жаром лицом бодро шурует и насвистывает. Хорошо на него смотреть — сильный человек. Но почему он так золота боится? Я бы еще больше любил его, если бы он на бутаре работал, носил брезентовую куртку и сапоги резиновые до пояса или жилу богатую открыл. Назвали бы ее «Васильевская»: жилы почему-то всегда по именам старателей называют. И не надо бы мне подмазываться к Климу Сорину, чтобы взял в бригаду, — пошел бы в тайгу с Васейкиным.

Так я думаю, а формы смазываю. Уже двести штук переложил на другой конец стола. Столько же несмазанных. Двести для черного хлеба, двести — для белого. Сдобные булки пекутся просто на жестяных листах. Но это в следующий заход, к вечеру ими займемся.

— Ну, дружба, сажать начнем!

Васейкин берет десяток форм, ставит их в ряд на своем столе. Потом деревянной лопаткой, сунув ее в корыто, ловко отрывает ком теста, кладет его себе на ладонь и, отложив лопатку, быстро перебрасывает ком с руки на руку, как бы нянчит, слегка посыпая мукой. Бух! — и ком теста уже в форме — гладкий, округлый, похожий на буханку, только она еще сырая. Васейкин прилепывает верхушку ладонью (так шлепают маленьких ребятишек), юзом ссовывает форму на край стола. Опять движение лопаткой — и на ладони, как отвешенный, следующий ком теста.

— Так мы его! Лупи больше: мягче будет!

И мне делается веселей, работаю, аж рубашка к спине прилипает. В окно не смотрю — некогда пока. Наконец смазываю последнюю жестянку, оглядываюсь, а у Васейкина полон стол форм с тестом. Ничего себе потрудились! Он кивает мне: «Добро, дружба!» — и, на минуту выпрямившись, оттирает лотенцем лоб.

— Еще смазка, другая. — Сует гусиное перо, поддвигает ко мне кастрюлю с какой-то жидкой мучной болтушкой. — Глазурь хлебы. Чтобы красивые были. — Показывает: обмакнув гусиное перо, нежно проводит им по горбушке буханки.

Принимаюсь за «другую» смазку. И опять поначалу неловко получается. Вот и пустяк, а наловчиться надо. Васейкин поглядывает, терпеливо выжидает.

— Не бултыхай перо, — советует. — Вишь, тесто заливаешь. Это работа нежная, для девушек. — Смеется: — А то вот в платье наряжу!

Двести форм с черным тестом стоят в два этажа на длинном столе. Васейкин выскребывает корыто, особенно долго сбивает последний ком, делает его круглым, тугим. Достает из шкафа мешочек с изюмом, напичкивает им тесто, протыкая пальцем ком, снова закатывает.

— Это тебе колобок!



Он спрыгивает в яму перед заслонкой печи, кладет на пол широкую деревянную лопату, и я ставлю на нее сразу четыре формы. Откинув заслонку, он, чуть отпрянув от жара, сует в печь лопату, и где-то там, в ее утробе-Сахаре, рывком выдергивает из-под форм лопату. Еще четыре формы, еще и еще... Я смотрю в печь — в ней нет уже углей, она вся ровно, розовато светится. Дальние буханки нежно, коричнево-глянцевают. Вместе с жаром на нас пышут запахи спекающегося теста, подгоревшего масла (это я заляпал бока некоторым формам), и Васейкин спешит.

— Давай, давай! Дух выходит!

Я думаю, что «духу» в печке столько, что хватит нашего главстановского быка зажарить или пуд золота выплавить, но все-таки тороплюсь: Васейкину лучше знать, как надо. Кладу на лопату последние четыре формы и отбегаю к окну — у меня мокрая рубашка, глаза слепнут от пота, и даже по ногам под брюками стекают ручейки пота. Последним Васейкин сует в печь колобок, ставит его с краю, возле потухающего жара, сгребенного к заслонке, прямо на красный кирпичный под. Наглухо закрывает ворота-жалюзи пылающего замка, неторопливо выбирается из ямы.

Он не так чтобы очень вспотел — средне, не больше, чем после разделки теста. Вытерся полотенцем, сел, медлительно скрутил папиросу, глубоко и с надрывностью затянулся. Подержал в себе дым, выпустил длинными струями через нос. Вот так надо курить — завидую я. Не то что мы, пацанва. Если кто и украдет у отца махры, одной самокрутки на пятерых хватает — слезы из глаз у каждого. Может, Клим Сорин и умеет немножко, но он же со старателями работал, научился.

Васейкин лезет в шкаф, достает бутылку, заткнутую новенькой длинной пробкой (из таких поплавок отличные получают), наливает в граненый стакан чего-то светлого, как вода, кивает мне:

— Хлебни с устатку.

Догадываюсь — спирт. Да и пахнет здорово, как в «чайнушке», где на розлив продают. Отказываюсь. Я спирт совсем не могу, задыхаюсь. Раз попробовал — чуть не умер. Бражка — другое дело. Особенно если сладкая — можно полстакана с отдышкой вытянуть. А вообще я ни курить, ни пить еще не умею. Презираю иногда себя за это — стыдно, — ребята смеются, но не умею. Наверно, хилый я человек, мало трудностей преодолел.

— Как хочешь.

Выпив, Васейкин занюхивает коркой черного хлеба, потом ест луковицу с солью. У него мощно двигаются челюсти, скрипят на зубах лук и крупная соль, и мне тоже хочется, очень хочется быть таким, так вот выпить, есть луковицу с солью, хоть я и знаю, что тетка ругает Васейкина за выпивки, если бы сейчас вошла, прямо от двери все определила, заорала: «Опять носом в рюмку заглядывал? Чтобы в ней уже утонул!» Васейкин ее не боится, и в этом я хочу быть похожим на него; так, смолчит, ухмыльнется. Да и тетка кричит не очень строго, мне даже кажется, что кричит она больше для меня, чтобы плохой пример со старшего не брал: все-таки она «ответственная» перед моими родителями.

Васейкин дает мне ломоть хлеба, луковицу. Ем, подражая ему, будто тоже выпил, а лук обжигает все во рту не хуже спирта, слезы из глаз. Терплю, стараюсь. А Васейкин опять свертывает большую самокрутку, плюет на клочок газеты, склеивает. Молчит, о чем-то размышляет, морща лоб. Он всегда, думая, морщит лоб, вскидывает белесые брови, будто удивляется чему-то про себя.

— Как считаешь, — неспешно говорит потом, — война будет?

— Какая?

— Ну, настоящая. Не как на Хасане. Большая.

— Не знаю.

— И я не знаю. Вот думаю, думаю. Что-то пороховом сильно пахнет. Немцы всю Европу захватили. На Англию напали...

— У нас с ними союз, — вспоминаю я слова учителя на последнем уроке географии.

— Это правда. Да что-то душа болит. И япошки у нас под боком.

Я молчу, ничуть не беспокоюсь и не понимаю, почему так задумался Васейкин. Война же — это интересно. Пусть совсем большая, не как на Хасане. Танки пойдут, ястребки полетят, пушки забухают, конница, обнажив сабли, поскачет. И Ворошилов впереди на белом коне, со всеми орденами. Красиво. Жутко, конечно, немного, но все-таки красиво, аж сердце замирает. «И на вражьей земле мы врага разобьем...»

Вдруг я слышу тихий, четкий свист. Потом он усиливается, веселеет — это Васейкин насвистывает «Трех танкистов». Здорово у него получается! Я помогаю ему, сначала исподтишка, дальше смелее, и совсем становится хорошо: песня прямо как по радио звучит. Поглядываю в окно — вот бы кто-нибудь мимо шел, остановился, послушал. У нас хлеб в печке печется — двести буханок, а мы отдыхаем пока и песни боевые насвистываем. И не боимся никакой войны, хоть и не танкисты еще. Главное — быть на чеку. В полной готовности.

— Разобьем, дружба, правда?

— Еще бы!

— Вот и я говорю — вдрызг! Пусть только полезут.

Васейкин уже поднял голову, веселый и боевой. Колпак у него съехал набок, щеки зарумянились, глаза сделались прямо-таки большущими. Он похож сейчас на красноармейца, полкового повара. Да и молодой еще сам Васейкин — два года назад ему на действительную срок подошел. Пулеметчиком был бы. Не взяли по какой-то причине... Но прикажи — хоть сейчас переобмундируется и в бой, несмотря на то, что пекарем работает. Он бы и золото не хуже других добывал, но почему-то не хочет.

В окне кто-то заслонил свет, потом дзинькнуло стекло. Обернувшись, я увидел широкую физиономию Клим Сортина, а за нею, чуть сбоку, узенькое, бледное личико Генки Максимова по прозвищу «Врио», у которого отец — командир полка, но живет отдельно, в Хабаровске, а они с матерью здесь, у родственников. Клим и Врио мотали головами, вызывали меня на улицу. Васейкин тоже увидел их, усмехаясь, погрозил в окно кулаком, сказал мне:

— Иди уж, ладно.

Клим и Врио повели меня подальше от двери пекарни, к поленице дров, там мы присели на березовые чурки. Сначала я подумал, что они достали папиросу, какую-нибудь ценную — «Казбек» или «Северная Пальмира», — и хотят дать мне курнуть, но ничего такого у них не оказалось, просто Клим, нахмурившись, спросил:

— Ты что, совсем здесь работать будешь?

— А плохо, что ли? Возле хлеба с голоду еще никто не помер, — ответил я словами Васейкина, решив немного поломаться перед дружками: все-таки не каждому приходилось даже видеть, как хлеб выпекается.

— Бабская работа, — сказал Клим, длинно сплюнув, а Врио тоненько, сморщив личико, хихикнул:

— Юбку себе пошей.

— «Пошей»... — передразнил я его и подумал: «Откуда берутся у командиров полков такие хилые дети? Щелчком можно пришибить».

— Ну, ты, — толкнул меня в бок Клим. — Можешь кухарить, не жалко. Другого найдем. Вычеркиваю. — Он и в самом деле достал из одного кармана тетрадный листок, из другого карандаш, нацелился на мою фамилию. И хоть карандаш был не заточен, я испугался, схватил Клима за рукав.

— Постой. Шутки не понимаешь?

— Другой разговор. — Клим спокойно сложил квадратиком листок, спрятал карандаш. — Федька на Пашкину жилу убежал, знаю.

— Ну вот... помочь надо Васейкину.

Клим поднялся, метко сплюнул в торец березовой чурки, заложил руки в карманы — брюки у него с клиньями, матросский клеш, в вороте расстегнутой рубашки — синие полоски. Я знаю, что у Клима нет тельняшки, просто вшит в ворот кусочек полосатой материи, но все равно завидую: это так красиво, почти по-настоящему, будто Клим сто лет прослужил на военном корабле.

И Врио смотрит на него. Слабый человек Врио, даже против меня никуда не годится. И потому смотрит совсем как малолетка, рот открыл, сунул руки в свои брючонки, сплюнуть и то попробовал. Потом сказал, чтобы угодить Климу:

— Может, пусть кухарит?

— Цыц! — приказал Клим. — Без хлеба как жить, если Васейкин не справится? Тебя бы в самый раз туда.

— Да я нет. Я так просто...

— Федька прибежит — сразу бросай, понял?

— Ага. Он скоро...

— Ну, давай. — Клим пожал мне руку, толкнул Врио, и они вразвалочку пошли к главной улице Главстана.

Я вернулся в пекарню, где уже сильно пахло горячим печеным хлебом, а Васейкин, привалившись спиной к корыту с белым тестом (тесто опять вспухло, вываливалось через края), сладко дремал, посапывая волосатым, тяжелым носом. Очнулся, глянул на меня, слезно подмигивая.

— Дружки сманивают?

— Да. Клим Сорин, Врио...

— Что это — Врио?

— Генку Максимова так дразним.

— Врет, что ли?

Никому из взрослых я не стал бы рассказывать, почему мы прозвали так Генку. Одни скажут — глупости, другие хохотать начнут, будто они самые умные на свете, — стой перед ними и терпи. А Васейкину можно, он все спокойненько обдумает и поймет. И вопросов лишних задавать не будет.

— Понимаешь, есть такой город — Рио-де-Жанейро. В Бразилии. Ну, Генка где-то вычитал, что в переводе это обозначает город на какой-то там реке. А реки в самом деле никогда никакой не было, просто мореплаватели залив за реку приняли. Вот и получилось — город на реке, а реки нет. Рассказал нам про это Генка, а Клим захохотал, говорит: «Сам ты врио». Ну, нам это понравилось...

— Вон оно что, — сказал Васейкин, потеряв ладонью лоб, как бы лучше усваивая мои объяснения. — Интересно.

Он вынул большие, протертые до меди карманные часы на длинной, витой серебряной цепочке, поднес циферблат к самым глазам — часы у него отличные, марки «Павел Буре», достались от отца, который тоже пекарил когда-то, но в казачьем войске, в амурской станице, — посмотрел внимательно, побросал слегка часы на ладони, а они такие — так

и хочется подержать их в руке, взвесить на тяжесть, медленно отправил назад — в кармашек брюк.

— Покурю — и будем действовать. Как?

— Давай.

Он покурил, я помолчал, думая о Федьке: «Сколько дней он будет бегать по тайге, принесет или нет золотого песка, а если принесет, захочет ли работать подсобником?» Потом Васейкин прыгнул в яму перед воротами печи-замка, распахнул темный провал, и вместе с жаром на нас полыхнуло духовитым, поджаристым запахом хлеба. Васейкин слегка отпрянул, я отошел подальше от печи. Вообще я все еще побаивался этой раскаленной кирпичной громады, воспринимая ее почти как живое существо: захочет — и навредит мне.

— Стели вон тот брезент. Поживей, дружба!

Я снял с ларя сложенный стопкой, отбеленный многими стирками брезент, раскинул его на весь пол. Васейкин сунул в пекло лопату, чуть откачнулся назад, и по брезенту покатился колобок. Он был густо-коричневый, с черноватым низом — от пода, — в рябинках изюма.

— Бери! Твой!

Я схватил его, но тут же выронил: он обжег мне руки. Колобок, будто обрадовавшись, покатился вбок по брезенту, оставляя коричневую мучную дорожку, и спрятался под корытом. Васейкин захохотал: «Ату его!» — и вытолкнул колобок лопатой. Он резво покатился к другой стене и исчез под ларем. И там его достал Васейкин лопатой. Когда при нашем общем хохоте колобок замер на краю брезента, Васейкин крикнул мне: «Ну, держись!» — и начал доставать из печи формы.

Работал он в больших брезентовых рукавицах, каждую форму встряхивал, опрокидывал. Буханки, соря поджаристой крошкой, раскатывались по полу, а формы с грохотом отлетали в сторону. Я тоже натянул рукавицы. Поднимал крайние буханки, укладывал на стеллажи вдоль стен и после, обмакнув гусиное перо в чистую воду, смазывал им затвердевшие горбушки, чтобы красиво блестели, были мягкие, вкусные.

Через полчаса два стеллажа плотно наполнились черными буханками. В пекарне сделалось душно, почти как в самой печке. Васейкин, повесив на шею полотенце, поминутно опахивал им румяное, будто с легкого мороза лицо, а я ел колобок, выковыривая спекшиеся изюмины. Колобок был очень вкусный, особенно под холодную воду, — никогда мне не приходилось есть такого сладкого хлеба...

Бегал Федька целую неделю, вернулся еще более хромой, почти ослепший от гнуса, в изорванном ватнике. Бросил во дворе, под навесом сарая, лоток, вошел в пекарню, попросил у Васейкина «обогреться» — сто граммов спирта — и послушно принялся за работу.

3

Старый отвал зарос осинником, жимолостью, шиповником. Покрылся тоненьким дерном, и кое-где островками прижился багульник — очень капризный, но уже прижился — значит, отвалу много лет. Пятьдесят или семьдесят. Можно подумать, что это просто сопка. Можно, если ты человек приезжий и не знаешь, что сопки не бывают ровными, как стол, и бока у них округлые, а не граненые. Намыли этот отвал драгой, или «бочкой», в то старое время, когда золота здесь было «хоть лопатой гребли». И гребли. Потому и промывали по-

43

роду кое-как, лишь бы больше через машину пропустить. Вместе с водой и галькой отходило золото — и мелкое и даже самородки, — вагонетки отвозили его в отвалы. Вот и получилось: через многие годы в отвалах, заросших осинником, жимолостью, шиповником, будто вновь зародилось золото. И выгодно стало добывать его, потому что прииски по всей тайге выработались, а новые жилы только жить людям спокойно не давали: всякий раз оказывалось: кроме обыкновенного песка, в них еще попадалась обыкновенная галька. Прогорела и Пашкина жила.

— Дурак Пашка, правда? — сказал Врио.

— Почему еще?

— Нашел — мыл бы себе потихонечку.

— Понимаешь ты чего-нибудь! Он для того и шумел, чтобы другие набежали. Нанесли ему продуктов, наелся, отоспался. Теперь дальше пошел. Другие — домой, а он — дальше. Понял?

— Ага. — Врио кивает белобрысенькой головенкой, отводит глаза: ему стыдно, что он сам не догадался.

И мне кажется: так просто — Пашка наелся и в самую темень тайги пошел. Там-то он обязательно найдет: там еще никого не было, а если и были — живые не возвращались. Пашка вернется — это самый удачливый из всех других старателей — и мешочек с золотым песком принесет. Кутить будет, бабам подарки покупать, ребятишкам самые дорогие конфеты прямо из магазинного ящика раздавать.

Об этом же думает, наверное, и наш четвертый дружок, записанный Климом в бригаду, — Петька Самосуд. Смешная у него фамилия, поэтому он никаких прозвищ не получил, просто зовут его все Самосуд — и больше ничего не надо. Он парень крепкий, пожалуй, поздоровее Клима (раз боролись — Клим едва повалил его, и то незаконно: подножку сделал), и молчаливый очень, не то что Врио. Правда, Самосуд заикается, в детстве конь ударил его копытом, и, может быть, стесняется говорить. Но ему очень идет молчать, прямо как суровый мужичок-старатель делается. Зато уж если выговорит несколько слов, — обязательно о чем-нибудь дельном, толковом. Потому что сначала долго обдумывает. Вот и сейчас он молчит, а я уже чувствую: думает, да еще как, о Пашке, золоте и сказать что-то хочет.

— Че-че-пуха, — краснея до ушей, начинает Самосуд. — З-з-олота н-нигде нету. О-отец сказал. Н-надо от-твалы перемывать. П-паш-ка че-че-пуха.

Врио тоненько захихикал, заранее не соглашаясь: ведь Клим сказал совсем другое, и можно посмеяться над заикастым Самосудом. Я молчу, вдумываюсь в слова Самосуда. Вечно он что-нибудь «выплешет» своим костяным языком. А ведь правильно говорит, если подумать, — нет никакого золота в тайге. Все исхожено. О Пашке больше по привычке болтают: приятно надеяться, верить в старательскую удачу: «А вдруг! Вот бы зажили!» Смотрю на Клима — молчит, отвернувшись, шея слегка покраснела: сердится. Но молчит. Знает, что Самосуд прав. А ругаться — драка может возникнуть, и неизвестно еще, кто победит. Удастся ли ножку подставить? Лучше никогда не иметь такой победы, чем потом своего побежденного бояться.

— О-отец с-сказал, раз-разрешит нам н-ночью ра-бо-ботать.

— Нужны эти твои баксы, — буркнул, не повернувшись, Клим.

— Н-надежней.

— Фи! — хихикнул Врио.

— Нет, — сказал я, — надо обдумать. Может, правильно говорит Самосуд. Бутара — это же трудно.

Кайлить породу надо. С отвала песок сам сыплется, только подшевеливай.

— А сколь намоешь?

— Он трусит! — Это опять Врио. А у самого силе-нок, как у кутенка недельного, который еще и глаза не открыл.

— Зачем жадничать? — сказал я.

— П-правда, — согласился Самосуд.

Врио смотрел, выпучив глаза, на Клима, а тот скривил губы и длинно, сквозь зубы, сплюнул. Потом поднял крупную гальку, сильно швырнул ее с отвала, и она где-то внизу, в кустах тальника, цокнула о камни. Так он успокоил себя. Надвинув на глаза кепку, выговорил, заикнувшись, одно слово:

— Посмотрим.

Мы сидели на краю старого отвала — пришли посмотреть, как в распадке, где течет речка Семитка, бригада старателей строит желоба — баксы, по которым после потечет вода к этому самому отвалу. Командует старателями отец Самосуда, он там бригадир, и баксы, поднятые на высокие козла, длинно вытянулись вдоль русла Семитки и уже своей головой повернулись в сторону отвала. Вести их пришлось метров за восемьсот от плотины. Но ничего другого не придумаешь, ведь вода сама собой не пойдет в гору. Мы смотрим, скушаем, спорим. Делать пока нам нечего. Вот когда баксы подведут к отвалу и начнут перемывать отвал, — может быть, бригадир, отец Самосуда, разрешит нам работать в ночную смену: все равно ведь баксы простаивать будут.

Но окончательно мы еще не решили, куда нам пристроиться. Может, лучше на бутару, к отцу Клима? Там золото из забоя, не перемытое. Зато и работа тяжелая — кирки, тачки. Кто из нас выдержит? Клим да Самосуд. Ну я какое-то время продержусь. А Врио сразу скиснет. Конечно, можно выгнать его из бригады, покрепче человечка подыскать. Но жалко. Врио одинокий, если не считать матери, хоть и командир полка — его отец. Не живет с ними отец, еще раз женился в Хабаровске. Мать счетоводом работает, копейки получает. А Врио велосипед хочет и коньки «Нормус» на зиму. Хуже других, что ли! Вот и попробуй выгнать его — сам себя любить перестанешь. По-моему, правильно говорит Самосуд: нечего задаваться, надо идти и проситься к его отцу. Потому что Клим еще неизвестно как все устроит, его отец — просто обыкновенный старатель в бригаде.

Мы долго молчим, потому что говорить нам нельзя — поругаемся. Какие-то сегодня очень расстроенные все. Может, надоели друг другу. Но расходиться не хочется: в одиночку совсем со скуки помрешь. Так и сидим, и каждый делает вид, что ничего, можно еще сколько угодно молчать. Я выбираю самые маленькие камешки, швыряю под откос, Самосуд привалился к осине, закрыл глаза — дремлет или думает, Врио тоже швыряет камни — старается попасть в бутылку на откосе, а Клим насвистывает песенку «Не спи, вставай, кудрявая...». Хорошая песенка. И хоть Клим насвистывает в сто раз хуже Васейкина, мне аж до слез хорошо: так действует на меня эта песенка. Потихоньку, незаметно для себя я начинаю помогать Климу — будто и не слышу вовсе себя. Он сразу замолкает. И правильно делает: у меня совершенно нет слуха, и я всегда только мешаю ему. Мне обидно. Почему я могу сочинить стихотворение — никто из них даже двух строчек не зарифмует, а пустяковый мотивчик насвистать мне так же трудно, как в одиночку сдвинуть этот старый отвал? Я вспоминаю свой последний стишок о Васейкине и пекарне, и, пока Клим, поза-

быв обо мне, нащупывает новый мотивчик, я читаю про себя сочиненные строчки, проверяю их на слух, чтобы уменьшить свою обиду.

Васейкин веселкой
Работает весело.
Васейкин веселый —
Из липкого месива
Он булки красивые
Выпечет, хлебы...
Работу осилить
Такую и мне бы.

Неплохо, кажется, получилось. Конечно, слова «Работу осилить такую и мне бы» я придумал для стихотворения — чтобы мысль была. Мне больше нравится мыть золото. Интересней. Это почти как охота — не знаешь, что добудешь. Но в стихотворении можно, оно ведь должно само по себе быть красивым. Прочитать бы его сейчас ребятам! Я знаю: у меня не хватит смелости. Да они и презирают стихи: не для мужчины такое занятие. Посмеются. Может, только один Врио разбирается в поэзии — он «Мцыри» Лермонтова наизусть знает и сочинения всегда хорошо пишет, но он человек без личного мнения из-за своей физической хилости. Подождет, что скажет Клим, потом поддакнет ему. Его бы еще можно было бы прозвать «Поддакалка». Однако мне не хочется сердиться на Врио — все люди на земле имеют свои слабости, — а он еще и без отца. Если я сам себя хорошенько спрошу, то и вовсе не на кого мне сердиться: я тоже думаю, что стихи — ненастоящая, даже стыдноватая работа для мужчины.

— Ребя! — вскочил и вытянул шею к кустам Врио. — Девчата идут. Во-он там.

Все посмотрели туда, за кусты. Очнулся, моргая, Самосуд. По склону багульниковой сопки, на той стороне Семитки, шли главстановские девчонки. Их было пятеро. В белых платьях, белых косынках, среди полыхающего — розового и фиолетового — багульника они были похожи на стайку бабочек-капустниц, мигающих крыльями на ветру. Девчонки бежали к речке от огородов, где, наверное, сажали картошку, и на таком расстоянии почти нельзя было узнать их.

— Катька и Зинка вон, впереди, — почему-то прошептал Врио.

— Где? — привстал Клим. — Ври больше. Верка первая.

— Катька. У нее волосы длинные.

— Т-точно, Ка-катька, — выжал из себя Самосуд.

— Купаться будут, ребя!

— Ну и что?

— Подглядим, а?..

— Дурак ты, Врио. — Клим длинно сплюнул.

— Ты сам... — пискнул Врио и от обиды всхлипнул. — А сам, скажи, не подглядывал? Помнишь...

Клим неторопливо согнул средний палец на правой руке и вlepил Врио в затылок крепкий щелчок. Врио отпрыгнул метра на два в сторону, тоненько и жалобно прокричал: «Сам дурак, дурак!» — и убежал в кусты плакать. Несколько минут мы просидели тихо, обдумывая это происшествие, а девчонки спустились уже к Семитке, слышны стали их голоса, и теперь можно было узнать каждую, и действительно Катька бежала первая. Потом Самосуд с трудом выговорил:

— Т-ты за-зачем его?

Клим не ответил. Заправив поглубже в брюки рубашку и ту же подтянув ремень с большой медной пряжкой, он пошел в кусты. Я подумал: мириться с Врио, нельзя же этого малыша так обижать — и остался сидеть. Не шевельнулся и Самосуд. Но он

уже был злой, Самосуд. Его трудно разозлить, однако сейчас разогрелся, как медный самовар. Даже большущие уши ярко забурели, и хмурился он, как от боли в глазах.

Мы сидели вдвоем, и Самосуд понемногу остывал. Мы молчали, а от речки, сквозь ветреные кусты тальника, четко, даже резко слышались голоса: девчонки брызгались и визжали. Мы сидели, и мне становилось все скучнее и печальнее. Чего мы сидим? Можно ведь пойти искупаться, речка ничья, и всем места хватит. Конечно, там, где девчонки, самая большая глубина и обрыв каменный, с которого хорошо нырять. Пойти к ним, и все. А если они купаются совсем раздетые, без ничего, мы не виноваты: это не баня, надо знать, что речка принадлежит всем, каждый может внезапно появиться из-за кустов. Но я сижу, как-то неудобно первому подныться, подумает Самосуд что-нибудь совсем другое... И сидеть уже почти не могу — так и ноет душа от тоски. Смотрю на друга, вижу, ему тоже ужасно скучно, аж побледнели скулы, еще терплю несколько минут: пусть он первый. Про себя говорю ему: «Ну давай, не трусь, а то искупаются и уйдут... Кто сейчас долго купаться будет — вода-то еще холодная». Самосуд заворочался, сильно толкнул ногой камень, послушал его хлесткий шум по отвалу, сказал:

— П-пайдем, п-паищем их.

Быстренько встали, пошли искать их: Клим и Врио. Наискось по склону отвала, осыпая щебенку, цепляясь за жидкие стволы осинки, обходя заросли жимолости и шиповника. Нашли след в четыре ноги, свежий. Клим и Врио пробили. Пошли по нему к речке. Самосуд обогнал меня, выбежал на полянку и вдруг пригнулся. Я подкрался к нему. Впереди, возле галечникового гребня, утыканного редкими тальниковыми стебельками, лежали к нам спинами Клим и Врио — как разведчики в дозоре. А дальше, за ними, плескалась невидимая вода и хохотали девчонки.

— Вот га-гады! — сказал Самосуд.

Мы поползли к ним, и я чувствовал, как замерло и напряглось во мне дыхание, как забилося в пустоте, будто стделившись от меня, мое сердце, казалось, чуть подними голову, и тебя срежет меткая пуля из-за галечникового гребня. Клим оглянулся, испуганно и психованно махнул рукой, приказывая нам совсем слиться с землей. Наконец по-черепаши мы подползли к ним и уронили головы на руки — отдышаться. Потом медленно, будто в самом деле ожидая пули, я начал отрывать от земли глаза.

Совсем близко, за реденькими прутьями тальника, купались девчонки. Их было четыре, а пятая — Маруся Карина, татарка, одинокая молодая баба, работавшая кассиршей в золотоскупке. Девчонок я знал двоих — Катьку и Зинку, — они из нашего класса; другие две помладше, наверное, из шестого. Все они были в трусиках, правда, на Катьке (она старше других, почти девушка) не было майки. А Маруся Карина была совсем голая. Она больше всех хохотала, бегала за девчонками, втаскивала их в воду. И почему-то от нее я никак не мог оторвать глаз — как прилипли. Я знал, что у нее широкое, с крупным носом и маленькими глазами лицо, но сейчас я не видел ее лица, и она мне казалась очень красивой. Можно было не поверить, что это Маруся Карина, — такое у нее маленькое, крепкое тело и хоть короткие, толстоватые, но все равно очень сильные ноги. Я никого больше не видел — нет, иногда промелькивали длинные ноги Катьки, ее голубые трусики, а других и вовсе для меня не существовало.

Просто визжали, плескались и мешали смотреть на Маруську Карину. Мне казалось, что я уснул и вижу все это в бреду, и боялся проснуться — все сразу исчезнет; боялся того, что будет потом, когда очнусь: и жалко себя, и стыдно, и тоскливо до слез, потому что об этом никогда никому не расскажешь. Хотелось смотреть и смотреть, для себя, для тайны, для понимания очень и очень непонятного...

Девчонки побежали к кустам, выжимают трусики. Кто-то из нас противно, громко захихикал. Длинноногая Катька глянула в нашу сторону и вскрикнула, перегнувшись вперед и прикрыв ладонями грудь, локтями живот. А потом...

Потом я увидел лицо Марушки Кариной — широкое, смуглое, ноздристое. Выломав прут, она, как была голая, помчалась к нам, невозможно широко раскидывая ноги. Минуту мы были в оцепенении, после тоскливо и жалко взвизгнул Врио — будто подал команду, — и мы разом брызнули в лес к отвалу. Марушка отстала, что-то выкрикивая и хохоча. С верхушки отвала я мельком глянул вниз: она, маленькая, белея телом на зеленой траве, медленно шла к речке, волоча за собой прут.

Бежали, пока можно было дышать, а когда остановились, уже был виден на горе Главстан. Потом едва плелись и молчали: все равно после такой пробежки много не наговоришь.

А говорить придется, без этого смелости не хватит разойтись. Я подумал: «Не начну первый» — и позавидовал Самосуду: с него самый меньший спрос. И еще подумал о Климе и пожалел его: ему всех стыднее — он же дружит с Катькой.

— Все в-вы, ду-дураки, — неожиданно выжал из себя Самосуд. — М-мы искать в-вас пошли...

— А сам, сам! Хи!

— М-молчи... — Самосуд набычился, и Врио отскочил подальше в сторону, визжа:

— Сам! Сам!

Мне захотелось отколотить Врио. Чего он такой вредный, писклявый? И так всем противно, а он: «Сам! Сам!» Ну сказал бы: «Нехорошо получилось, ребята» или в конце концов: «Ладно уж, переживем как-нибудь», — а то вечно старается доказать, что он не хуже других. Наверное, все от слабости своей, хилости. Вон Клим идет и помалкивает, даже отстал метров на пятьдесят. Переживает человек. Они с Катькой серьезно дружат. А Врио все орет: «Сам! Сам!» — но и сам нигде не отстает. Противный пацан. Жаль, что без отца растет, одной матери трудно воспитывать его с таким занудным характером.

В поселке мы разошлись, откалываясь по одному и незаметно юркая в калитки и ворота. У дома Васейкина я подошел к колодцу, достал воды и напился. Влез на край сруба, свесил ноги — они аж горели от усталости. Входить в дом не хотелось, тетка сразу заставит обедать, а мне не до этого было. Надо немножко успокоиться, подумать. Возле сарая дрались петухи — белый и красный. Я загадал на белого, но дрались они долго, жутко окровавились, и мне пришлось разогнать их.

Потом отдаленно, тяжело загремело. Я посмотрел в небо. Над горами, высоко, в купол неба всходило, пучилось, дымно темнело облако. Сквозь него еще пробивался свет, падал пучками на багульниковые сопки, пламенно и больно зажигая их — оранжево, фиолетово, розово. От их кровавости невозможно было отвести глаза.

Страшнее, ближе прогремел гром, покачнулась земля. И я с холодком внутри себя вспомнил о войне. Где-то там, далеко, на неведомом мне заграничном Западе, умирали от пуль, бомб и снарядов люди.

Сегодня, как только проснулся, я сразу сказал себе: «Никуда не пойду», — потому что решил: буду рисовать. Что-то я во сне такое видел необыкновенное, не вспомнить, но застряло оно во мне, как ожидание чего-то очень хорошего, и я решил: буду рисовать.

Конечно, рисовать не стихи сочинять — ходи и рифмуй. Тут за стол надо сесть, краски приготовить и чтобы никто не мешал. Можно в лес пойти, но там еще труднее: пенек нужно гладкий найти и чтобы вид был рядом красивый; а найдешь — все равно не так-то просто: комары кусаются. Поэтому я больше дома рисую.

Васейкины ушли на работу, их маленькие ребяташки бегали во дворе, в доме было тихо, лишь со скрипом и шипением, неустанно стараясь, покачивали маятник старинные ходики. Еще грелась на подоконнике и полусонно мурлыкала рыжая кошка. Я сгреб со стола посуду, постелил газету, на нее — лист шершавой рисовальной бумаги, размочил акварельные краски. И сразу хотел нарисовать кошку. Но глянул в окно, увидел двугорбую багульниковую сопку, еще в тумане и потому очень далекую, начал под нее подбирать краски.

Сначала часто поглядывал в окно, выписывал контуры сопки, потом, когда и цвет угадал и стала она у меня на бумаге очень похожей на настоящую, я отвернулся от окна. Потому что понял: не это мне хотелось изобразить. Это каждый сумеет. Вот мне что надо... И я начал смешивать черную, синюю, зеленую краски; добавил ядовито-желтой, выписал скалы, дым, камни и пятнами — глухие провалы. Сопка получилась жуткой, как вулкан после извержения, лохматые горбы развалились в стороны; какие-то огромные птицы летали в дыму, и развевалась чья-то длинная седая борода. А внизу, у речки, чисто и огненно светился багульник.

Я отошел от стола, глянул. Страшно и здорово получилось — почти так же, как было тогда, на сопке. Но еще чего-то не хватало. Я понял. Подошел и внизу, на розовом багульнике, нарисовал две маленьких, темных, растопыренных фигурки — себя и Клима Сорина.

Теперь было все. Я вздохнул, как будто сдал тяжелый экзамен, спрятал краски, вылил из стакана грязную воду. Поставил картину к стене и, пока она сохла, смотрел на нее. Наверное, и во сне я видел все это, но позабыл. А ожидание чего-то очень хорошего было оттого, что я почувствовал: наконец-то нарисую тот свой страх и, может быть, навсегда избавлюсь от него.

Я сидел, успокаивался. Потом кто-то заслонил свет в окне, глянул: у завалинки стоял Самосуд в полном снаряжении — за спиной рюкзак и старательский лоток, в руке острая лопата с коротким черенком; даже две брезентовых рукавицы были всунуты за ремень. Я вспомнил, что вчера мы договаривались идти на дальний карьер мыть лотком золото. Самосуд знал одно тайное, почти нетронутое место — ему о нем сказал дед. Как же это выпало у меня из головы!

Свернул трубкою картину, сунул под свою кровать, начал быстро собираться. Конечно, у меня нет такого снаряжения, как у Самосуда, — они потомственные старатели, но все, что смогу, возьму: полбуханки хлеба, самого белого, васейкинского; картошки с килограмм — испечь в костре; рукавицы, чтобы мозоли не натереть; телогрейку тетку, чтобы ночью

не замерзнуть. Лотка у меня нет — Васейкин так и не завел, лопаты хватит одной. Соль, спички и всякая другая мелочь найдется в рюкзаке у Самосуда: он человек таежный.

Только бы на тетку не напороться — полчаса будешь объяснять, куда, зачем, когда вернешься, а потом еще разденет и дома на замок запрет. Женщины, одним словом, такой вредный они народ. С ней даже Васейкин не всегда сладить может. Поэтому, выйдя за двери, я махнул Самосуду, и мы дворами, между огородов, выбрались из поселка.

У дороги «Главстан — прииск Озерный» остановились. Надо подъехать на машине: свои ноги еще пригодятся. Выбрали место рядом с большой колдобиной — здесь обязательно шофер притормозит. Показался из-за кустов «газик», мы присели, а когда задние колеса выбрались из колдобины, разом повисли на кузове и перевалились через борт. В тряске, грохоте шофер и не заметил нас. Если и увидит, поленится останавливать машину: все равно прицепимся к другой. А вообще мы пассажиры самые тихие, о нас никаких забот — сами сели, сами и соскочим где-нибудь у колдобины или на крутом повороте. Правда, и взять с нас нечего — мы зайцы.

Автомобили здесь газогенераторные, с высокими колонками возле кабин — топят сухой березовой чуркой, — бензина, наверное, сюда не завозят, и в кузове всегда пахнет дымком и березовым жаром. Зимой можно погреть руки о колонку. Но есть и недостаток у газогенераторов: шофер часто вылезает из кабины, чтобы засыпать чурку и подкочегарить, а чурка едет в мешках в кузове, и такие встречи не всегда бывают нам приятными. Лучше заранее спрыгнуть и отбежать подальше.

На этот раз повезло: шофер не остановился и не повернул головы. В том месте, где речка Семитка круто поворачивает в горы, мы спрыгнули, отыскиали узенькую старую тропу и зашагали по ней: Самосуд впереди, я следом, чуть поотстав, чтобы ветки, которые он задевает, не били меня по лицу.

Хорошо идти с Самосудом! Серьезным и задумчивым становишься, и кажется, что ты уже совсем вырос и незачем тебе осенью связываться опять со школой: надо начинать жить. И не боязно, не скучно: раз вперед идет Самосуд — все будет как следует, хоть он и молчит. Да и кто в тайге много говорит? Клим Сорин, и тот затихает, а он и вполтину не такой старатель и таежник, как Самосуд. Просто верткости у Клим больше, и, наверное, похитрее он. Ну и покрасивей нас всех.

Однако тайга — она и есть тайга. Ей наплевать, что ты имеешь пятерку по алгебре и что тебя любит хорошенькая девочка Катя. Она ничего этого не понимает. Живет сама по себе. И не думай, что тайга всегда такая, как вот сейчас: отмытая, теплая, сияет березами, ласково бормочет речкой Семиткой и слушает, радуясь, птичьи голоса. Иди, радуйся тоже, но не забывай, что она заморила голодом, измучила гнусом, заморозила в снегах очень много людей. Их и не сосчитать.

Старые отвалы, карьеры. Здесь когда-то было большое золото. Да и сейчас есть еще — в этих отвалах, в карьерах, не выбранных до конца. Золото у нас под ногами: сними дерн, нагребь лопатой породы, промой в лотке — и обязательно немного найдешь. В том-то и беда главная, что немного.

Самосуд останавливается, я натыкаюсь на лоток у него на спине. Он поправляет рюкзак, передвигает ляжки — наверное, утомились плечи. Улыбается мне, и его широкое, конопатое лицо с очень маленькими и очень яркими голубыми глазами кажется мне малознакомым. Оно хитровато, задумчиво и слегка

таинственно. Можно подумать, что в Самосуда, пока мы шли, вселился маленький таежный леший.

Он показал рукой в сторону, на едва заметную в кустах жимолости и багульника тропку, сказал:

— Сюда. П-понял? — и зашагал первым.

Я подумал и понял, для чего он так сказал: чтобы запомнил, где поворот, мало ли что может случиться с нами в тайге (чтобы знал — показывает только мне! — ценил это), чтобы вообще готовился, замирал сердцем, предчувствовал, надеялся на удачу: без этого не бывает золота, равнодушным оно не дается.

Карьер оказался очень старым, заросшим всякой всячиной: ольхой, осинником, дубняком, — и только по осыпям, будто незажившим ранам, можно было догадаться, что здесь когда-то выбрали лопатами, вывезли к Семитке в тачках и промыли многие тонны породы. Тропинка растекалась на две, потом сразу на четыре и вовсе исчезла. Самосуд повертел головой, что-то решил про себя, двинулся влево. Пробрался сквозь чащобу, облепив себя паутиной, и неожиданно вышли к небольшому чистому озерку. Оно было глубокое, образовалось в котловане, но до того обособилось, сделалось настоящим, что и не подумаешь про котлован, если ничего не будешь знать об этом старом карьере.

На галечниковом берегу, мыском вдававшемся в озеро, Самосуд сбросил с себя рюкзак и лоток, снял пиджак и кепку. Провел ладонью по мокрым волосам, а волос у него почему-то мало, и лоб кажется большим и жутко умным, сел неторопливо на перевернутый лоток. Я проделал все то же, но сесть мне пришлось на мешок с припасами. Так мы сидели, отдыхая, и слушали тайгу, и было зябко, страшновато от ожидания — вдруг нам попадется огромный самородок — и оттого, что здесь когда-то рыли землю люди — неизвестно какие, откуда, как жили, куда уехали. Может, и погибали в этом карьере. Может, очень богатыми были.

— Здесь будем?.. — спросил я, потому что надоело молчать.

— Там будем рыть, — показал в сторону откоса Самосуд.

— Ты сюда приходил?

— Был р-раз.

— Удачно?

— Грамм н-намыл.

— Это хорошо, правда?

— Ничего. Бывает лучше, если самородок.

— А ты почти не заикаешься.

— Когда народу мало... Когда один, совсем не заикаюсь.

— Меня не считай. Я один. Не народ.

— Ладно.

Синеперая длиннохвостая трясогузка села на пруттик у воды, щебетнула раз-другой, скосила на нас черный глазок и улетела. Где-то очень далеко три раза прокуковала кукушка. Зашуршала сухая щебенка на осыпи. И все это казалось необыкновенным — это надо было понимать по-особенному, как какое-то предсказание, таинство. Его и понять, пожалуй, невозможно до конца, просто надо уметь сделаться частицей тайги, и тогда...

— Поедим или потом?

— Потом.

— А то работа...

— Ничего.

— Тогда давай.

Самосуд сунул мне лопату, сам взял лоток, и мы пошли в сторону осыпи, в заросли ольховника. По траве, плотному багульнику. В леске было сумеречно, сыро, пахло прелью прошлогодней листвы. Самосуд шел не раздумывая, будто по давно пробитой



тропе. Потом я увидел разрытый дерн и яму в полметра глубиной. Порода была илистая, голубоватая, с мелкой галькой — самая настоящая, золотоносная.

— Копай, — шепотом сказал Самосуд.

— Ага, — шепотом ответил я.

Воткнул в яму лопату, спрыгнул сам, нажал на лопату ногой. Под лезвием закрипела галька. Поддел, сколько смог, вывалил в лоток.

— От стенок начинай, чтобы шурф ровным был.

— Понятно.

Бросил еще несколько лопат. Порода тяжелая, вязкая, лопата облипает, то и дело надо обколачивать ее, а шуметь не хочется. Надеваю рукавицы, чтобы не натереть мозоли. Лоб и спина быстро мокрые.

— Хватит, — шипит мне почти в самое ухо Самосуд. — Понесли.

Вылезаю, кладу лопату на горку породы, берусь двумя руками за край лотка; Самосуд поворачивается к лотку спиной, приседает, тоже берет. Поднимаем, несем. Между частыми стволами ольховника, по густой траве, раздирая ногами плотный багульник. Тяжело, трещат плечи. Молчим, терпим. У озера, когда мне кажется: еще минута — и брошу лоток, — Самосуд все же заставляет пройти последние несколько шагов до галечникового мыса. Здесь он медленно, будто боясь разбить что-то драгоценное, приседает на корточки, и мы наконец освобождаемся от лотка. Я трясущими руками, разминаю

спину. Самосуд отдувается и потихоньку хохочет. Потом кивает мне с хитроватостью лешего:

— Н-начнем?

— Д-давай, — заикнувшись, говорю я.

Он втаскивает в воду лоток, зачерпывает через край и начинает лопатой разминать породу. Вода мутится, он зачерпывает свежей и ворочает, дробит, режет лопатой породу. Глина понемногу смывается, вода в лотке светлеет.

Когда она делается совсем чистой и на дне остается лишь галька и песок, Самосуд отбрасывает лопату, приседает на корточки. Теперь самая главная работа — промывка.

Это не каждый может, тут даже талант нужен. Тонкая работа. И чем дальше — тоньше и нежнее. Держа лоток, как сито, тряса его, окуная в воду, надо осторожно смыть сначала гальку, потом песок.

Лоток в руках Самосуда казался юрким, почти невесомым: он подрагивал, ходил челноком, нырял лодочкой, оборачивался вокруг себя, когда Самосуд хотел взять его с другой стороны. Галька мельчала, потом ее и вовсе не стало, начал сползать с шершавого днища лотка крупный песок. Наконец осталась на дне темная плотная полоска песка с крапинками слюды — шлих.

И вот самое нежное: смыть шлих так, чтобы ни одна золотинок не сползла с лотка. А шлих тоже тяжелый — это песчинки железняка, окиси меди, — и надо быть просто мастером.

Я приседаю рядом с Самосудом, напрягаюсь, слежу за каждым его движением, не свожу глаз с пляшущего на шершавом деревянном дне черного шлиха, который, утончаясь, растекаясь по всему днищу, почти невидимо ссеивается за край лотка. Проблеснула одна, вторая желтая лепешечка — золото!

Я прижимаюсь плечом к плечу Самосуда, шепчу:

— Тише, тише...

— Сам знаю, — как-то сонно хрипит он.

Меньше шлиха — больше золотинок. Вот одна подползла к самому краю, заплескала там — у меня остановилось дыхание и вспотела спина, — и, ловко окунув лоток, Самосуд отправил ее обратно, в желобок на днище. Шлиха почти нет, исчезают последние черные песчинки. Руки Самосуда, с закатанными по локоть рукавами, побурели от воды и напряжения, на них вздулись жилы: казалось, еще немножко — и кровь Самосуда вытечет прямо в лоток. И когда в желобке обозначилась желтая яркая полоска из множества лепешечек-золотинок, мне подумалось: может, они просыпались туда из ладоней Самосуда?

— В-все, — сказал он, выливая из лотка воду и ставя его на берег. Сел, вытянул на коленях руки, помолчал долго и легко, потом достал папиросу, размял ее в пальцах, закурил. И я увидел, что курит он по-настоящему, как и работает, и мне было хорошо от этого (а бывает стыдно, когда мальчишки сосут исподтишка, задыхаясь дымом), — он имел право, он уже человек.

— Теперь не трудно, — сказал ласково, успокаивая меня, Самосуд. — Теперь мы вот что сделаем. — Он достал из рюкзака железную банку из-под монпансье, плеснул в лоток воды и ловко смыл золотинок в банку. — И еще подсушим. — Нашел клочок сухой травы, поджег, подержал над огоньком банку. — В-все, смотри.

На дне у стенки желтела тусклая полоска меленького песка. Еще минуту назад его было больше, а еще больше было в лотке, под водой, — он все уменьшался, мельчал, сжимался. И это из тяжелой, вязкой горы породы.

— Как? — спросил я.

— Хорошо, — усмехнулся Самосуд. — Миллиграмм сто пятьдесят будет. Еще лотков шесть — и грамм, понял?

— Шесть?

— Д-да.

«Действительно, д-да, — подумал я. — Это же из кожи вылезешь: копать, таскать за двести метров. А промывать!» Но я ничего не сказал. Жаловаться надо маме в письме или тетке, а лучше сидеть дома, мазать красками. Здесь работа. Здесь Самосуд хозяин. Он выбрал меня. Любой бы рад с ним пойти. И смотрит на меня сейчас так, будто это я взял его с собой на такую интересную работу и он будет помнить меня весь свой остаток жизни.

— Ничего, — сказал я. — Пошли.

По траве, багульнику, сквозь ольховую рощу. Копали, несли, промывали. Снова шли за породой. Обед готовить не стали — съели по куску хлеба с салом и зеленым луком. И опять за работу. Усталость почти исчезла, только туман в голове — как второе дыхание. Еще, еще. Больше. Ведь золото! Целый грамм золота будет!

Мы промывали шестой лоток, когда за озерком послышался треск сучьев, и на поляну вышел человек. Пригнулись, замерли. Человек увидел нас, что-то выкрикнул, будто по-гусиному гоготнул и быстро, мелкими шагами, припадая на бок, пошел к нам, оглябывая озерцо.

— Бежим! — вскочил я.

— Не надо, — угрюмо буркнул Самосуд, следя за человеком, сказал через минуту: — Это Федька-старатель.

Теперь и я видел: это Федька. Я бы и раньше узнал его, но почему-то струсил, будто мы здесь воровали чужое, и глаза у меня сделались мутными. Федька был в полном снаряжении — с рюкзаком, лотком, лопатой и в резиновых сапогах. И был он очень злой — это я почувствовал, и мне опять стало нехорошо, — весь вихлялся, цеплял за кочки хромой ногой и пучил на нас свой единственный глаз, поворачивая голову боком, как это делают петухи.

— Мать вашу... В закон... бога! — крикнул Федька, подходя и задыхаясь. — Убью!



Он сбросил с себя снаряжение, подпрыгнул, направляя штаны, как облегченный поплавок, подбежал к воде и пинком опрокинул наш лоток.

— В закон, бога!.. Драпайте!

Федька рванул на груди рубаху, выпучил красный, сумасшедший глаз и пошел на нас с лопатой. Я схватил Самосуда за рукав, он отшвырнул мою руку.

— Не трись, пугает...

Федька шел, перекашивая губы, набычив свою маленькую, с кулачок, головку, и ветер шевелил у него на темечке реденькие седые волосики. Шел, будто прицеливаясь, примериваясь.

Самосуд слегка наклонился, как бы рассматривая у себя что-то под ногами, сцепил руки за спиной, но я видел: он следит за каждым его шагом, — и ноги у него напряжены, отпрыгнет метра на два в любое мгновение. То же сделал и я и заставил себя подвинуться вперед, чтобы стать к плечу Самосуда.

— А-а! — взвизгнул Федька, не выдержав своей медлительности; зашкандылял к нам, вскинул лопату, сморщил, перекошил лицо, мне даже почудилось, что у него открылся, проблеснул слепой глаз, — мы разом отпрыгнули к кустам ольховника. Федька подержал над головой лопату, глянул на нее косо и отшвырнул далеко в сторону.

Что-то бормоча, ругаясь и всхлипывая, он вернулся к своему снаряжению, сел на лоток. Упер локти в колени, уронил голову на руки и уменьшился, сжался, и стало видно, какой он сухонький, изболевшийся и старый. Веса в нем было меньше, чем у меня, а Самосуд — тяжеловес против него.

Потом Федька закурил, глядя тоскливо в воду озера, потом перестал бормотать и ругаться. Он как бы уснул с папиросой в губах, даже голову повалил набок.

Самосуд тронул меня, кивнул:

— П-пошли.

Подшли к перевернутому лотку, подняли его — хорошо, что порода выгалилась у самой воды и ее не размыло, — собрали ладонями все, до последней песчинки, сложили в лоток. Но работать не стали, — мало ли чего еще может вытворить Федька, — сели у своего снаряжения, и Самосуд в другой раз закурил.

Так и сидели, долго сидели. Скучно сделалось. Ладно хоть, птицы пели, ветер ходил по верхушкам лиственниц, и по озерку смешно, из конца в конец, бегали растопыренные водомеры. Можно было загадывать на кукушку, сколько проживешь, — куковала где-то за синей багульниковой сопкой. Неплохо бы и задремать — тепло, глаза слепнут от солнца, дурманят лесные запахи, и спина уже высохла, и усталость появилась: дрожит каждой жилкой, томит и ласкает непосильной вялостью.

Я задремал и не то во сне, не то наяву видел: поднялся Федька, подошел к нам, сел рядом с Самосудом. Они заговорили: «Бу-бу-бу... Кша-кша...» Прислушиваюсь, хочу очнуться. И не могу. Наконец пугаюсь: «А вдруг!..» — и заставляю себя оторвать от локтей голову. Сразу светлеет в голове, из ушей выпадает вата, я чисто слышу:

— Ну, понял, работаю. Васейкин и я. Хлеб сажаем. Сажаем, понял. И вспомнил — ночью увидел это место. Приснилось, понял. Хотел бросить. Едва дотерпел. Посадили хлеб — и сюда. Бежал, понял. А вы тут. Убить мог. Убить мог, а?..

— Мог, — соглашается Самосуд.

— Мог! — выкрикивает радостно Федька, как бы удивляясь себе.

— Только место не очень, чтобы...

— Чиво ты понимаешь! Здесь еще можно. Лотком. Вспомнил — в двадцатом году здесь уродовался. А как брали? Где погуще. Лотком можно. Покажи?

Самосуд достал из кармана жестянку, открыл. Федька пригнулся. Лицо у него узенькое, желтое, будто он только что сильно переболел.

— Сколько?

— Пять лотков.

— Лучше найду. Нащупаю, где пробросились.

— Еще бы!

— Ну!

— А мне дед сказал.

— Вместе вспомнили, понял. В одну ночь, может, а?

— Н-не знаю.

— В одну. Так бывает. Вот жилу когда ищешь — сразу всем видение. Кто первый дошел — взял.

— Не верю.

— Дурак, понял.

— А ты не обзывайся.

— Ладно. Договор — никому. Деду скажи: мол, чит пусть. Скажи, Федька требует. Он знает закон. Покопаемся здесь. Лотком можно. Бутарой нечего делать. Мало. Лотком можно. Нащупаю. Давай руку. Как старатели.

Жмут друг другу, кивают, стоя лицом к лицу.

— Во! А то набегут, понял, — никому. Дай закурить.

Самосуд дает, садятся, дымят.

— Я жилу найду, понял. Найду. Вот у меня на руке линия — указывает... — Протягивает сухонькую, морщинистую ладонь. — Одна в запасе, последняя. Понял? А тут так, для поддержки штанов. На выпивку, на баб. — Машет рукой в сторону осыпи.

— Куда тебе!

— Мне-то? Да я!.. — кричит, топорщится и вскакивает Федька, но тут же оседает, как лопнувший пузырь, протяжно и жалобно выдыхает из себя понапрасну набранный воздух. — Может, выпьем, а? — говорит он тихо Самосуду. — Имею немного.

— Еду надо приготовить.

Самосуд толкает меня, я вскакиваю, будто все это время дремал, начинаю вынимать из мешков наши припасы, а Самосуд, взяв топорик, идет за сушняком в соседний лесок. Приносит большую охапку лиственничных сучьев от старого поваленного дерева, вытесывает две рогульки, кладет перекладину, потом ловко и быстро разжигает костер. Я подвешиваю кастрюлю с водой и иду к озерку чистить картошку. Еда будет простая и вкусная — кондер. Но здесь его готовят на свой лад, по-старательски.

Когда закипела картошка, я бросил в кастрюлю большой кусок соленой рыбы — кеты, спустя несколько минут всыпал две горсти пшена. Вот и все дело. Теперь надо, чтобы все это хорошо проварилось, чтобы рыбы кости сделались мягкими и их можно было есть. Сало — в последнюю очередь.

Я следил за кастрюлей, помешивал варево ложкой, Самосуд домывал породу в лотке, а Федька-старатель уснул, устроив свою головенку на рюкзаке и бросив под себя телогрейку. Устал человек от крика и волнения. Маленький, больной человек. И как он таскает свой лоток с глиной? И зачем это ему — ведь умереть может от натуги. Угомонился бы: работа есть, теплая, хлебная, — еще бы, возле хлеба! Васейкин не обижает — Васейкин никого не обижает, жил бы понемножку. Да и на водку всегда есть — подсобнику прилично платят. Почему человек так терзает себя?

Спать мы легли поздно, когда совсем почернела тайга и из черноты неба морозистым снегом проступили звезды. Догорал, тоненько свистя головешками, костер. Федька и Самосуд храпели: они вдвоем распили поллитру. Я отказался: не умею пить и потому, наверное, никак не могу уснуть. То к шорохам прислушиваюсь, то вдруг вода всплеснет в озерке — а рыбы-то в нем нет...

Думаю о Федьке. Подвыпив, он долго и горячо рассказывал о своей прошлой жизни. Нет, не про то, как он бродяжничал по тайге, голодал, мерз, как с медведем пообнимался. Об этом ни слова. Все о красивых женщинах, которых одаривал горстями золотого песка, о пирушках в Главстановском трактире — теперь и неизвестно его местонахождение, где по бочке самогона покупал, штаны бархатные широченные шил, а когда открыл жилу, прозванную «федькиной», — полные сутки носили его на носилках, обшитых бархатом, по Главстану, угощали вином и кричали «Ура!». Федька гремел по всем приискам от Охотского моря до реки Амгуни, — только последний дурак мог не знать Федьку. В карманах у него столько перебыло золотого песка, что он мог бы всю Америку закупить в свое личное пользование.

А сейчас Федька-старатель спал, скрючившись калачиком и жалобно всхлипывая. Он так и не промыл ни одного лотка породы.

5

Тетка попросила меня перекопать две грядки, чтобы посеять на них редиску. Первую редиску мы уже съели, теперь надо еще раз посеять — «пусть будет хоть такая зелень до огурцов и помидоров».

Надо так надо. Вышел, взял лопату, копаю. Конечно, работенка нудная, неинтересная, да и не знаю я толком, как перекапывать эти грядки. Родители мои не занимались сельским хозяйством, у нас не было огорода, — вернее, они занимались, когда жили в Амурской станице и считались казаками, но с тех пор как отец поселился на Севере, ни одной грядки не завел, а мне вот приходится в земле копаться. Немножко обидно: солнце такое хорошее, по-настоящему горячее, сопки багульниковые акварельными красками пылают, на улице ребятишки орут. Однако и совесть надо иметь: редиску-то я тоже ел.

Втыкаю лопату, жму на нее подошвой ботинка, отковыриваю влажные пласты черной земли. Думаю: все разное на земле, и земля сама по себе разная; вот та, что в карьере, хоть и глинистая, тяжеленная, — золото дает; эта, у меня под ногами, — редиску дает. Есть и такая земля где-то на западе, в России, на которой хлеб растет. Хлеб еще ничего — без хлеба нельзя, а вот редиска — самый ничемушный продукт, для него и землю трогать жалко.

Думаю так и копаю: надо так надо! Потом вспоминаю Самосуда. Вчера мы в третий раз ходили мыть золото. Вдвоем, тайно. У нас уже три грамма, двести миллиграммов — три золотых бонны можно получить, а если перевести на обыкновенные деньги — тридцать рублей. По грамму в день намываем. Не так богато, но, если поработать все лето, на один велосипед сколотим. Тем более, что с бутарой у нас ничего не получается — отец Клима, наверное, не смог договориться с бригадиром, баксы еще не подвели к отвалу. Нехорошо только, что вдвоем работаем, надо бы Клима и Врио позвать —

друзья все-таки и еще зимой собирались все вместе золото мыть. Я так и сказал Самосуду. Он засмеялся, говорит: «Ты думаешь, Клима будет так уродоваться? Его мама не пустит — она в конторе сидит. А Врио раз потаскает, поплачет, после сбежит и всем разболтает». Может быть, это правда, я ведь этих ребят еще плохо знаю.

Я замечаю, что давно уже не копаю: поставил ногу на лопату, оперся о черенок и смотрю то на сопки, то на улицу, где почему-то уж очень суетится сегодня народ. Бабы бегают, галдят. Ребятишки играют в войну — прыгают через заборы, швыряются камнями, один заорал, будто его в самом деле подранили. Принимаюсь копать. Но тут вижу: по улице бегут Клима и Катька. Почему-то вместе. Конечно, они дружат, и давно, всем это известно, но чтобы рядышком бежали днем по улице — этого никто не видел. Да они, кажется, ко мне. Точно, свернули. И чего он Катьку сюда волочит — не видел я ее, что ли? Вылупится, уставится, а я тут таким «красивым» делом занимаюсь...

— Война! — крикнул Клима, подбегая.

— Какая? — спросил я, думая об игре мальчишек.

— Немцы напали!

— На кого? — Я все прислушивался к реву мальчишки.

— На нас!

— Он не знает! — удивилась Катька и засмеялась.

— На нас? Настоящие?

— Ну да. По радио передавали.

Лицо у Клима было румяное, горячее, он глянул на меня как-то заносчиво, чуть презрительно — «Вот что я первый узнал!» — схватил Катьку за руку, потащил ее дальше по улице.

Минуту я стоял, ничего толком не соображая, потом сказал себе:

— Война!

И сразу понял: действительно, война. Настоящая. Немцы напали. Чего же я стою с лопатой, зачем она мне теперь? Зачем все другое на свете, если война? Это — самое главное! Я швыряю лопату в сени, перепрыгиваю через изгородь и бегу вслед за Климом и Катькой. Догоняю, пристраиваюсь сбоку, и мы молча бежим втроем. Куда, зачем, я не спрашиваю — значит, надо, если бежим. Может быть, задание такое получил Клима — всех известить о войне.

Остановливаемся у дома завмага, во дворе старуха, Клима кричит:

— Война!

— Знаем, чего орешь.

Бежим дальше. Дом рабочего с Бочки Мельникова. Во дворе — никого. Кричим все вместе в открытую дверь сеней:

— Немцы напали!

Дом школьной сторожихи. Никого. У забора — маленькая девочка. Крикнули ей. Заплакала.

У главного инженера нас облаяла большущая овчарка. И ей сказали:

— Война!

Только древняя глухая старуха Колыхалова, живущая в последнем доме, задержала нас, нудно расспрашивая и подставляя волосатое ухо. Ей объясняла Катька, визгливо выкрикивая слова и почему-то хохоча. Наконец старуха уразумела, перекрестилась и поднесла кончики платка к своим красненьким глазкам.

— Не плачь, бабка. Мы им!.. — сказал Клима.

— Мы им!.. — повторил я.

И мы побежали в обратную сторону, оповещая другой ряд домов. Смешная, думал я о бабке, че-

го плакать? Это же здорово — война. По радио будут рассказывать, в кино покажут, в журналах фотографии красноармейцев, танков и самолетов напечатать. Мы-то вот не боимся, даже интереснее стало.

Пробежали мимо бани, конторы, школы. Из какого-то переулочка выскочил Врио, пристал к нам. На конюшне рассказали конюху, он уже знал, но слушал и грозил немцам кулаком.

Побывали в кузнице, на электростанции, даже в баню на обратном пути заглянули, но там сегодня был нерабочий день.

Хотели бежать в разрез, где работали старатели на бутарах, но возле клуба нас окликнул Лев Иванович, учитель математики:

— Пойдите, ребята.

Подождал, оглядел нас, узнавая каждого по очереди, сказал:

— Зачем бегаєте, кричите?

— Война же! — выпалил Клим, часто дыша. Щеки у него прямо-таки пылали.

— Ну и что? — Лев Иванович поправил очки и вскинул голову (это особенно сильно действовало на меня в классе). — Ну и что, говорю. Чему радоваться? Люди и так знают. А кто не знает, все равно знать будет. Нехорошо шуметь. Идите по домам.

И сам, тихонечко пришаркивая, пошел к своему дому.

Вот тебе и на! Так было здорово, мы аж запарились от беготни.

Казалось, дальше будет все интереснее и необыкновеннее, а потом случится и совсем что-нибудь невероятное: появятся танки на нашей улице, строем пройдут красноармейцы в буденовках, напевая «Если завтра война...».

Или немецкие самолеты вдруг пролетят над сопками, сбросят бомбы — а это посильнее грома и взрывов, когда в карьерах породу рвут. И вот тебе на — оказывается, нехорошо бегать и кричать... Может, и в самом деле нехорошо, а?

Мы медленно брели, глядя себе под ноги, и молчали. Улица была пустой и тихой, — люди работали, как и в прежние дни, будто ничего не случилось, — лишь кое-где у калиток стояли бабы, негромко переговариваясь, да визгливо и скандально играли в войну малыши.

Становилось все тяжелее молчать, и Врио, как обычно, первый не выдержал.

— Чего бояться?!

— Геррой! — сказал Клим и длинно сплюнул.

А я сказал, чтобы не возникла ссора:

— Война, ребята.

Подождали к Каткиному дому, остановились. Я подумал, что нехорошо будет, если Катка сейчас уйдет: надо вместе ходить, прожить этот день по-особенному, чтобы привыкнуть к войне. Может, зайти к кому-нибудь, послушать пластинки с военными песнями, радио, поговорить. Но Катка, не поднимая головы, тихо проговорила:

— Я домой, мальчики.

Задержались у приисковой конторы. На подоконник открытого окна был выставлен репродуктор.

Диктор нараспев, как бы удлиняя каждое слово, говорил:

— Двадцать второго июня, на рассвете, без объявления войны немецкие самолеты бомбили Киев, Одессу, Львов... Немецкие войска во многих местах перешли нашу границу. Красная Армия ведет тяжелые бои, отстаивая каждую пядь родной земли. Товарищи!..

Дальше диктор говорил о том, чтобы все оставались на своих местах, еще лучше работали, сплотились вокруг Коммунистической партии и вместе с родной Красной Армией дали сокрушительный отпор немецко-фашистским захватчикам.

Потом заиграла музыка — боевой военный марш.

Теперь было все ясно. Зачем было бегать и орать? Там люди умирают, тяжелые бои, а мы... От голоса диктора и музыки мне сделалось зябко, похолодели пальцы на руках, стало почему-то жалко себя: ведь я не дома, и совсем еще пацан... «Что будет с нами со всеми?» — каким-то предчувствием подумалось мне.

— Пойдем, — сказал Клим.

Врио уже не было, он так же незаметно исчез, как и появился. И нам вместе идти некуда. Не до нас, наверное, всем. Еще не привыкли, не освоились. Теперь ведь наверняка настанет какая-то другая жизнь.

Клим молча пожал мне руку, а мы никогда не прощались за руку, пошел к себе во двор. Я постоял немного среди улицы и обрадовался, вспомнив о Васейкине.

— Пойду к нему!

В пекарне было душновато и тихо. Полки, занавески, корыта, хлебный жар из прикрытой заслонкой печи, надломленная, очень белая «васейкинская» булка — все как всегда, как будто в мире ничего не случилось, и нечего бегать, суетиться, радоваться или пугаться.

Хлебы сидели в печи, пеклись, Васейкин, выпив положенные «сто граммов», читал газету, а Федька спал в закутке между стеной и печкой. «Вот куда надо было сразу прийти!»

— А, дружба! — увидел меня Васейкин. — Садись, поговорим.

— Чего говорить — война...

— Ну и что — война? — Васейкин положил мне на плечо руку — горячую, влажную и тяжелую.

— Война, — повторил я, чувствуя, что могу заплакать.

— И должна была быть. — Васейкин встал, вложил руки в карманы брюк под фартук, крупно прошелся к окну и назад. — Все к этому шло, говорю. Так что нормально.

Он опять сел, отбросил газету, буркнул: «По радио — война, а в газете ничего такого нету!» — и довольно крепко толкнул меня в плечо.

— Ты казак?

— Не знаю.

— Как же не знаешь? Твой дед был казак, отец тоже, значит — и ты казак.

— Ну и что?

— Как это что? — Васейкин рассмеялся. — Ну, дружба, даешь жизни! Казак ведь войны не боится. Казак сколько живет — столько воюет.

Васейкин лезет в шкаф, достает бутылку, заткнутую новенькой пробкой (я все собирался украсть ее на поплавок), отливает немного в стакан, пьет, ничуть не морщась.

— Видишь, разволновался даже. А ты понять не можешь. Слушай. Где мы жили? На Амуре, на китайской границе. Кто мы такие? Потомственные казаки. Мы землю пахали и границу обороняли. Твой отец, я, наши отцы и деды. У нас кони боевые были, сабли, оружие. Как тревога — на коней, защищать станицы, землю нашу. Нас не сдвинули ни китайцы, ни японцы. Амур, Уссури удержали. Понял, дружба?

Я кивнул, вспоминая, что мне обо всем этом когда-то рассказывал отец.

Вынув свои замечательные часы, Васейкин долго смотрел на них, будто плохо соображая, потом сказал:

— Скоро вынимать.

Мы помолчали, слушая глуховатую, утробную работу печи,— в ней поыхивало, потрескивало, посапывало и гуще дуло на нас хлебным зноем. За окном было солнечно, многоцветно. Казалось, весь свет, который был там, исходил от ярких багульниковых сопок. Хотелось надолго и сладко уснуть.

— Вот я и думаю, дружба,— говорил негромко Васейкин.— Чего нам бояться войны? Мы от рождения военные. Получу повестку, попрошусь прямо на фронт.

Потом было долго тихо. Потом Васейкин разбудил Федьку, и они начали вынимать хлебы. Сделалось жарче, духовитее. Я поднялся, покачиваясь, пошел в закуток между стеной и печью, лег на Федькину телогрейку. И, задремывая, слышал постукивание жести, удары в пол, скрежет в печи, одышливое дыхание людей. И чувствовал зной и духоту. И какое-то жуткое напряжение в себе, в пекарне и во всем свете. Все это, смешавшись, выразилось одним словом, которое не засыпало во мне: «Война, война...»

6

Нас собрали в школу. Всех, от первачков до десятиклассников. Было большое собрание. Долго выступал директор, выступали учительницы, брал слово Лев Иванович — он не кричал, говорил четко, как на уроке математики, и часто поправлял очки,— и к концу собрания мы поняли: идет большая и страшная война. Где-то на западе, в той главной России, откуда мы все когда-то вышли, немцы захватывают города, жгут и разоряют деревни, рвутся к Москве. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами, чтобы спасти Родину. Выступал по радио Сталин. Красная Армия, сражаясь насмерть, переходит на новые оборонительные рубежи. В стране введена карточная система на продукты и промтовары — главное теперь экономия. Везде, во всем. Все ресурсы, все силы на разгром фашистов.

— Ребята! — сказал, закрывая собрание директор.— Мы тоже не последняя сила в борьбе с фашистами. Мы создадим боевые дружины, отряды противовоздушной обороны, построим возле нашей школы бомбоубежище. Возглавят дружины и отряды значкисты ГТО и БГТО.— Директор захлопал ладонями, мы дружно помогли ему.

Во дворе мальчишкам раздали лопаты, кирки, ломы. Отвели место — за деревьями, у забора. Мы начали копать траншею.

Девчонки остались в школе, в своих классах — им нашлась другая работа: резать на узенькие полоски листы белой бумаги и крест-накрест клеить стекла на окна. Чтобы при бомбежке они не рассыпались мелкими осколками. Мы копали, выкидывая из траншеи комья тяжелой, сырой глины, а окна нашей двухэтажной школы покрывались снизу доверху перекрещенными полосами, и это особенно тревожило и напоминало о войне.

Каждому надо было выкопать по метру в длину и по два в глубину. Мы взяли четыре метра подряд — Клим, Самосуд, Врио и я,— чтобы работать всем вместе, своей бригадой. И хорошо у нас получалось. Отставал, правда, Врио, но над ним подсмеивался только Клим, отпущал ему щелчки в мокрый затылок,— мы по очереди помогали Врио, и

наша траншея ровно шла в глубину. В одну из передышек Самосуд поднял руку, чтобы замолчали, подвигал губами и сказал:

— Р-ребя, н-надо всем идти с-сегодня к м-моему отцу. Они работают уже. Н-надо всем. М-меня не слушает он.

— Чего ж ты молчал? — красиво нахмурился Клим.

— Г-говорю вот.

— Г-говорю, говорю!..

— А ты чего? — подступил я к Климу.— Тоже обещал.

— Отца перевели, знаешь ведь.

Это правда — отца Клима перевели на бочку [он партийный] и назначили старшим смены. Бутара для нас отпадает, да и все равно едва ли мы попали бы на нее: тачки катать тяжело, кайлить в забое каменную породу еще тяжелее. Нас быстренько прогнали бы старатели. Там порядок строгий нужен, а мы и забой завалить могли и бутару попортить. Просто Клим немножко хвастался, обещая договориться с отцом.

— С-сегодня пойдем. А-а то пер-перехватят другие.

Надо идти сегодня, обязательно. А то действительно перехватят. Все десятиклассники пойдут работать, им уже запретили просто так сидеть дома. Если не поступаешь в техникум или в институт, иди работай. А какие у нас здесь институты? До Хабаровска тыщи две километров. И война еще. Все работать пойдут пока, дальше видно будет. Поэтому надо торопиться, правильно Самосуд говорит.

— Давайте это кончать,— сказал я, берясь за лопату.

— Давайте,— поднялся Клим и толкнул Врио, тот выронил кирку.— Держись, малышка!

— Пшел ты! — тоненько крикнул, замахнулся киркой и страшно нахмурился Врио.

Все засмеялись. Врио подулся немного и тоже оттаял: мы же не девчонки, у нас дружбы другой не бывает.

Солнце перевалило середину неба, начало скатываться к вершинам сопок, когда мы вылезли из траншеи. Попили воды, которую принесла в ведерке сторожиха, остыли от работы, дневной жары. Вспомнили, что очень хочется есть, погрузили: хлеб-то теперь по карточкам! Позавидовали мне: всегда могу зайти к Васейкину, отломит кусок.

Директор самолично явился принимать работу. Траншея была длинная, широкая и глубокая. Накрыть кругляком-накатником, завалить землей — и бомбоубежище на всю школу.

Директор подождал, пока отставшие ребята подчищали в своих местах дно траншеи, потом спрыгнул в нее, пошел из конца в конец. Толстый, маленького роста, он казался теперь нам сверху пухлым колобком, катавшимся по рыжей глине. Кто-то щелчком метнул ему в спину кусочек глины — на рубашке осталось желтое пятнышко, как пулевой прострел. Ребята захихикали. Он вылез в конце траншеи, подошел ко всем нам, сказал:

— Молодцы, по-военному!

— А зачем вообще это? — Длинный рыжеватый парень, десятиклассник, показал пальцем на траншею.

Директор удивился, присматриваясь к парню, развел руки.

— Я же объяснял: бомбоубежище.

— А кто до нас долетит?

— Как это кто?

— Ну кто, правда? — Это спросил другой парень, чернявый, в куртке с замком-молнией. Наверное, они друзья с рыжим.

Директор достал платок, медленно вытер потную лысину, высморкался, так же неторопливо отправил платок в карман. Все это время было тихо, неприятно тихо, потому что директора в школе все побаивались: он участвовал в гражданской войне, имел орден, долго работал в районе каким-то начальником, носил галифе, сапоги и гимнастерку под ремень. Разговаривал всегда громко и грубовато.

— Приказ есть. Ясно? — наконец четко выкрикнул он. — Никаких разговорчиков! Завтра явиться для окончания работ.

Он повернулся и, часто перебирая толстыми ногами, колом укатился в двери школы.

Рыжий и чернявый тихонько засмеялись, заговорили о чем-то, их окружили десятиклассники и другие, кто постарше, а мы пошли по домам.

Сначала я не очень понял, почему так рассердился директор, потом стал рассчитывать: долетят или нет к нам фашистские самолеты. Или японские, если самураи нападут на нас. Шел и все думал. То казалось долетят, то нет. Главное, зачем к нам лететь, чего здесь бомбить? Но опять же, кто их знает — врагов? Возьмут и прилетят и бомбы сбросят. А нам спрятаться некуда будет. Война — все может быть. Надо подготовиться. Директор, наверное, больше многих других понимает. Так я и не решил окончательно, пока шел домой, смогут или нет прилететь к нам вражеские самолеты.

За плотной стеной зеленого тальника слышался шум воды в баксах, стук гальки, сыпавшейся в желоба, грохот бутары. Изредка можно было уловить негромкие голоса старателей. Баксы работали на полный ход.

Мы остановились, сели где кто мог, — на пеньки, на камни: надо подождать перерыва, сейчас с нами там никто говорить не будет, даже и не заметят нас.

— П-подождем, — сказал Самосуд.

— Подборка скоро: слабо порода сыплется, — прислушавшись, проговорил Клим.

— Хорошо бы нам здесь... — вздохнул я.

— Еще бы! — с хрипотцой подтвердил Врио.

— Па-апробуем, — сказал Самосуд.

— А у тебя батя как? — спросил Клим.

— Н-нормальный.

— Пробьемся.

— Только всем вместе надо. И чтобы пацанами не показаться, — сказал я.

— Еще бы! — согласился Врио.

Мы сидели минут двадцать, а может, все полчаса. И дальше бы сидели — все равно надо ждать перерыва, хоть и скучно, и говорить не о чем, и волнение какое-то, аж сердце замирает: будто сейчас тебя за что-то ругать и стыдить будут. Но вот оборвался стук гальки и грохот бутары, остался лишь чистый шум воды в желобах, и Самосуд, вскочив, махнул рукой.

— П-пойдем!

Пробрались сквозь тальник, вышли к срезанному, похожему на свежую осыпь отвалу. Увидели: вся бригада столпилась возле бутары. Прошли вдоль желобов с быстрой журчащей водой, приблизились к бутаре. Самосуд шел впереди, его первого увидели старатели.

— На подмогу? — веселясь, спросил один.

— Да их смотри сколько!

— Сила!

— Один другого здоровее!

— Откуда вы такие, братцы?

Я узнал бригадира, отца Самосуда. Он сидел на стенке бутары, курил, поглядывая на нас. Так близко я видел его впервые и удивился, как сильно они

похожи, отец и сын. У старшего Самосуда было такое же широкое, конопатое лицо, маленькие, яркие голубые глаза и на голове почти не росли волосы. Ростом он был лишь немного выше сына.

— Они серьезные, — сказал Самосуд-старший, — видать, по делу пришли. Говорите.

— П-по тому д-делу, — вполне четко выговорил Самосуд-младший.

— Очень п-просим вас, — сказал, заикнувшись, Клим.

— Чем бегать — работать будем! — выпалил я.

— Работать! — почти крикнул Врио.

Самосуд-старший помолчал, обвел взглядом старателей, хмыкнул, покрутил большущей головой. Сказал потом, откинув щелчком окуроч:

— Проведем собрание. Как думают товарищи?

— Да можно бы. Ночь-то пустая. И вроде караулить будут.

— А разрешат им?

— Разрешат: война, — сказал грубовато Клим.

— Оно правда.

— А не нагадят они нам здесь?

— Прогоним, если что, — буркнул бригадир.

— Тогда пусть, пожалуй.

— Ребята большие. Соображают, поди.

— Ставлю на голосование, — сказал, поднимаясь, Самосуд-старший. — Кто за, прошу поднять руки. Так. Раз, два, три, четыре... Кто против? Нету. Кто воздержался? Один.

Воздержавшимся оказался старик Нефедов — седенький, жилистый мужичонка, кашляющий, часто сморкающийся, — он и летом всегда простужался, из местных жителей, потомственный старатель. Очень ехидный, всегда брюзжащий на свою трудную жизнь.

— Почему, Тимофей? — спросил Самосуд-старший.

— Погодю. Как покажут себя. Больно прыткие чтой-то.

— Ладно. По большинству голосов принимаем.

На минуту сделалось тихо, стало слышно тугое журчание воды в баксах, плеск Семитки глубоко внизу, сквозной зеленый шум тальника. Мы расселись кто где, теперь почти как равные (вот бы нам еще и закурить!), и старатели, переждав хорошую минуту молчания, заговорили:

— Вот и рабочий класс!

— Держись, ребятки!

— Теперь фашистам каюк!

— Сила!

Самосуд-старший поднял руку, как бы попросив слова. Когда все повернули к нему головы, сказал:

— Лекция маленькая. Для них. Вот, братцы, если б не война, шуганул бы я вас отсюда — воробьями серыми разлетелись бы. Во-первых, рановато к золотишку тянуться. Во-вторых, зачем с таких лет горбы наживать? В-третьих... В-третьих, вот война... Еще, может, не то вам придется.

Я ловил каждое слово бригадира, запоминал, не сводил глаз с его лица, которое было спокойным, почти не менялось от того, что говорил или делал бригадир (и в этом оба Самосуда были очень похожи), мне казалось, да, пожалуй, так оно и было, — это первый взрослый чужой человек так серьезно говорил со мной.

— Значит, дальше. Мы работаем в две смены. С восьми до двенадцати ночи. Ваша ночь. Сколько хотите трудитесь. Но не больше шести часов. Понятно? Я отвечаю. И чтоб полный порядок. К утру — подборка, передвижка бакс, чистая бутара.

Он обвел нас остренькими голубыми глазками, чуть усмехнулся про себя.

— Кто бригадир?

Мы замялись, понемногу отступая, перемигнулись

и вытолкнули вперед Самосуда-младшего. Он не очень упирался: раз сам привел, самому и отвечать за всех.

— Не пойдет,— сказал Самосуд-старший.

Кто-то из старателей спросил:

— Почему это?

— Два начальника в одном доме — нехорошо. Ругаться будем.

Все засмеялись, мы тоже.

— Ты будешь,— указал Самосуд-старший на Клима.

— Я? — переспросил Клим, ткнув себя кулаком в грудь.

— Ты.

Клим посмотрел на старателей, на нас. Никто не смеялся: значит, всерьез. Выждал немного: может, еще что-то переменится или высказаться кто-нибудь захочет. Все молчали, считая это решенным делом, и Клим выговорил:

— Ладно.

— Собрание закрываю. Когда выходить, скажу.

Старатели поднялись, забирая кирки, лопаты, пошли к стене отвала. Самосуд-старший стал на бутару. Мы посмотрели, понаблюдали немного (это теперь и наша работа), хоть и знали все наизусть. Потом разом, не сговариваясь, пустились вниз, к Семитке.

Бежали долго, пока не запыхались, пока держали ноги главных бегунов — Клима и Самосуда. На зеленой траве возле речки повалились, будто нас срезали косой или пулеметом, и долго, просто так, хохотали. От радости. Оттого, что выдержали такой разговор. Что будем работать. Что очень, очень хороший вечер, и еще тепло, и можно искупаться. Можно просто так поваляться в траве, поболтать. Или лучше помолчать. Надо учиться молчать. Ведь мы сегодня постарели лет на пять. Мы теперь — взрослые. К этому тоже надо привыкнуть.

В поселок пришли тихие, очень серьезные. Прощаясь, молча пожали друг другу руки. Клим сказал:

— Завтра — бомбоубежище.

Кивнули:

— Ладно.

Нам с Самосудом в одну сторону. Идем рядом, молчим. Говорить совсем не о чем. Да и устали сегодня порядочно. Так, какими-то словечками перебрасываемся.

— Неохота на бомбоубежище...

— Надо.

— Ага.

— Хорошее золото в отвале?

— Среднее, отец говорит. Не хуже, чем в забое.

— Вот и отвал.

— Он старый.

— Да.

Вдруг я вспоминаю о нашем золоте (3 грамма 200 миллиграммов!), мы еще никуда его не дели — это наша тайна. И мне нехорошо от этого. Особенно сейчас, сегодня. Будем все вместе работать, бригадой. А у нас свое золото. Будто обманываем Клима и Врио. Нам надо что-то сделать, как-то так от него избавиться, чтобы никогда потом не было стыдно. Сам я ничего не могу придумать. Все приходит на ум: сдать в золотоскупку, получить боны. А что купишь на боны? Если вещь какую-нибудь, заметно станет. Если еды — противно потихоньку вдвоем наедаться.

Беру за рукав Самосуда, останавливаю:

— Как мы с этим золотом, а?

— Сдать надо.

— Нехорошо как-то.

Самосуд думает, вздыхает, вертит головой.

— Н-нехорошо.

— Как же?

Самосуд еще думает, морщит лоб, хмурится.

— П-придумаем, ладно? П-потом, ладно?

— Придумаем.

— Н-ну, пока!

Он уходит к своему дому, я шагаю потихоньку дальше. Домой не хочется: Васейкина все равно еще нет, с теткой мне делать нечего; опять начнет отчитывать: где пропадал весь день, не жравши почти, почему такие грязные штаны, вот напишу родителям, пусть заберут такого хулигана, мочи моей нет, за своими некогда ходить, их двое маленьких. Вообще, обидно и тяжело жить даже у родных теток. А у чужих совсем — так и не знаю как. Лучше дома, лучше со своими, они хоть не говорят, что навязался. Не говорит и Васейкин, но ведь разговаривать приходится больше с теткой.

Вхожу во двор, потихоньку пробираюсь к лестнице и залезаю на крышу сени. Сажусь, подтянув колени к подбородку. Здесь хорошо. Из окон меня не увидит тетка, от нагретых за день досок крыши пахнет сухим деревом, и видно мне отсюда далеко: почти весь Главстан, речку Семитку, сопки, вплоть до синего неба, черную тайгу. И я увижу, когда придет с работы Васейкин.

Достаю письмо из дома, от отца, читаю в третий раз.

«Здравствуй, сын! (Отец всегда так относится ко мне — грубовато, напоминая этим, что я уже почти взрослый.) У нас дома пока все хорошо, твои сестры и братишки здоровы, а мать хворает, но ничего, держится. Вот война — так это всем плохо, беда. Думаю, долгая будет война. И меня скоро призовут. Значит, сын, мы должны решить все вместе, сообща, как нам быть дальше. Оставаться тебе на Главстане или ехать домой? Я думал, прикидывал. Реши сам. Если хочешь учиться, живи у тетки еще зиму. А там видно будет. Если надоело пока, приезжай: в такое время лучше быть всем в одном доме. А заберут меня — сразу приезжай, матери одной будет трудно с ребятишками. Да и думать о нас двоих — заболеть можно. Напиши, как ты решишь. Подумай хорошенько, сын. Ты у меня уже взрослый.

В остальном жизнь наша обычная, как всегда. Трудимся. Погода в этом году хорошая, море совсем мало штормит. Подошла к берегу летняя кета. Начиная лов. Планы сильно повысились. Понятно, война — всем война. Будет кто ехать к вам — приплю солевой рыбки. Веди себя хорошо. Целует тебя мама и все мы. До свидания».

Отец работает бухгалтером на рыбозаводе, хотя имеет всего четыре класса образования. Но те старые четыре класса, он говорит, теперешним семи равняются. Очень строго их учили в казачьей станице. И правда, отец легко разбирался в моей алгебре. Вот только не знаю, почему он не любил рассказывать о своей жизни в деревне. Как воевал с хунзузами, какой у него был боевой конь, сабля. Приходилось ли ему убивать врагов. Васейкин рассказывает, особенно когда выпьет, больше от него я и узнал, откуда мы все вышли.

Я думаю про это, а у самого на уме другое. Очень важное. Потому я и не хочу сразу думать о нем. Немного побаиваюсь. А думать надо. Как мне быть: ехать домой или остаться здесь еще на одну зиму? Задал мне отец задачу. Лучше бы сам приказал. А то у меня голова разболелась. Весь день сегодня об этом помню. Как мне быть: ехать или остаться? Ехать — значит, все: может, уже никогда не попаду в школу. Остаться — кто знает, как пойдет дальше война? Заберут отца, мать не сможет помогать мне. А если и Васейкина призовут? У тетки двое на руках да я еще. Что мне делать? Может быть, все-таки подождать? К осени виднее будет. Там и решу окончательно. Обязательно с Васейкиным посоветуюсь.

Чернеют сопки, и кажется: вся тьма идет от них, растекается, как краска, разбавленная водой. Чернеет все: дома, земля, деревья. Вот первые красные огоньки засветились в окнах, поздно теперь зажигают лампы: на керосин лимит. И тихо в поселке, даже ребятишки в войну не играют. Я сижу, подремываю: очень устал за весь сегодняшний день. Потом слышу размеренные, широкие шаги, издали узнаю: Васейкин. Подходит, стучит калиткой. Негромко окликаю:

— Васейкин!

— А, ты... — устало хрипит он. — Пошли домой.

7

Клим стоит в конце баксы на бутаре, перелопачивает породу, кричит нам:

— Давай, давай! Уснули там, что ли!

Самосуд, Врио и я, двигаясь по откосу отвала, кирками обрушиваем породу — рассыпчатую гальку с песком и мелкими комками глины, — все это ссыывается вниз, падает в желоба с быстро текущей водой. Размельчаясь, промываясь, порода несется к бутаре, скапливается на грохоте — стальном изрешеченном листе, ее ворошит лопатой Клим и чистую гальку отшвыривает в сторону. И покрикивает:

— Давай! Поднажмем!

Мы понимаем: на баксе надо много перегнать породы, чтобы намыть хотя бы по грамму золота, — ведь руда была уже когда-то промыта. Надо кайлить и кайлить. И кайлим молча, старательно, приспособившись к работе: как выгоднее стать, чтобы не съезжать вместе с породой к желобам, как одним ударом разбивать слежавшиеся комья. Каждое дело имеет свои хитрости. Надо привыкнуть, натренироваться. И главное, конечно, чтобы сыпалась и сыпалась порода в желоба.

А ночь лунная, чистая и какая-то очень звучная. Крикни слово — перекатится много раз в горах, как твердый шарик, и клекнет, упав на дно распада. Кажется, слышно все сразу: голоса в поселке, глухой рокот Бочки, шелест листьев от неощутимого ветерка, стук гальки о дно желобов, журчание воды, и в то же время один звук не мешает другому, живет сам по себе, как самые разные краски, положенные рядом на белую бумагу.

— Давай! — И эхо четко и округло перекачивает: «Вай, вай!..»

Работаем уже больше часа. Молчим. Будоражим откос, обрушиваем вниз породу. Рядом со мной Самосуд, он сопит, отдувается, будто лезет в гору. Его кирка чаще, чем моя, стучит о гальку, и порода у него из-под ног течет нестихающим ручьем. Он сильный, Самосуд, может быть, самый сильный из всех нас. Я не берусь с ним соревноваться. О Врио и говорить нечего: копошится там едва с краю, что-то и не слышно его. Лишь бы сам не скатился с желоба.

Ковыряю, отталкиваю породу ногами, смахиваю рукавом пот со лба, думаю: «Простое дело, а сколько силы надо, если все вручную. Вот оно как достается, золотишко!»

Его добывают лотком, бутарами, драгами, Бочкой. Можно баксами — в старых отвалах. Но суть во всем та же: размыть породу, отделить глину и камни, чтобы мелкий песок вместе с крупными желтого металла осел, задержался на самом дне решета или в бороздках лотка. У нас на Главстане нет ни одной драги — перевели на другие, богатые прииски, а Бочка пока еще работает. Это и в самом деле боч-

ка — большущая, железная, с множеством отверстий по бокам. В нее сваливают сразу по десятку вагонеток руды, пускают воду и, вращаясь над решетками, бочка вымывает золото. Просто, понятно. Но грохот от нее — сильнейший, на весь поселок. Поначалу я среди ночи просыпался.

И сюда слышно Бочку, — чуть замри, ее железный лязг пробьется сквозь рощи, сквозь рокот Семитки и журчание наших бакс. Это — машинное сердце Главстана. Пока бьется — все нормально, а когда остановится, жизнь поселка и людей станет сразу другой.

Я все это думаю, чтобы не так тяжело, нудно было кайлить. Отвлекаю себя. И руки, как бы вовсе и не мои, поднимают и опускают кирку. Сыплется, сыплется галька с комками глины в желоба. Видно, что плохо промыли руду первые добытчики: торопились, побольше бы схватить. Говорят, даже самородки попадают в комках глины. Вот бы и нам один достался! Хотя бы грамм на три. Можно было бы сдать его в фонд обороны, а остальное себе. Нудная все-таки работа, механическая. Только ожидание: «Что будет?» — и волнует немножко. «А вдруг!» Но лотком мыть тяжелее, это я теперь знаю, — потаскал настоящую руду.

Смотрю на Самосуда. Он все сопит и отдувается — все лезет и лезет в гору. Мужичок-кержачок. Дубовая старательская порода. А Врио что-то не видно. Куда запропал? Вон он где: устроился в ямке, скрючился и сидит. Может, уснул? Ладно, пусть. Нам бы тоже не помешало отдохнуть — что-то спина деревянной, нечувствительной сделалась. Крикнуть Самосуду? Нет, не буду. А то потом скажут: первым сдался. Особенно Клим. Подцепит так, что долго тошно на душе будет. Потерплю. Врио — пусть, слабый человек, ему бы дома сидеть, может, полечиться на курорте: какая-то болезнь его точит. А отец у Врио — он показывал фото — рослый, плечистый и очень красивый, в военной форме. Ремни крест-накрест, шпалы на воротнике, наган на боку. Врио ничуть на него не похож... Нет, сейчас скажу Самосуду: «Хватит, надо отдохнуть!» Еще минуты две покайлю...

— Стой! — кричит из сумерек от бутары Клим.

Бросаем кирки, спускаемся вниз — по пути я толкаю, бужу Врио, — вдоль желобов идем к бутаре. Плечи пригибаются, руки кажутся очень длинными, чуть не до земли, а сам весь будто укоротился, стал маленьким и замученным. Клим сидит на деревянной стенке бутары, курит папироску, — хорошо, здесь никто не видит! Стальной лист-грохот у него пуст, гальку всю он отбросил: тусклой, поблескивающей горкой она возвышается метрах в двух от бутары (так и полагается), — и незамученная вода, падая из желоба, легко, невидимо проваливается в отверстия грохота.

— Дай курнуть, — говорит, сопя, Самосуд.

Клим затягивается, аж потрескивает табак, щурясь, смотрит на окурок, отдает Самосуду. Тот курит неторопливо, мечтательно. Когда огонь начинает припекать пальцы, сует мне:

— Потяни.

Тяну всего один раз, больше не могу: задохнусь. И отказаться никак нельзя: мужик я или нет? Отбрасываю истлевший окурок, не предлагая Врио. Ему совсем нельзя.

— Тачек полста промыли, — сказал Клим.

— Больше, — буркнул Самосуд.

— Полста тоже неплохо, — решил вслух я.

— Еще бы! — слабо воскликнул Врио, поглядел каждому в лицо и почему-то весело спросил: — Может, хватит, а?



— Ты что? — Клим привстал. — Да с этой руды полграмма металла не будет.

— Да я нет. Да я так...

— Нечего было браться!

— Ты на бутаре...

— А, вон ты как! — Клим подошел к Врию, наклонился над ним, сунув руки в карманы. — Становись, пожалуйста! Только не заплачь.

Зря это Вριο о бутаре. Просто не понимает человек. На бутаре вдвое больше силы надо, и работа очень честная должна быть: чтобы перелопачивать породу, промывать как следует, а не отбрасывать, какую попало. Стоящий на бутаре должен один перешвырять всю гальку (кроме смытого ила), которую мы втроем обрушиваем в желоба. И не кричать каждую минуту: «Стоп! Завал!» Зря, совсем зря Вριο. Шибко устал, наверное, человек.

— Он пошутил, понимать надо, — сказал я.

— Нет, пусть станет!

Молчавший Самосуд вдруг потихоньку засмеялся. Отчего, над кем — неизвестно. Сидит, смотрит в землю и смеется. Теперь мы молчим, ждем: что он скажет? Нет, я давно заметил: что-то диковатое есть в нем. Вот как засмеется вдруг — слушаешь, и неловко как-то делается, стыдно. А ночью так и совсем нехорошо. Наконец он затих, прислушался (журчала вода в бутаре, билась о камни внизу Семитка, железный рокот распространяла на всю тайгу Бочка) и, поднимаясь, выговорил:

— Л-ладно, п-пошли.

Идем к отвалу не торопясь, чтобы выгадать еще минуту отдыха, больше иззябнуть на холодноватом воздухе, чтобы захотелось согреться, и я думаю: «Все-таки надо было Самосуда выбрать бригадиром». Его я даже немножко побаиваюсь. И Вριο с ним никогда не спорит. Клим неплох, конечно, но он начальником любит быть — такая привычка — и потому кричит много, обругать может. В любом деле главное — спокойно надо.

Берем кирки, Вριο даем лопату: это легче, пусть подшевеливает породу, чтобы лучше скатывалась, а мы вдвоем будем кайлить. Разом бьем кирками по отвалу, оживают галька, глина, песок; шелестя, катятся, ползут вниз, стучат о дно желобов, всплескивают воду. Все другие звуки для нас пропадают, и только ночь, густо-синяя, страшновато-огромная, следит за нами несчетными мигалками звезд.

Прохладно, таинственно. Так, будто читаешь книгу о кладах, пиратах, привидениях. Интересно, хоть и не очень понятно, как теперь здесь. Что такое эта порода — она горько пахнет сырой глиной, от нее саднит в горле, — сколько в ней золота, откуда оно вообще взялось? Что делается в желобах, где сильная вода перекручивает, разминает породу? А там, в темноте, бутары? Оседают ли золотые блески на дно решет, не проскальзывают ли поверху с водой? Наверное, невозможно вымыть все, до последней крошечной золотинки. Сколько скопилось его там?

Вот бы самородочек! Но не увидишь, не помотришь, пока не кончишь работать, — оно такое, не любит глаза, в темноте, таинственно, превращается из серой породы в желтый металл. Поэтому, наверное, ему молились старатели, верили в удачу, хотели угодить лесным духам. А сколько погибло из-за него людей? Зависть, жадность, грабежи, убийства. Это можно вычитать в книгах, можно послушать стариков — они и пострашнее кое-что расскажут. Почему его называли «золото», почему его ценят превыше всего на свете люди? Зачем так много надо им металла, который ни на что не пригоден, кроме как на украшения богатым: не откуешь из него топора, не отольешь пули? И почему на него можно все купить: и хлеб без нормы, и топор самый лучший, и пушку для армии где-нибудь в Америке? Может быть, и в самом деле это не просто металл?..

Шуршит, течет галька вниз, в темноту. Ее подхватывает длинная, сильная струя воды, как напряженная лента транспортера, уносит к бутаре. Я уже не чувствую усталости: занемела спина, руки и ноги, все это сделалось будто не моим, и оттого стало совсем легко.словно я — это и не я вовсе, а так, частица большой машины: сыплющегося отвала желобов, воды, бутары. И Клим, едва видимый в сумерках, — частица. И Самосуд. И Врио... Нет, Врио — частица, вышедшая из строя: он сидит, положив на колени лопату, дремлет.

Если отвести глаза от черноты отвала, дать им немножко отдохнуть в пустоте воздуха, увидишь: уже светает. Небо зеленеет за сопками, меркнут, и очень часто на прощание мигают звезды. Туманом, как мутной высокой водой, заполняется дремотный распадок, в котором течет Семитка. И уже заметны цвета багульниковых сопков. Они просыпаются, наполняют светлое пространство своим запахом.

— Хор-рошо! — с легким стоном выговаривает Самосуд, прогибает спину, смотрит в небо.

Сначала мне кажется, что хорошо ему потому, что уже утро, скоро бросим работу, но потом понимаю: нет, совсем нет. Хорошо ему оттого, что он так здорово наработался, — до стога от усталости, до тумана в голове. Вот это человек, это мужик! Еще и не жил как следует, а знает работу. Умеет работать. И хорошо ему от такой тяжелой работы.

Я чувствую, что и мне хорошо. Ну, не так, наверное, как Самосуду, поменьше, понеинтересней. И все-таки, прислушавшись к себе, чувствую: легко, радостно мне от усталости, как перед днем рождения, когда ожидаешь, гадая, необыкновенный подарок.

Протекает еще какое-то время шумом породы, плеском воды, грохотом бутары, стремлением из тьмы к свету; мы делаем подборку возле желобов, пододвигаем их ближе к срезу отвала, и Клим протяжно кричит:

— Конча-ай!

Осторожно будим, чтобы не напугать, Врио, прихватываем инструмент, бредем к бутаре: Клим знает — у него часы. Да и так уже видно: за сопками иззубренной кромкой черного леса алеет тонким новеньким ситчиком заря.

— Ну как, работнички? — спрашивает Клим. Он стоит, сложив руки на черенке лопаты и уперев в них подбородок. Вид у него почти не усталый, лишь немного сутулятся плечи да лицо заляпано синеватым илом. Тоже хороший трудяга, хоть и красивый и нежный на взгляд, и мать у него с высшим образованием. Говорят, очень она не пускала Клина на баксы.

— А Врио сонный что-то. Спал, что ли?

— Работал. — Я не гляжу на Врио, чтобы не видеть его кислое, плаксивое лицо и не стусиваться.

Думаю, почему я вру Климу. Ведь я его не боюсь. Неужели потому, что он бригадир, какой-то мой начальник?

— Н-нормально, — говорит Самосуд.

И он тоже. А уж ему-то и совсем плевать на Клима. Он, может быть, больше для нас всех начальник. Удивительно, непонятно. Такая, наверное, душа в каждом: побаиваться начальства?

— Съемка, работнички! — так же грубовато, приказывая, говорит Клим, отбрасывает лопату, наклоняется к бутаре и поднимает край грохота. Мы подхватываем с боков, вынимаем грохот из деревянных пазов бутары, относим в сторону.

Видим решета с множеством клеток, заполненных крупным чистым песком. Смотрим. Стоим минуту. Потом Клим поднимает решета, осторожно, отряхивая песок, кладет их на бугорок вымытой гальки. Теперь видна редкая железная сетка, заполненная мелким песком. И ее, стряхивая, поднимает и относит в сторону Клим.

На дне бутары лежит серое ворсистое сукно. На нем множество бугорков крупного и мелкого песка. Подходим к бутаре с четырех углов, нежно отрываем от досок сукно, стряхиваем к середине песок и высыпаем его в обыкновенный старательский лоток. Клим ставит его под желоб, набирает воды и полощет в ней сукно, смывая все, до последней песчинки.

— Давай, — негромко, почти шепотом говорит Клим, отступая от лотка.

Мы понимаем, что такое «давай», и Самосуд, наклонившись, взяв в руки лоток, начинает промывку. Это его работа. Лучше Самосуда никто это не сделает.

Он промывает, а мы налаживаем бутару. Кладем сукно, сетку, решета, сверху, как полагается, стальной лист грохота. И пускаем воду, чтобы прополо-скалась, прочистилась бутара. Чтобы даже не подумали о нас ничего плохого старатели.

Потом подходим к Самосуду, приседаем рядом с ним на корточки. Молча и все больше замирая, смотрим в лоток.

Самосуд трясет, двигает челноком, вертит лоток в лужице (специально для этого вырытой возле бутары), окунает его совсем, ловит, как рыбу, пропускает струи воды поверху (кажется, смывает все в мутную лужицу), но снова лоток всплывает, пляшет лодочкой на волнах, качает в себе воду, песок, шлих, и все легче, пустее делается с каждой минутой.

Светлеет вода, мельче, нежнее трясет лоток Самосуд. Будто тонкое стекло, хрустальное блюдо. Кажется, слышен прозрачный, как звук сосулек на ветру, звон. Наконец Самосуд, напрягши руки, едва заметно сливает воду, будто она враз испаряется, и Клим, пригнув голову к лотку, вполголоса кричит:

— Ура, работнички!

На дне лотка в поперечном желобке ровной, плотной черно-желтой полоской лежит металл. Мы наклоняемся к нему, смотрим, чтобы почувствовать радость, ласкаем его глазами и улыбаемся — не друг другу, а ему, и неловко как-то нам, стыдно переглянуться, мы знаем это, но все-таки смотрим на желтую полоску металла и улыбаемся ему.

— Хватит, — сказал кто-то.

Клим вынул из кармана жестяную баночку (такую же, как у Самосуда, из-под монпансье), смыл в нее, плеснув ладошкой воду, золотой песок и велел развести костерик. Прогрел над огнем, просушил баночку, а после достал из другого кармана пузырек, вынул зубами пробку, капнул в баночку несколько крупных матово-белых, зябко дрожащих капель.

— Что это? — спросил я.

— Увидишь.

Капли побегали, поплясали по дну баночки, слились в одну большую, втянув в себя золотые блестки. Черный шлих отделился, лежал на дне перетертым пеплом. Клим выкатил тяжелый шарик себе на ладонь, стряхнул шлих, опять опустил шарик в баночку и поставил ее поближе к огню. На моих глазах шарик стал уменьшаться, играя бликами, будто кипя, потом сделался плоским и исчез.

— Ртуть, — сказал Самосуд.

На дне баночки желтым бугорком лежало чистое золото.

Из третьего кармана Клим вынул крошечные аптекарские весы, высыпал в одну чашечку металл, на другую положил четыре гирьки, величиной с горошину. Добавил еще одну. И еще, совсем мизерную. Сказал:

— Пять триста.

— Ур-ра! — закричал, перепугав нас, Врио.

Золото надо сдавать сразу. Намыл — сдай. Такое правило. Держать у себя нельзя. Мало ли что с ним может случиться: выкрадут, потеряешь, себе оставишь. Золото, оно такое: и твое и не твое. Даже больше не твое. Поэтому его надо скорее сдать, чтобы всем спокойнее было, получить за него бумажки, боны, которые можно отнести в магазин. Захочешь придержать их — держи у себя сколько вздумается (если хлеба по карточкам тебе хватает), никто ничего не скажет.

Мы стоим на улице Главстана, возле школьного забора (за ним наше бомбоубежище), и спорим, кому идти сдавать золото. Конечно, это не трудное дело, даже самое легкое, но... В том-то все и дело, что «но». В приемочной кассе, за железной решеткой, сидит Маруська Карина. Та самая Маруська, за которой мы подглядывали из кустов, когда она купалась с девчонками. Об этом мы вспомнили сейчас, проходя мимо школы и увидев на бугре одинокий дом под железной красной крышей, с зарешеченными окнами, стеклянной вывеской у двери. И вот стоим, переминаемся, нудно спорим.

— Давай ты, — говорит Клим Самосуду.

— Т-ты первый б-бежал.

— Ты, — тычет в меня Клим.

— Сам. Бригадиру полагается.

— Врио, ты, — хмурится и краснеет Клим.

— Ага, гага, — зачастил испуганный Врио. — Она меня хворостинкой достала (раньше он про это молчал), узнала, крикнула: «Матери скажу!» Не пойду! — Врио жалобно сморщил совсем оскудевшее личико.

— Л-ладно, — махнул рукой Самосуд. Я подумал уже, что он согласился, но Самосуд выговорил дальше: — Д-давайте жребий. — Вынул из кармана спичечный коробок, достал четыре спички, надломил одну. — К-кому дос-достанется, т-тот пойдет. — Протянул к нам кулак с зажатыми спичками.

— Тяни, — сказал мне Клим.

— Сам первый.

— Тяни, — подтолкнул Клим Врио.

Врио отпрыгнул к забору.

Самосуд засмеялся, подставил кулак к самому носу Клим.

— Д-давай как бригадир.

Клим стал нащупывать пальцами спички, глядя куда-то в сторону, и вдруг, отдернув руку, сказал:

— Пойдите, ребята!

Мы оглянулись. По той стороне улицы шла, не замечая нас, Катька. Она была в синем платье с белым пояском, в туфлях на каблучке, прежних косиц у нее как не бывало, вместо них коротко подстриженные и прямо зачесанные волосы. Многие девчонки

обрезали косы, и вот Катька тоже... — Теперь война, говорят, некогда собой заниматься, а если в армию призовут, тем более... Катьку можно было и не узнать, если не приглядеться: десятиклассницы иные младше кажутся. Клим окликнул ее.

Катька, издали разглядывая нас, неторопливо подошла, пожала каждому руку.

— Вы что здесь, мальчики?

— Да вот... — Клим ствернулся, морща нос и краснея кончиками ушей. — Сдай металл.

— А, вы намыли? Молодцы, правда?

— Сдай.

— А сами? — Катька обвела нас серыми, большущими, в коричневых крапинках, глазами. — Пойдите, стойте... — И засмеялась: — Ой, не могу!

Мы стояли смирно, пока Катька смеялась, доставала из кармашка пахнущий одеколоном платочек, обшитый кружевами, промокала глаза.

— Так вам и надо, — сказала она, еще смеясь.

Самосуд протяжно вздохнул, покрутил головой, отступил на шаг в сторону. Это означало, что ему надоело представление: тут не клуб, надо разбредаться по домам: ночью-то не спали.

— Ладно, мальчики, — сразу посерьезнела Катька. — Сдам. Только договор: берете меня в бригаду.

— Как?

— Тебя?

— З-зачем еще?

На какую-то минуту мы вовсе позабыли, о чем шел разговор, помнили только одно: «Катьку, эту Катьку на каблучках, взять в бригаду. Никогда!» Мы возмущались, фыркали, хихикали, зло поглядывали на нее: «Вот еще выдумала! Да засмеют нас старатели!» Самосуд отодвинулся еще на несколько шагов, будто опасаясь, что его могут втянуть в позорное дело.

— Тогда гуд бай, мальчики!

Клим развел руки, посмотрел ей в спину, повернулся к нам, сказал:

— Ребята...

Он сказал это так, что мы враз припомнили Маруську Карину, свое золото, что нам придется, наверное, и в будущие дни ходить в кассу, а Маруська может рассказать всем в конторе: в общем-то нечего задаваться; если кто уж очень гордый, пусть сейчас же идет и сдает металл.

— Кать! — окликнул Клим.

Она вернулась. Но какая-то уже другая — чуть грустная, с опущенными глазами. Вернулась, не капризная. Не ожидая, что ей скажут, заговорила быстро, заикаясь:

— Возьмите, а, мальчики?.. Я не помешаю... Ну там, чай подогрею... Еду, если надо, сварю. Умею. И помогу, у меня силы хватит. — Она протянула к нам ладошки. — Вот, мозоли даже. На огороде работала.

— Д-других не потащишь? — спросил Самосуд, опасаясь, что наша бригада понемногу делается женской.

— Нет-нет! — замотала головой Катька.

— А туфли снимешь? — спросил Врио.

— Да-да! — закивала Катька. — У меня сапоги есть.

— И болтать не будешь? — спросил я.

— Вот! — Катька высунула язык, чиркнула по нему пальцем.

— Ладно, — сказал Клим.

Он подал ей пакетик, свернутый так, как сворачивают в аптеках порошки, она сжала его в ладошке, повернулась на каблучках, быстро пошла к конторе. Мы смотрели ей вслед, пока она не скрылась в двери, обитой зеленой клеенкой, потом привалились к забору, в щели которого тянуло сыростью от школьного бомбоубежища, и стали терпеливо ждать.

В контору входили и выходили люди. Старатели — бригадиры с бутар и бакс, женщины — эти, наверное, сдавали за своих мужиков, лоточников, чтобы уберечь бонь от пропоя. Вышли два старшекласника — веселые, болтающие: тоже работают где-то, хорошо сдали. А Катки все не было. Долго не было. Я присел к забору, начал подремывать.

Потом увидел Каткины ноги, платье, белый пояс. Вскочил. Катка веером держала в руке пять больших золотистых бумаг, испечатанных черными цифрами, и глупо, белозубо смеялась.

8

Багульниковые сопки потеряли цвет, будто вылиняли от солнца или смыли с них акварель летние проливные дожди. Они сделались бурыми, почти коричневыми, под цвет багульниковой листвы, — отяжелели, грубо выперли к небу свои горбы. В таежной речке Керби, как случается каждый год, появилась большая рыба кета, пришедшая из далекого Охотского моря. Люди густо потянулись в сопки по узенькому, петлистому руслу Семитки, на промысел. И не ради охоты и удовольствия, как прежде, — многим сейчас не хватало еды.

Ходил и двое суток пропадал в тайге Васейкин. Вернулся изъеденный комарами, отощавший. Принес в рюкзаке десяток распотрошенных, тяжелых (как только донес!) рыб, две литровые банки малосольной красной икры. Вернулся вечером, выпил, сонно поел и завалился спать. А утром, когда он был еще в постели, почтальонша вручила ему повестку из районного военкомата.

Он долго рассматривал продолговатую бумажку с четко вписанной черными чернилами своей фамилией, именем и отчеством, ощупывал ее пальцами, просветил светом из окна. Неизвестно, сколько еще времени он изучал бы эту бумажку, но тут появилась из кухни тетка, глянула, подняла к лицу ладони и заголосила:

— Ой, ты кормилец наш родненький!.. Да убьют же тебя на войне!.. На кого ты нас покинешь?!

Проснулись и враз заорали ребятишки.

Васейкин лежал, слушал, как бы соображая для себя, что все это значит, потом неторопливо поднялся, натянул брюки, рубашку, причесался и негромко, веско сказал:

— Цыц, говорю!

Ребятишки затихли, тетка перестала причитать, спокойно, будто и не голосила вовсе, спросила:

— Когда же это, Вась?

— Завтра, к десяти утра.

— Ой, батюшки вы мои! — завела было опять тетка, но спохватилась, прижимая фартук к глазам, убежала на кухню.

Васейкин, свесив голову, заходил из угла в угол, словно для чего-то отмеряя шагами комнату, остановился у окна, посмотрел, ничего не видя, во двор, снова зашагал; увидел, что я не сплю, подошел, сел на край койки и первый раз за утро улыбнулся.

— Ну вот, дружба. Что я тебе говорил? Казака возьмут. На войну возьмут. Как же без казака? Без нас никакая война не обходилась. Раньше за Россию стояли, за Советскую постоим.

— А как же хлеб? — спросил я.

— Напекут. Федька справится. Теперь-то сколько его надо!

Васейкин дернул меня за волосы, к нему прибежали ребятишки — им не нравилось, что отец так долго сидит возле меня, он посадил их себе на ко-

лени, повозился, поцеловал, погладил лохматые головенки. А потом было слышно из кухни, как он разговаривал с теткой, распоряжался, даже покрикивал, — это чтобы тетка не очень распускала нюни, так и сказал: «Не распускай нюни!» — и распорядился к обеду звать гостей. Бочка браги бродила в сенях у него вторую неделю (он, наверное, ждал повестки), сам пошел в огород подкапывать картошку, собирать огурцы.

Было воскресенье, и к половине дня дом Васейкина густо наполнился гостями. Пришли званные и незванные. На шум, на сборище. Васейкин усаживал всех за длинный стол, устроенный из широких плах, застланных клеенками, наливал в поллитровые кружки брагу. Ели картошку, огурцы, вареную рыбу-кету (очень кстати Васейкин принес ее), но хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, не брали. Он так и лежал, сох, нетронутый, в большой стеклянной вазе посреди стола, как украшение или воспоминание о прежних днях.

Я помогал тетке и Васейкину наливать брагу из бочки, топил печку, носил еду. И каждый раз, когда подходил к столу и видел в вазе горку хлеба, которую обсиживали мухи, я как-то пугался и думал: «Нет, не наедятся гости, сколько бы мы ни выставили картошки, рыбы и огурцов!» Вот опьянеют — это да, брага васейкинская «с секретом», на каких-то особенных заквасках — как спирт, крепкая. Вон уже Федька повалил свою детскую головенку на руки (как он справится один в пекарне — понять не могу!), два других мужика на краю стола кричат друг другу: «Ты меня уважаешь?» — и целуются. А сколько выпили? По две кружки всего.

Скоро мне надоела вся эта гулянка: пьют, едят, будто последний раз в жизни, даже песни хорошей не спели; затянули «Бродягу» — и то бабы перебили, пошли плясать. Васейкин попал в середину стола, его плотно окружили, чокаются, говорят: «Бей фашиста!» Рыжий бородатый мужик, из старателей, навалился на него обеими ручищами, плачет, называя: «Моя родная Красная Армия». Теперь Васейкин надолго застрянет среди них, а я все вертелся тут, помогал, чтобы на глазах быть: может, он захочет сказать мне что-нибудь, поговорить. Ведь не на один же день уезжает, неизвестно, когда увидимся. Но раз он так занят, я могу уйти пока, потому что терпеть уже не могу и дышать в доме нечем.

В сенях меня окликнула тетка (наливала из бочки брагу), помог ей, она спросила:

— Ты куда?

— Погуляю.

Помолчала, всхлипнула в темноте, протяжно вздохнула.

— Дядь Вась-то наш... Знаешь... Он заявленья все писал. Просился. Вот и взяли-то его. Почитай, одного с поселка... Ой, головушка моя несчастная!

— Ладно вам! — сказал я как мог строже, по-васейкински, и открыл тетке дверь.

Она проворно подхватила кастрюлю, вполне нормальным голосом (меняться она могла прямо-таки мгновенно, не хуже актерки) сказала мне:

— На баксы-то не ходи сегодня.

— Не пойду.

— Ну побегай тогда.

На улице ясно, тихо, и чувствуется, что скоро, в ближайšie дни, наступит жара. Здесь она трудная, на приисках, в глубине тайги и сопки, — припечет багульник, лиственницы, елушник, выжмет из всего запахи и стоит до самой темноты банной сыростью, деться некуда. А пока ничего, пока еще воздух с ночи держится или, может, с весны еще не про-

грелся. Я иду просто так, куда-нибудь. Однако на всякий случай выражаю лицом и походкой озабоченность (в моем возрасте, да еще в войну, просто так шлаться стыдно), хотя мне сегодня по-настоящему грустно, хочется плакать и наплевать на все. Главное, чтобы никому не пришло в голову жалеть меня. От жалости можно ненормальным сделаться.

Один, второй дом. Ребятишки, куры, козы, белые и черные. (Здесь почему-то не держат коров, у всех козы, по две, по четыре, а у татар — по десятку целому; и молоко и мясо от них.) Дома же не очень крепкие, срубленные когда-то наспех, да так и застарели, потемнев и покосившись. Никто здесь не собирался жить долго, а теперь, кажется, и уезжать никому не хочется. Куда уезжать? Третий, четвертый дом... На скамеечке у калитки сидит Зина, подруга Каткина, читает книжку. Хочу пройти мимо, окликает:

— Задавалка! Своих не узнаешь!

Это правда, Зина своя. Она для меня, может, больше всех других девчонок своя. И не только девчонок. Мы с ней дружим. Вернее, она сама выбрала меня и стала дружить. Девчонки по-другому не могут, им надо заботиться о ком-нибудь, а у меня с алгеброй и геометрией плохо, просто я тупой в этих предметах, до треска в голове думаю, и все равно выше тройки не получается. Зина всю зиму помогала, приходила ко мне домой, нас даже дразнить начали, но она ничуть не стеснялась. Не знаю, лучше или нет стал я соображать в алгебре и геометрии, однако экзамены сдал на четверку. Потом стихотворение написал Зине, так и обозначил сверху: «З. Н.» — Зине Наумовой. Всего четыре строчки.

Спасибо, Зина. Ты мне друг.
И я тебя люблю, конечно.
Ты появилась как-то вдруг,
Но будь со мною вечно!

Бумажку с этими стихами я сунул ей еще весной, потом она уехала в район гостить к родственникам, и с тех пор я ее не видел. За другими разными делами — войной, работой — я позабыл о ней. И сейчас прошел было мимо (уж очень мне плохо сейчас), но она окликнула. А голос у нее такой, так действует на меня, что я остановился.

Зина подвинулась на скамейке, закрыла книгу «Айвенго» (хорошая книга, глянул — аж сердце екнуло от счастья), сел, думая: хотя бы не заговорила о стихотворении — сгореть можно со стыда. Особенно теперь. Война страшная, Васейкин уезжает, людям хлеба не хватает — и какие-то стишки...

— Катку взяли? — спросила Зина, щурясь, будто прицеливаясь в меня, и надувая губы.

— Взяли.

— Лучше всех, что ли?

— Так получилось.

— Как?

— Пусть сама расскажет.

— Уже рассказала! — Зина пододвинулась ко мне, я почувствовал, как свежо, прохладно пахнет ее белая блузка. — Мы же все вместе там были.

Да, тогда на речке была и Зина, были и другие девчонки. Я подумал об этом, хотел вспомнить, как выглядела Зина в купальнике, и не мог ничего представить себе. Ее будто не было. Зато ничуть не позабыл Маруську Карину, она даже снилась мне, и как-то раз, во сне, конечно, я поцеловал ее. Мне сделалось почему-то стыдно сейчас, и, чувствуя, как горячают щеки, я отвернулся. Вот так всегда: подумаю о чем-нибудь, вспомню — и краснею, будто все уже знают, что у меня в голове. Такой «психический» характер.



— Ты рассердился? — тихо спросила Зина, придвигаясь, сбоку заглядывая мне в глаза.

— Нет! — отчаянно мотнул я головой.

— Ага, нст... Знаю тебя.

Она положила ладошки в колени, опустила голову; плотный белесый клочок упал ей на лоб, прикрыл лицо; волос у нее было много, их не держали ни приколки, ни гребенка, они мучили ее, но зато и завидовали Зине все школьные девчонки. Что там и говорить — разве можно сравнить ее с Маруськой Кариной! Как лебедя с уткой. Да и Катка рядом с ней не очень смотрится. И все-таки я почти никогда не думаю о Зине. Хорошо, что она есть, а думать не хочется. Катка чаще мне вспоминается. Может, потому, что она почти взрослая, ей скоро и замуж можно выйти. Сильная еще. А как мы Зину примем в бригаду? Как наденет она резиновые сапоги, брезентовые брюки, возьмет в руки кирку? Это все тяжелое, сырое будет. Невозможно представить Зину, белую, нежную, в таком наряде. Как цветок в старой, ржавой банке. Стыдно станет за свою грубость, думать будешь — не случилось бы чего с ней, и работа кувырком пойдет.

Но ничего такого сказать Зине я, конечно, не могу — язык не послушается, а говорить о чем-нибудь надо, чтобы она хоть сейчас не думала о баксах и Катке, не сердилась на меня: не я придумал так трудно добывать золото.

— Васейкин уезжает, — вдруг неожиданно вспомнил я.

— Куда?

— На войну.

— Да?.. А говорили, тех, кто переселенец, не будут забирать.

— По заявлению.

— А-а.

— Он такой.

— Как же вы? Ты?

— Не знаю пока. Поговорю с ним.

Мать у Зины была учительницей, преподавала в младших классах, отец работал на Бочке каким-то начальником и был сильно хромым на одну ногу. Его, конечно, не возьмут в армию, хромые там не нужны. Зине бояться нечего. Но и этого я не сказал ей, вдруг обидится: кому приятно иметь такого отца, который для самого важного дела — для войны — не пригоден?

— Ты не уезжай, ладно?

— Не знаю пока.

Зина вздохнула, это у нее получилось очень похоже на мою тетку, и лицо переменялось, будто постарело немножко; она стала смотреть на меня так, будто меня, а не Васейкина забирают на фронт. Очень серьезно, по-взрослому умеет переживать Зина. У нее талант женский. Наверное, когда-нибудь, лет через десять, из нее получится для кого-нибудь хорошая жена.

Я поднялся: надо уходить, а то и разреваться можно от всего этого.

— Ну, просто... Просто так можно к вам прийти, а?

Сначала я не понял, куда к нам, зачем, но потом вспомнил: опять про баксы она. Подумал, что точно так же просилась Катка, будто они сговорились, слова одинаковые подготовили, знают, как обмануть нас. Но Катка — другое дело, без нее нельзя было... И мы все вместе были. А как я один могу Зине разрешить? Да и нельзя вовсе ей идти на баксы, ночью еще. Мать узнает — в обморок упадет, отец костылем всю нашу бригаду разгонит.

— Нельзя.

— У-у, задавалка!

Зина вскочила, смерила меня взглядом, будто подумала про себя: «Такой дохлый, не на что посмотреть, а задается!», — быстрыми мелкими шажками пошла к дому, сильно хлопнула калиткой.

Теперь я мог идти. Все хорошо. Зина стала нормальной, как другие девчонки; как-нибудь встретимся, поговорим — она не умеет долго сердиться, может, за это время постареет немножко, и можно будет надеть на нее сапоги и брюки или опять уедет в гости к родственникам, — так все и решится само по себе. А до зимы далеко. И будет ли вообще теперь зима похожей на прежние зимы?

— Гуд бай! — крикнул я Зине на случай, если она стоит в сенях и следит за мной в щелку.

Пошел дальше по улице. Заглянул во двор к Самосуду, мать сказала: на Семитке, рыбу удит; и Клим Сорина не оказалось дома; а мне надо было сказать, что не приду сегодня, — пусть не заходят ко мне, не ждут на баксах. Пошел к дому Врио. Увидел его во дворе: голый до пояса, затянутый широким ремнем с медной пряжкой (наверное, от отца остался), он, пыхтя, тюкал колун по

круглой чурке. Работал человек, дрова на зиму заготавливал. Поленья аккуратно складывал в штабелек, поближе к сеням, чтобы по морозу далеко не бегать. Вот тебе и Врио: кто бы подумал, что он такой хозяйственный! Окликнул его.

Воткнув в чурку колун, он воззрился на меня, морща нос, будто принюхиваясь.

— Сегодня не приду.

Заморгал светленькими бровками, не понимая.

— Васейкин уезжает.

— Ври!

— На войну.

— Ну?

Надел рубашку, внес в сени колун, повесил замок, вышел за калитку.

— Пошли.

— Куда?

— Я с тобой.

— Ладно, пошли.

Конечно, лучше бы, если со мной пошел Самосуд или Клим, они больше разбираются в жизни, войне, других разных делах; с ними можно выпить браги, песни боевые спеть; и Васейкину показать их приятно: взрослые ребята, сами почти бойцы. Но их нет, и искать некогда. Пусть будет Врио, ладно хоть он попался: все-таки веселей вдвоем в такой трудный день.

Издали услышали шум в доме Васейкина: окна были раскрыты, из них летели на улицу крики, топот, звяканье посуды, тонкие женские голоса, тянувшие какую-то старинную песню. Вошли во двор. И дверь оказалась распахнутой. У затоптанного крыльца, положив голову на ступеньку, спал пьяный Федька-старатель. Два мужика сидели в обнимку, крича друг другу в ухо: «Ты меня уважаешь? Ты солдат!» Внутри дома синели сумерки от чада, смрада, дыма. Люди двигались, раскачивались, как тени, несуразные, бесплотные привидения, и было удивительно, почему так много шума и грохота.

Я подтолкнул Врио, мы потихоньку пробрались на кухню, закрылись. Подсели к столу. В литровой банке желтела брага с беловатым осадком на дне, видно, сливали со дна бочки, в миске лежали куски вареной рыбы, картошка. Был ошипанный ломоть белого, васейкинского хлеба. Я пододвинул Врио банку, сказал:

— Пей до половины.

Он без разговора взял в обе руки, выкатив на меня маленькие серые, почему-то перепуганные глазки, начал пить. И выпил бы, пожалуй, всю брагу, если бы я не остановил. Послушно отдал банку, я выделил ему рыбы, картошки, хлеба, и сам, взболтнув осадок браги, — так делал Васейкин: в осадке вся крепость, на удивление замершему Врио выпил все одним духом.

— Вот как по-нашенски!

— Понял, — кивнул Врио.

Ели картошку, рыбу, хлеб. Слушали песни из комнаты, говорили о баксах. Потом выпили еще из банки, что стояла на подоконнике. И Врио сделался пьяный, вспомнил, что его отец — командир полка и уже, наверное, воюет с фашистами, начал кричать на меня:

— Кто твой отец, а? Говори! — Сам себе отвечал: — Бухгалтер. Бух, бух! Который на счетах. Ха, ха! А мой, вот! — Он выпятил живот, показывая широкий ремень с медной пряжкой. — Командир. Фашистов расстреливает! Герой Советского Союза.

Ну, это прихвастнул, конечно, Врио. До героя его отцу еще далеко, хоть он и командир полка. К тому же неизвестно, воюет он или просто служит в

Хабаровске. Однако спорить я не стал: мало ли чего может наболтать выпивший человек! Налил Врио еще немного браги. Он взболтнул, выпил залпом и швырнул кружку под стол, наверное, видел, что так делают некоторые мужики, подошел, пошатываясь, ко мне. Посмотрел, кривя брезгливо тоненькие губы, сунул мне под нос кулак. Я слегка оттолкнул Врио, сказал, что не хочу сегодня драться, он расхохотался и крикнул:

— А твой Васейкин — пекарь!

Этого я не мог перенести. У меня в глазах помутилось, я взял Врио за ворот рубашки, стиснул ему горло, — глаза у него выкатились, покраснели, — сильно толкнул. Врио свалил табуретку, упал спиной в угол и заревел.

Захотелось выпить еще. Но банки были пусты. И рыбу с картошкой съели. Я поднял табуретку, сел. Врио плакал, всхлипывая, как ребенок, повизгивая, весь дергаясь, — такой плач бывает долгим, и после него человек может заболеть, потому что расстраивается вся нервная система. Он даже слезы не вытирал, и лицо у него было все мокрое, будто он плакал и лбом, и щеками, и носом. Мне сделалось жаль Врио — хоть самому плачь. И почему при такой хилости он такой вредный? Взял теткин кухонное полотенце, вытер ему глаза и нос, сказал:

— Сам виноват!

Врио, услышав эти слова, заревел сильнее, в голос, а потом стал понемногу стихать, как от усталости, и уснул. Я накинул ему на голову теткин ситцевый фартук — защитил от злющих мух.

Сидел, думал: «Вот так и получается: все скандалы в жизни от водки, от ненормальной жизни. И никто никого не побеждает. Ударить другого — самому плохо делается, будто украл что-то или струсил, и теперь всю оставшуюся жизнь стыдно будет. Это правильно говорят: водкой и дракой ничего решить нельзя».

— Пойду к Васейкину! — сказал я себе, Врио, кухонному столу, солнечной улице за окном, рыжим сопкам. — Надо поговорить.

Он сидел в дыму еле видимый, с опущенным на глаза белесым, издали будто совсем седым чубом, два мужика стискивали его, висли у него на плечах, он кивал им, все ниже опуская голову. Я не знал, как пробраться к нему: по обе стороны стола плясали и кричали частушки бабы, на самом проходе сидел огромный гармонист (казалось, он просто так разводит локти, и из ничего делается музыка, потому что гармоники за его плечами не было видно), — подождал, но Васейкин не поднимал головы, и я крикнул:

— Васейкин!

Откинув пятерней со лба чуб, он взглянул в мою сторону, осторожно стряхнул с плеч руки мужиков, поднялся. Бабы подхватили его, закружили, завизжали вокруг него. Выждав минуту, когда они позабыли о нем, он пробился к двери.

— Поговорить надо, — сказал я.

— Правильно, дружба, надо. Пошли.

Вышли во двор, свернули за угол сеней, к сарайчику, сели на чурку возле прошлогодней поленицы. Васейкин закурил, дал мне папиросу. Я взял, не отказываясь и не стыдясь: дает — значит, так надо. Значит, считает, что мне уже можно: война для всех война, все старше самих себя становятся. Закурил, стараясь не очень глубоко затягиваться, чтобы не задохнуться, не опозориться перед Васейкиным. А он молчал, щурясь от дыма, следил за старой рябой курицей, которая суетливо расхаживала возле пустых ящиков, разного хлама, сваленного в углу у забора, поворачивая к нам то один, то дру-

гой хитрый глаз. Когда она, сплюснвшись, вдруг шмыгнула под ящик, Васейкин сказал:

— Проверь. Гнездо там устроила.

Я пошел в угол, к тому ящику, под которым исчезла курица, откинул его. Курица вспорхнула, крикливо закудаhtала и, выбивая из себя перья, по-над землей полетела к сараю. В другом, устланном соломой ящике было гнездо, в нем — штук двадцать чистеньких коричневых, в крапинках, как сама курица, яиц.

— Сколько? — спросил Васейкин.

— Восемнадцать, — сказал я, пересчитав.

— Хорошо. На яичницу себе заберете.

Прикрыв гнездо дном перевернутого ящика, чтобы курица не смогла сесть в него, я вернулся к Васейкину. Он положил мне на плечо руку, близко придвинул свое лицо. Глаза у него были чисто голубые, от него совсем не пахло брагой.

— Ты не пьяный? — удивился я.

— Что ты, дружба! В такой день — и чтоб напиться!

Помолчал, подымыл, подумал.

— Вот как я решил. Слушай. Пока у нас поживешь. Тетка одна, сам знаешь, ребятишки малые. Письмо напишу твоему отцу. Попрошу. Пока он на месте — поживи. Все-таки мужик. Без мужика — какой дом? Мне спокойней будет. Ладно?

Я кивнул.

— Спасибо тебе. Потом рассчитаемся, после войны. В долгу не останусь. Казак казаку — брат на веку.

В доме гремел пол, звякала посуда, гудели голоса. Дом был похож на большую деревянную бомбу, в которой клочкотала взрывчатка — вот-вот произойдет взрыв, и во все стороны полетят бревна, кирпичи, щепки.

— Ты не горюй, главное дело. Вернусь — на Амур поедем, в деревню. Все там соберемся. Ты не помнишь... У нас там знаешь как? Степь, поля. Земли просторной много. Лодку заведем, рыбачить будем. Землю пахать. Конюхом пойду работать в колхоз. Вот ты говоришь: золото почему не люблю? Да ничего здесь не люблю — сопки эти, хоть они и красивые, тайгу. Темно, тесно мне в тайге. А золото — брезгую в руки брать. Его только возьми — всю жизнь тянуться к нему будешь. Видел Федьку, других видел? Кто из них богатый? Больные люди. А я не могу, мне нельзя. Вот... — Васейкин вытянул впереди себя ладони с растопыренными пальцами (широкие ладони, бугроватые — бугорки — как мускулы, и грубые от работы, и нежные — сквозь кожу кровь просвечивает). — Мне надо живое что-нибудь ими держать. Для золота жалко их. Понял?

— Да.

— Совсем хорошо, дружба. А теперь мы с тобой знаешь что... Споем вместе. Для двоих, а?.. — И Васейкин, повернувшись ко мне, вполголоса, нахмурясь, запел:

— Дан приказ ему на Запад...

9

Катится по склону галька, шумит песок, всплывает в желобах вода; под ногами зыбко, как на осыпи; от растревоженной стены отвалила сквозит острой глинистой сыростью; темно. Я едва вижу Катю, работающую справа от меня, а Самосуд и Врио угадываются шевелящимися сгустками черноты. Цокают кирпичи о гальку; тяжело ссылаются крупные комья глины. «Их надо разби-

вать,— думаю я.— Забьем баксы...». И точно. Внизу забурлила, захлестала через края желобов вода. Кому-то надо спуститься, разбить затор. Пошел, ругаясь, Самосуд:

— Работать на-надо, а не с-спать!

Можно несколько минут передохнуть. Поворачиваюсь спиной к отвалу, сажусь. Бросает кирку Катька, разгибается; закинув руки за спину, тоненько стонет — говорит:

— Ой, не могу. Спинушка переламинается!

Она в брюках, свитере, резиновых сапожках. Я смотрю на нее (она плавно раскачивается, как четкая тень самой себя), и мне приятно смотреть на нее. Я думаю об этом, стыжусь: «Вот, рассуропился!» Поэтому, наверное, говорю ей грубовато и безразлично:

— Сидела бы дома, нюня.

— Сам сиди!

— Мне работать надо.

— Не твое дело!

Конечно, и я бы мог что-нибудь покрепче ей выдать. Например: «Заткнись. Когда просилась в бригаду, ласковой была. Между прочим, и я голосовал. А так бы...» Зачем связываться? Раскритится. Еще заплачет. Девчонки, они тоже как бабы, хоть еще семейной жизнью не живут. Нажалуются Климу, а тот не любит, когда к Катьке пристают. Рассердится, оплатит при удобном случае. Она знает это, потому и кричит. Думает, наверное, что ее Клим самый красивый, самый сильный, самый умный. Считай так, дело твое, но не очень перед другими задавайся: все равно ты девчонка. А нам еще воевать, может быть, придется, немцы вон уже куда проперли, почти к самой Москве, и все жмут и жмут, страшно подумать, что дальше со всеми нами будет... Конечно, ничего этого я не говорю Катьке (не бабий разговор), просто вздыхаю и отворачиваюсь.

— Уже надулся? — спрашивает она, пробирается по осыпи ко мне, садится рядом.

Я смотрю вниз, где неуклюже, по-мужичьи ворочается Самосуд, стучит лопатой, ворчит, разбирая затор. Из темноты слева свистит, поторапливая, Клим.

— Не сердись, а? — Голос у Катьки совсем другой — тихий, даже жалобный немножко. — Я такая: наговорю, потом сама переживаю. Как моя мать — отцу слова не дает сказать. Перевоспитываться буду. Ну, помирились, ладно?

Она молчит минуту, ждет. Слышится грохот Бочки, то почему-то глохнувший, будто всю Бочку прикрывают ватным колпаком, то вызванивающий четко, близко, каждым камнем, каждой железкой, будто Бочка по невидимым рельсам подъезжает к нам вплотную. Хрустально струится вода по каменистому, глубоко промытому руслу Семитки, изредка в черноте леса ухаёт злобно и жутко филин. Словно боясь его, попискивает, жалуясь, неподалеку от нас какая-то маленькая птица: может, и подлетела к баксе, чтобы спастись.

— Хочешь, — говорит еще тише Катька, — Зинку возьмем? Уговорю Клима, Самосуда. Она, знаешь... — Катька заикается, будто позабыв слово, набирает побольше в себя воздуха, еле слышно вздыхает: — Твой стишок показала. Только ты не говори ей, а то она ой, как рассердится, подеремся еще... А стишок хороший, как настоящий. Мне никто таких не посвящал...

Я понемногу краснею, мне делается жарко, в горле застревают комом невыговоренные слова, и я радуюсь, что темно и ничего не замечает Катька.

— А ты правда любишь ее?

Мне кажется, что даже воздух нагрелся вокруг меня, и галька, на которой сижу, перестала быть холодной. Сейчас это почувствует Катька, пожалеет меня и замолчит или расхохочется. Нет, она шепчет:

— Скажи. Так интересно!

По отвалу поднимается Самосуд, волоча лопату; из-под его ног сыплется галька. Сделав шаг, он съезжает на полшага назад, и мне чудится, что карабкается он долго, слишком долго. Не дождавшись, я встаю, беру кирку, говорю, будто ничего не слышал, а так — продремал все это время:

— Кайлеть надо.

— Ой, правда! А я бы сидела и сидела.

— Сиди. Я вот покемарил...

Катька не поверила, конечно, она не могла представить себе, что кто-то может спать, когда она говорит (и она была права: едва ли найдется такой человек на земле), вскочила, провела ладонями по брючкам спереди и сзади, качнулась, разминая спину.

— У тебя хороший характер. Недолго сердишься. Мы еще поговорим, ладно?

Подошел Самосуд, швырнул лопату, отдышался.

— Д-другой раз н-не пойду.

— Правильно, — говорю я. — Кто завалит — пусть сам чистит. — Громко говорю, чтобы слышали Катька и Врио (он, кажется, очнулся там, на краю, берет кирку), а сам думаю: «Как в такой темноте заметишь, кто пустит вниз неразбитый ком? Если только сам признается. Просто надо всегда работать на совесть — и днем и ночью». — Слышишь, Врио? — кричу я.

— Чего там, не глухой.

Растянулись по склону, ударили кирками в притихший отвал, зашумел песок, покатились галька, заплескалась в желобах вода. Притихли все другие звуки в черноте ночи.

Работаю, думаю, теряю время. Двигается оно или навсегда остановилось? И не кончится ночь, и не будет дня? Катька все чаще присаживается на отвал, постанывает, что-то шепотом наговаривает сама себе — наверное, стыдит за слабосилие, и мне приходится прихватывать ее край: чтобы ровно ссовывалась порода, не получилось обвала, до утра прокопаемся, впустую смена пройдет. Я немного злюсь на Катьку. «Вот, взяли для красоты, любуйся на ее брючки и мордочку, а она сидеть будет», — но мне и приятно как-то: пусть знает, что помогаю по-дружески, без слов, и работаю здорово, почти как настоящий старатель; пусть не задается больше. Правда, тут же вспоминаю Самосуда — он уже сколько тянет за Врио и молчит, думаю: стал бы я помогать Катьке, если бы она не попросила у меня прощения, не поговорила со мной так «секретно-ласково»? Не знаю, трудно ответить. А может быть, и не хочу: жалко разбирать себя по косточкам, начинаешь думать, что ты самый нехороший, самый бессовестный человек на земле. Поэтому я легко нахожу новую мысль, всегда близкую, хоть и бесконечную для меня, — о золоте.

— Давай, давай-ай! — кричит протяжно от бутары Клим. Ему, наверное, тоже надоела ночь, стало скучно одному, он устал от грохота, бестолковой работы.

Зачем люди добывают золото?.. На Севере, у Охотского моря, где сейчас мои родители, живут эвенки. Такая таежная народность. Они занимаются оленеводством и рыбной ловлей. Летом съезжаются к морю, каждая семья занимает свой чум, охотятся на зверя, ловят кету, сушат юколу. При-



гоняют олени стада к побережью: здесь, на ветру и просторе, их не так мучает гнус. Живут, как на курорте. А когда похолодает, выпадет первый снег, звенки вытаскивают на берег оморочки (долбленые лодки), гасят очаги в чумах и откочевывают в горы, на свои зимние стойбища. Гонят впереди олени стада, везут заготовленные шкуры нерп и сивучей, юколу, рыбью муку для лепешек, сушеную ягоду. Зимой возле моря делать нечего: ветрено, голо, голодно. Зато в горах, в глухой тайге, всегда тишь, мягкие снега (оленим легко разгребать сугробы копытами, находить корм — мох ягель), много дров. И жилье готово, въезжай, живи... Конечно, не каждый согласится так кочевать, русским, например, никогда не привыкнуть, да и звенки теперь стали оседать в поселках, только пастухов с оленями в горы отправляют. Но все понятно для меня в их жизни: олени нужны для езды — по тайге ни лошадь, ни трактор не пройдет, мясо оленей — пища хорошая, из шкур можно сшить одежду, не хуже любой магазинной будет. Торбаза, дошку-парку я сам носил — тепло, легко. Зверь морской, рыба тоже для жизни нужны. Ничего лишнего не берут люди, ничего непонятного для себя, бестолкового не делают. И не знают, наверное, что такое золото; зачем перекапывать, перебивать из-за него целые горы, строить в тайге поселки, привозить и изнашивать дорогие машины? Расскажи — посмеялись бы: «Зачем? И так можно прожить!» Ну, допустим, это таежные люди, остальные еще до сих пор. А Васейкин (он казак, землю пахал, оружие боевое имел; казаки все когда-то из России пришли) что говорил мне о золоте: «Брезгую в руки брать... Мне надо живое что-нибудь ими держать. Для золота жалко их...» Вот и разберись во всем этом. Голова расколоться может. Многие и не разбираются: землю до последней кочки перекапывают, лишь бы деньги хорошие платили. Платят, да еще как. Лучшие продукты, хлеб без нормы, лучшие вещи. На золото можно купить что угодно, поехать куда захочешь. Золото, много золота нужно нашей стране, фронту. Об этом говорят на всех собраниях, написаны плакаты. Золото — самый сильный металл в мире. Почему?..

Но главное — надо. Это хорошо знают все. Это понятно даже нам, потому и работаем. Больше, больше... От желтого песка, зависит не только здешняя жизнь, но, оказывается, и наша победа.

— Ой, не могу больше, мальчики! — слабым голосом пропела Катька.

У меня стонут руки и ноги, кажется, вот-вот переломится, если я распрямлюсь, задеревеневшая спина, и я кайлю, боясь распрямиться, и даже передыхаю, согнувшись, уперев в грудь черенок кирки. Катька сидит в нескольких шагах от меня, волосы у нее растрепались, закрыли лицо, руки, свешенные с колен, «как плети висят», брюки и куртка перепачканы глиной. За нею работает Самосуд — у него там шумит, не смолкая, порода, а еще дальше сидит горбатеньким старичком Врио. Сидит он давно и, наверное, скоро выпится.

Уже светло. Ярко зеленеет за сопками, ширится во все небо зарево. Смолк в сумерках леса филин, перестала жаловаться птичка. Пастух, хлестко стреляя бичом, прогнал стадо белых коз по увалу за Семиткой. Скоро выглянет краешек яркого, горячего, как расплавленный желтый металл, ярила, и прольется дневной свет на всю тайгу и горы.

Надо продержаться. Надо. Кому сейчас легко? Надо заработать себе на еду, помочь тетке. Надо привыкнуть, втянуться. Дальше еще тяжелее будет. Надо...

Ко мне кто-то подходит, медленно оборачиваюсь — Самосуд и Врио.

— П-послушай его, — говорит Самосуд, держа Врио за рукав.

— Отпусти, ты чо! — Врио вырвал рукав, подтянул сползшие брюки. — Точно, видел... Чо мне врать. Сиж, потом какая-то птица пролетела, аж ветер в лицо. Смотрю — ничего. Потом на Клима смотрю. Он быстро наклонился, поднял чего-то с грохота, пошмыгал в ладошку, сунул чего-то в карман...

— Чего-ото, — перебил, скривив брезгливо губы, Самосуд. — Приснилось тебе чего-то.

Врио подпрыгнул, стараясь быть выше ростом, шмыгнул громко носом, стал боком к Самосуду, будто приготовился драться.

— Ты чо! Точно говорю. Клима самородок подобрал. Можете не верить, а я видел. — Он слегка толкнул Самосуда плечом. — Иди проверь, если смелый.

— Врешь! — крикнула Катька. Она потихоньку подошла и подслушала. — Мальчики, он врет!

— А ну вас, д-дураков... — У Врио заморгали глазки, сморщился лоб, он отвернулся, наверное, заплакал и мелкими шажками побрел к своему месту.

Несколько минут мы молчали. Даже Катька, не выговорив ни слова, озидала нас своими перепуганными глазками, боясь того, что услышала, и не желая как-нибудь рассердить нас, будто этим можно было сделать все по-прежнему, заставить забыть слова Врио. А он, Врио, уже работал у себя на краю, хорошо работал, и это совсем расстроило нас всех: значит, он не соврал, если так обиделся.

— Нет, нет, я не верю! — прошептала Катька сама себе.

Самосуд, хмыкнув, махнул рукой, отвернулся: мол, чего тут нюни разводить, все равно без разговора с Климом не обойтись — вот что главное.

— Ребята, зря мы так... — сказал я, радуясь, что мне пришло это в голову. — Зря, пожалуй. Нормально все: Клима взял самородок. И надо взять. Каждый так сделал бы: ведь его снесет водой с грохота, если не возьмешь. Самородок, как галька, не проскочит в решета.

— Е-если кр-рупный.

— Видишь — бери любой. Надежней так.

— Т-так.

— Отдаст Клима. Станет он пачкаться.

— Точно, отдаст, мальчики! А мы на него... — всполошилась, засияла Катька.

Самосуд опять махнул рукой: «Вот эти бабы прибаутки!», — сказал:

— М-молчим. Пусть сам. Д-давайте работать.

Разошлись по своим местам, начали шевелить породу кто как мог. Катька, ударив кайлом, съезжала вместе с песком и галькой на несколько метров вниз, потом медленно карабкалась к своему месту. Самосуд работал все так же упрямо, но с перебоями, как машина, у которой на исходе горючее. Врио был похож на жука, бесконечно лезущего вверх по зыбкому отвалу, — лезет, трудится всеми своими лапками, и никакого движения. Себя я не видел со стороны, поэтому ничего не мог сказать о себе, знал только, что если упаду, то проеду сразу до желобов, а там вода унесет меня к бутаре. Думал еще о Климе, заранее переживал: «А вдруг...» — и совсем делалось плохо, хоть бросай кайло, беги, закрыв глаза, куда-нибудь в лес от стыда.

— Начинай подборку-у! — крикнул Клима. Значит, шесть часов утра, скоро конец смены. У Клима были часы, дамские, он брал их у матери на ночь.

Спустились к баксам, начали подборку породы

вдоль откоса. Каждому досталось по метру в ширину и метра по три в длину. Работа тоже нелегкая. Поддеваешь совковой лопатой, сколько можешь, сваливаешь породу в желоба — очищаешь ровную площадку, чтобы потом можно было подвинуть баксы к самому обрыву, который стал слишком пологим. Сделали и это. Отвели воду, разняли желоба, снова подогнали, скрепили болтами, пустили воду. Медленно, сутулясь, не говоря ни слова, побрели к бутаре.

— Привет работникам! — сказал Клим, подняв кверху руку и сжав ее в кулак: это означало, что потрудились вполне прилично.

Бутара была уже разобрана, сукно с кучкой чистого песка лежало в лотке. На костерке кипел наш медный, до черного глянца прокопченный чайник. Мы переняли привычку у старателей — пить коллективный чай перед сменой и после. Хлеб, сахар, сливочное масло покупали в золотоскупке на специально выделенные из общего заработка купоны. Отличный, веселый чай всегда получался у нас.

Самосуд принялся промывать лоток, мы наладили бутару, откинули лопатами подальше от нее «отработанную» гальку; Катька вынула из рюкзака эмалированные кружки, постелила на траве газету, нарезала большими ломтями белый — его еще называли здесь «золотой» — хлеб, положила куски сахара, поставила поллитровую банку подтаявшего масла. «Надо было поставить масло в воду», — подумал я, а Врио сказал, жалобно уставившись на еду:

— Закусим, что ли?

— Подожди. — Катька кивнула на Самосу́да и Клима. Они колдовали над баночкой из-под монпансье, капали в нее ртуть.

Просушили маленький, тускло-желтый песочек, взвесили.

— Почти пять, — сказал Клим.

— Хо-хорошо, — отозвался не очень весело Самосуд.

Сели вокруг газеты, взяли горячие кружки с густым, очень сладким чаем, в нем уже растаяли большие куски сахара, брошенные Катькой. Она же намазала маслом ломти хлеба. Климу подали первому — как бригадир, себе — последней. Дружно, с причмокиванием, как всегда, начали поглощать вкуснейший кипяток, есть хлеб.

Но веселился и болтал сегодня лишь Врио: такой он человек — или плачет, или смеется. Я даже подумал, не наболтал ли он на Клима. Присмотрелся — нет, и Врио не так сегодня веселится: все поглядывает исподтишка в сторону бригадира, суется слишком уж заметно. Просто не может Врио не радоваться, когда пьет сладкий чай и ест хлеб с маслом, — трудная у него жизнь в семье.

Катька отхлебывала частыми, маленькими глотками, хлеб ее лежал на краю газеты ненадкусанный; Самосуд отправлял ломоть внутрь себя, кажется, вовсе не жуя, в какой-то тупой задумчивости, по лбу и щекам у него текли грязные ручейки пота; я, не отрываясь, смотрел в газету — ничего не видел и смотрел: заголовки, большие и маленькие буквы то разбегались мурашками, как вспугнутые, то выстраивались в шеренги и колонки, плотные и черные, и я не мог разобрать ни слова.

— Чего надулись? — спросил Клим. — Расклеились, что ли? Бывает. А сегодня хорошо. Плясать можно.

Мне показалось: вот сейчас он вытащит из кармана самородок и преподнесет его нам всем на вытянутой ладони.

— Так бы каждый день, — сказал Клим.

Голос у него был спокойный, неторопливый, как и полагается бригадир, и слегка пренебрежитель-

ный — как и полагается везучему, красивому, всегдашнему отличнику, любимчику учителей Климу Сорину. Неужели так «железно» можно вести себя, укрыв самородок? Какие надо иметь нервы!

— Л-ладно, — выговорил неизвестно к чему Самосуд, отшвырнул кружку, встал.

Я зажмурил глаза: сейчас будет драка. Самосуд ударит Клима... Но прошла минута — было тихо. Я открыл глаза и резко, четко увидел газету, читал:

«От Советского Информбюро

Группа капитана Шелестова, длительное время оперировавшая в тылу врага на Западном направлении фронта, уничтожила свыше 3 000 немецких солдат и офицеров, 32 танка и много автомашин. Только на дорогах Витебск — Смоленск и Минск — Смоленск группа разгромила 17 немецких транспортов. В районе В. был разбит батальон «СС» и захвачено 13 станковых пулеметов. Группа капитана Шелестова с боем прорвалась через линию фронта в расположение наших частей».

Некоторое время я вдумывался в заметку, перечитывал, прикидывал, сколько в батальоне «СС» солдат и офицеров, где этот «район В.», а потом газета зашуршала, смялась и поехала куда-то в сторону; повел за нею взглядом — Катька собирала кружки, прятала в рюкзак хлеб, чай-заварку, сахар. Самосуд, уложив в ящик, похожий на ларь, кирки и лопаты, навешивал большой амбарный замок. Врио всухомятку дожевывал корку хлеба. Клим стоял чуть поодаль, сонливо ждал, пока все соберутся.

— Ну, пошли, — наконец скомандовал он.

Утро было холодноватое, чистое, в небо больно было глядеть — так сияла там голубизна; тропа с вытоптанной гладкой галькой была сырая от росы, мягко похрупывала; пахло родниковой водой, хвоей лиственниц, багульником; и вокруг были горы: дальние в зелено-бурых лохматых шкурах тайги; ближние — в мелком начесе багульника; а эти, что рядом, — отвалы (горы, насыпанные людьми). Тропа петляет, течет, как ручей, несет нас к поселку.

Я думаю: «Какое отличное утро!», но не чувствую большой радости. С тех пор, как начал работать на баксе и уставать до помутнения в голове, я разучился радоваться росе, запахам, утренним сопкам: не оставалось на это силы и желания.

Сегодня тем более. Сегодня — лучше бы никогда не было этого «сегодня». Казалось, и утро, такое свежее и чистое, нарочно придумано для нас: чтобы яснее высветить каждого, чтобы боялись мы глянуть друг другу в глаза. Как хорошо бы идти домой в сумерках!

Я ждал: вот сейчас, за тем горбатым отвалом, Клим остановится, скажет: «Ну, вот что, ребята...» Или за той двустолой древней лиственницей, или... за тем домом, где живет инженер. Нет, вот сейчас — мы остановились у школьного забора, неподалеку от конторы-кассы, — сейчас Клим засмеется, скажет: «Ох, и разыграл я вас!..» Да, он полез в карман, пошуровал там и вынул белый пакетик, сложенный аптечным порошком.

Катька отступила на шаг, будто испугалась, нахмурилась, отчего глазницы у нее сделались темными, незрячими пятнами, медленно, как к огню, потянула руку к руке Клима.

— Бери, что ли!

Катька быстро схватила пакетик, будто смахнула его с ладони Клима, повернулась и мелкими шажками, суетливо побежала к конторе. Когда спина ее скрылась в двери, Врио сказал:

— Я пошел...

— Постой,— схватил его за рукав Самосуд. Он, часто затягиваясь, докуривал папиросу, отвернувшись к забору, и чуть согнутая шея, уши у него понемногу меняли цвет, как бы оживая, розовели.

Я понял: сейчас произойдет то самое... Дальше терпеть нельзя: через несколько минут разойдемся, Клим захлопнет за собой калитку своего двора, и потом доказывай, говори ему, что он украл самородок, жалуйся кому хочешь — никакой суд не рассудит. Вот и Врио струсил — значит, все, конец. Дальше нельзя. И нельзя, чтобы ушел Врио.

Самосуд, не глядя, швырнул окурок, подтолкнул вялого Врио, тот попятился и стал слева от Клима; кивнул мне — я стал справа, чтобы не дать Климу шмыгнуть на школьный двор. Самосуд, отгородив его от улицы, шагнул, готовясь прижать к забору.

— Вы что, ребя?... — попятился Клим, быстро оглядывая нас, морща лоб, будто соображая: «Что с ними случилось?»

— Выкладывай! — хрипло, одышливо сказал Самосуд.

— Чего это?

— Сам знаешь!

— А-а.— Клим усмехнулся, едко скривив тонкие, четкие губы.— Так бы и сказали... Вот! — Он сунул в карман руку, вынул сжатый кулак, протянул его к нам, распрямил пальцы: на ладони лежал округлый, пестренький, как воробьиное яйцо, камешек.— Сестренке взял, собирает такие...

— Камень? — спросил тихо Самосуд.

— На, поддержи.

— Врет! — пискнул, отпрыгивая в сторону, Врио.

Клим поднял кверху руки, придвинулся:

— Обыщите.

Я глянул на Самосуда, чувствуя, что мне делается стыдно и сам я ни за что не полезу в чужой карман; когда Самосуд посмотрел на меня, я помотал головой. Он вздохнул, соглашаясь и как бы сваливая с себя тяжкий груз, выговорил:

— Л-ладно.

— Нет, вы верите? — упрямо держал вверх руки Клим.

— Верим,— сказал я.

— Другое дело! — Клим пренебрежительно, повсегдашнему потрянул головой, откинув со лба чуб.— А теперь глядите.— Он так же быстро сунул руку в другой карман, вынул стиснутый кулак и разжал его перед нами: на ладони лежал приплюснутый, мутноватый, с частыми темными оспинками кусочек желтого металла.

Мне показалось — черная туча прикрыла солнце.

— Ты-ты взял? — наконец смог выдать из себя Самосуд.

Клим опустил голову, как-то внезапно сник — нельзя было поверить, что это он, этот же самый Клим несколькими минутами раньше нагло ватно усмехался нам,— негромко сказал:

— Забыл отдать, ребята.

10

Я работал во дворе: пилил ножовкой доски, выдирал щипцами из забора старые, ненужные гвозди и сколачивал сбоку курятника «дом» для козы. Получалось не очень чтобы хорошо: плотничал я в первый раз, но все же, особенно издали, была полная видимость «дома». И тетка, когда выходила на крыльцо, вполне серьезно нахваливала

меня. Потом даже принесла мне ломоть хлеба, посыпанный солью.

Коза лежала на клоке сена, поскрипывая зубами, жуя жвачку. Была она лохматая, бело-рыжая, одно-рогая. И с никудышным характером. В первую же неделю пастух «отчислил» ее из стада. «Тигра», — сказал он и показал порванную штанину. По утрам тетка выводила ее за поселок, привязывала к железному стержню, ввинченному в землю, а вечером приходилось мне сопровождать ее домой. Я выламывал прут потолка, пускал подлиннее поводок, но все равно коза, изловчившись, поддевала меня своим старым, корявым рогом. Отношения между нами были самые препротивные.

И все же я строил козе «дом». Во-первых, козу приказал купить Васейкин в письме с фронта (хоть и называл раньше коз «чертова скотинка», презирал за вредность и возиться с ними не хотел); во-вторых, ребятишкам действительно нужно было молоко, потому что других продуктов становилось все меньше, а корову завести и совсем немыслимо: травы по распадам мало, да и плохая она здесь. Коза оказалась молочной, давала почти четыре литра. Нам сразу стало легче жить.

Тетка все прощала козе, оставляла ей корочки от своей пайки хлеба, дала козе имя «Веточка» — когда-то давно, в станице еще, у них была корова с таким нежным именем. Коза, наверное, знала это — она была старая, хитрая — и еще больше невзлюбила меня: пырляла, бодала при каждом удобном случае. Сегодня, когда я вышел во двор, она подкралась потихоньку сзади и так поддала, что я присел, схватившись рукой за забор. Тетка рассмеялась. Я пнул козу в бок, тетка очень обиделась, сказала: «Нельзя, перестанет молочко давать». Однако злость у меня не прошла («Какое бессовестное животное!»), и я, вспомнив, что старик татарин, у которого тетка купила козу, кликал ее не то «Харза» не то «Шагарза», назвал ее «Гюрза».

Навесил дверцу на «козий дом», вколотил последний гвоздь в крышу — пусть будет навечно! — сказал тетке, пригорюнившейся на крыльце:

— Готово. Можете вводить принцессу.

Тетка не улыбнулась, промолчала, будто и на самом деле Веточка-Гюрза — принцесса, пошла к козе, отвязала, почесала у ней за ухом, повела к сараю. Я отодвинулся, но все-таки Гюрза сделала сердитый кивок в мою сторону и охотно, даже весело влезла в свой дом. Ну и скотинка!

Я сел на крыльцо отдохнуть, просушить потную голову, посмотреть, как опускается к сопкам, все больше круглея, солнце. Вернулась, выговорив козе все самые нежные слова, тетка, примостилась рядом.

— Теперь ей ой как хорошо!

— Может, добрая станет?

— Не. Характер такой. Как человек — не переменится. Да то и хорошо: чужие не подоят, не угонят.

— Еще бы — пастуха ободрала.

— Ничего. Как-нибудь сами пропасем. Зато молочко-то у Веточки — сливки пожирнее бывают.

Это правда: молоко у Гюрзы маслянистое, желтоватое, будто слегка топленое; кружку выпьешь — полдня ходи, о еде не думай. Теперь коз завели в каждом дворе, да по несколько штук, и называли их «военные коровки». Удивительно, у такой вредной скотинки и такое питательное, прямо-таки спасительное молоко по теперешнему трудному времени!

— Наготовим веников, засушим. На всю зимушку еда будет ей сытная.

Я думаю, что рубить березовые веники, таскать из лесу придется мне: мужская работа. А их надо штук пятьсот, если больше — совсем хорошо. Просушить, развесить на чердаке, чтобы не попрели.

— К весне козлятки будут.

Становилось прохладно, и сгущался, синел воздух, будто оттого, что остывал. Солнце, не дойдя к сопкам, попало в сизое перистое облако, растеклось, расплавилось по нему, и теперь там лишь слегка, нежно розовело небо, как у художника на акварельной картине.

За огородом мальчишки играли в войну, строчили деревянными трещотками, бегали, стучали палками-саблями. Один, видно, «командир», кричал другому визгливо и сердито:

— Кто тебя на фронт приглашал?

И вдруг где-то во втором или третьем дворе резко вскрикнула и зарыдала женщина. Голос ее поднялся до самой высокой ноты, истончился, на секунду прервался, а потом, родившись в еле слышимом хрипе, снова медленно полез вверх, звеня и переливаясь. Женщина причитала, что-то длинно выпевала-выговаривала. Но ни одного слова нельзя было понять.

Тетка забеспокоилась, поправила платок, встала.

— Пойду-ка узнаю.

Вскоре к голосу женщины прибавились другие голоса, тоже женские, плачущие. Один, старушечий, коротко часто выдыхал:

— О-ё-ёй, милочка-а...

Стекла домов еще розово светились от неба и, перекрещенные полосками бумаги, казались битыми, окровавленными осколками, чудом не выпадающими из рам. Придавленно, как из какого-то иного мира, слышался грохот Бочки, вскрики «кукушек» в разрезе. Непроглядно чернела тайга.

Вернулась тетка. Шмыгая носом, держа у глаз кончики платка, сказала:

— Мужа у нее убили.

— Убили?..

Тетка всхлипнула, прикрыла лицо ладонями.

Я хотел переспросить: «Как это убили?.. Кто?.. Почему убили?»

Но вдруг понял: значит, убили. Война. На войне убивают. Первый главстановский погиб.

Женщина голосила. И казалось, оттого так быстро смеркалось вокруг.

Я думал о войне. Какая она? Раньше я представлял ее себе, как показывают в кино и рисуют на картинах: скачет конница, идут строем танки, палят орудия, бегут со штыками наперевес бойцы; взрывы бомб, снарядов; это ничуть не было страшно, а даже красиво, потому что рискованно и отважно. И если в сражении падали бойцы, то ничуть не верилось в их смерть: полежат, отдохнут, еще стремительней побегут на врага. Ну как в мальчишеской игре, хотя недавно был случай: мальчишки назвали одного Гитлером, поймали в плен и так разозлились, что едва не повесили его на чердаке. Конечно, всякое может произойти, это я понимал. Но чтобы смерть по-настоящему... Такие страшные рыдания... Можно подумать, что война не где-то за тысячи километров от нас, а рядом, за теми черными сопками, прислушайся — орудийный гул донесется.

Тетка ушла в дом зажигать лампу, кормить ребятишек: они уже передрались, ревели там в два голоса.

Я смотрел на сопки, тайгу, на жутковатую, пожираемую тьмой красноту неба. И представилась мне война тем страхом и непонятностью, которые я пе-

режил, когда бежал вместе с Климом с двугорбой сопки. Так же рушится земля, грохочут камни, из-за черноты не видно неба; самолеты — как черные птицы; танки — как привидения; и смерть, лохматая, костлявая, гоняется в темноте за солдатами. А убитый, тот, о котором голосит в третьем дворе женщина, лежит, раскинув руки и ноги, в душном багульнике, как московский командировочный...

Стукнула калитка, кто-то вошел с улицы, идет к крыльцу.

— П-привет!

— А-а, ты...

Самосуд потрогал рукой ступеньку, сел. Он был в новеньких брючках, белой рубашке: купил на собственные, заработанные. А я пока не могу — отдал свои боны тетке на продукты; как-нибудь потом.

— Ч-чего сидишь?

— Так. Вон козе дом сколотил.

— Надо.

— Само собой.

— К-как баба ревет.

— Скоро перестанет. Силы кончатся.

Женщина уже не рыдала, не голосила, а длинно вскрикивала, как бы пугаясь каждую минуту того, что вдруг вспоминала, чего никак не могла забыть. Соседки разными, всхлипывающими, повизгивающими голосами успокаивали, отговаривали, будто усыпляли ее.

— Как да-дальше будем?

— Надо подумать...

Да, нам надо подумать, решить. Вот что произошло в нашу последнюю ночную смену. Как обычно, собрались на баксе, вскипятили чай, поужинали перед работой. Но на этот раз невесело, без лишних разговоров. А потом Клим взял кирку и пошел к отвалу: не доверяете, мол, ладно, становитесь сами на бутару. Отговаривать его не стали: человек упрямый, еще больше рассердится, упрется; на бутару влез Самосуд, начали работать. Все вроде пошло нормально, обиделся на нас Клим, но и сам виноват, нечего других дурачить; переживет, переболеет, главное, вот трудимся вместе, бригада сохранилась. Катке мы, конечно, сказали просто: пошутил Клим и отдал самородок. Она обрадовалась, даже расспрашивать не стала. И когда Клим взял кирку и двинулся к отвалу, не удивилась: решила, наверное, что хочет рядом с нею побыть. Ночь прошла вполне нормально, хоть и немножко скучновато. А утром, промыв золото и взвесив, ахнули: оказалось, что металла почти девять граммов. Откуда? Почему сразу столько? Не может быть!

Минуту или две я ничего не мог понять, но потом, взглядевшись в Самосуда и заметив его потерянность, догадался: он всыпал в бутару то наше золото — три грамма двести миллиграммов. Надоело оно ему. Да тут еще Клим «пошутил» с самородком. Решил избавиться, разделить на всех, по-братски. Главное ведь, чтобы на душе гадко не было.

Правильно сделал. Но зачем так сразу: бух — и у всех глаза на лоб. Откуда, почему? И Клим вон заледенел, лицо все пятнистым сделалось, губы нервно передергиваются. Получается вроде — всегда воровал Клим Сорин золото. А стал на бутару Самосуд — как дождик золотой с неба. Но ведь каждому здешнему дураку понятно: самородок еще можно подобрать, а мелочь даже не увидишь на грохоте бутары. И все-таки почему, как?

Самосуд не меньше других растерялся (понял, что сглупил), от волнения он долго не мог ничего выговорить, мычал, заикался наконец мы услышали:

«Р-ребя, самородок сдадим в фонд обороны, а?.. Т-такая удача. Нам хватит». Я поторопился сказать, что это здорово придумал Самосуд — сдать в фонд обороны, все сдают, и нам надо помочь фронту. Врио еле слышно промямлил: «Может, потом, а? Когда подзаработаем?..» Я опять сказал, что нечего ждать, война не ждет, мне почему-то очень хотелось избавиться хотя бы от самородка: казалось, сдадим — и все наладится. Меня поддержала Катька: «Правильно, мальчики, сдадим!» (Ей, при отце и матери, и думать не о чем было). Клим кивнул, соглашаясь, но ничего не сказал. Он присматривался к Самосуду, а тот, радуясь, что так легко «вывернулся», уж очень много говорил и суетился. «Б-бывает, т-точно бывает, — выкрикивал Самосуд, — р-раз и поедет. Н-на жилу н-напоролись!» «Какая тебе жила в отвале?» — нудно, ничего не понимая, ныл Врио (ему жаль до слез было самородка). «Б-бывает!» — твердил Самосуд.

Пришли в поселок. Самородок сдали в фонд обороны, получили особую квитанцию на память: в ней были записаны наши фамилии и имена, нам сказали, чтобы эту квитанцию мы отдали потом в школу для учета.

На свой металл получили десять бон. Одна бона — 950 миллиграммов золота; досталось каждому по две — отличный заработок! — и пошли по дворам. Вернее, быстренько разбежались, потому что неловкость, молчание, какие-то жалкие словечки измучили нас. Думали: сойдемся потом, побыв в одиночку, и будет все хорошо...

— Он все это. Из-за него, — говорит Самосуд. — Взял... и нас в дураках оставил. Хитрый. А еще Клим называется. Как Ворошилов.

— Ты тоже номерок устроил.

— Эт-то чего. Главное...

— Теперь-то нам... — остановил я Самосуда, чтобы он не наговорил чего-нибудь лишнего —...теперь-то нам зачем гадать, как бабкам. Надо помириться. Работать же надо.

— Уйдет — н-не жалко.

А мне сделалось жалко. Не так самого Клим, нет. Жалко нам будет всем, если он уйдет. Он настоящий работник. И хоть отличник и из семьи служащих — мог бы и дома сидеть, — работает, не жалея себя, и дружить умеет. Другого такого нелегко найти.

Ну, схватил самородок, не удержался в горячке — чего не сделаешь от бэстолковой работы, когда шесть часов подряд ворочаешь лопатой породу, мокнешь, гложнешь от грохота гальки, шума воды, а тут блеснуло яркое, как желтым глазом подмигнуло; схватил, бросил в карман. Лежит, тяжеленький, теплый, гладенький, будто живое что-то. Будто стал совсем другим человеком, когда сунул его в карман, — значительным, ростом повыше, весом побольше. Хочется придержать его у себя, поносить, прощупать руками (кого и когда не смущало золото: за него гибли, шли на голод и смерть, убивали). А Клим отдал бы самородок, через день-два отдал бы. Просто трудно сразу отдать — такой это металл. Он не знал, конечно, что за ним подследили, ну и рассердился потом — не привык, чтобы с ним так обходились, камень сначала подсунул: вот, мол, все равно вас, дурачков, обману! Убедились? Теперь смотрите! Как в театре разыграл. Обидно. Но такой он человек — всегда выше других хочет быть. Может, это и хорошо? Может, мы завидуем ему, особенно Самосуд?

— Нет, жалко, — говорю я. — Нельзя, чтобы Клим

ушел. Надо плюнуть, и все. Отдал же он самородок. Отдал же, а мог не отдать.

— Крутил, к-ак Чарли Чаплин.

— А мы?.. Мы тоже держали у себя не хуже Федьки.

— Другое дело.

— Дело, не дело! — ткнул я локтем Самосуда. — Теперь-то как? Клим просто никак нельзя оставить: вора из него сделали. Надо придумывать что-то.

— Чего тут!

— Нет, подумай. Давай подумаем.

Было тихо, лишь погромыхивала в отдалении, шумела водой Бочка, и это было похоже на бесконечно идущий по реке, шипящий паром колесный пароход. Женщина утихла, затух ее голос. Как гаснет, догорев, свеча. Как затухают утром звезды. Делалось сонно, туманно в поселке. Но надо было думать. А что я мог придумать? Самое лучшее — рассказать о нашем золоте ребятам. Посмеяться и забыть. Однако согласится ли Самосуд? Едва ли. Он ведь все время соревнуется с Климом — кто сильнее, смекалистей, кого больше ребята слушаются. Как два упрямых козла.

— Ну? — подтолкнул я Самосуда, боясь, что он уснет.

— Чего ну? М-может, расскажем?..

— Правда?

— Чего там!

Я подскочил, сделал выпад, ударил Самосуда в плечо, он едва не повалился на крыльцо.

— Молодца, Самосуд! Дай я тебя поцелую!

— Пшел ты!

— Здорово! А я трусил тебе сказать. Тебя наградить надо. Чем бы тебя наградить?..

Я вспомнил о пачке недокурной васейкинской махорки, пошел потихоньку в дом, там уже все спали, вынес махорку, клок газеты, спички.

— Закурим?

— Д-давай.

Самосуд скрутил толстую сигарку, послонявил бумагу, чиркнул спичкой и быстро зажал в ладонях огонек, — и от ветра и от посторонних глаз, — прикурил, сильно пыхая, потрескивая табаком.

Он покурил. Я помолчал.

— Пойду, — сказал он, — перед сменой посплю.

— Я тоже.

Не зажигая света, выпил стакан козьего молока, решил про себя: все-таки очень вкусное, литр выпить можно, — лег и сразу уснул.

И приснилась мне сначала коза Веточка-Гюрза. Была она огромная, величиной с кучевое облако, летала по небу, над тайгой, над сопками, будто бы паслась, а небо и в самом деле все зеленой хорошей травой поросло. Блеет коза, и гром по всему простору идет... Потом тетка появляется. «Где Веточка?» — спрашивает. «Вон Гюрза», — говорю я. Тетка бросает веревку-аркан, как на севере оленей ловят, ловит облако-козу, подтягивает к дому, и из Веточки-Гюрзы дождиком льется молоко. Подставляем ведра, тазы, бочки. А молоко льется. Прибегают соседи, подставляют ведра, кастрюли, корыта. А молоко льется. Коза блеет — гром по всему пространству. Молоко потекло реками, затопляет сопки, тайгу, в нем утонула, захлебнулась Бочка. Кричат люди, пьют, захлебываются. Голосит женщина: «О-ё-ё-й, милочка-а!..» Дым, гарь, война на двугорбой сопке. Кричит Самосуд: «Крути, к-как Чарли Чаплин!» А коза уже не облако, просто коза стоит у сарая, однорогая, лохматая, трясет старческой бородкой, негромко говорит человеческим голосом: «Ме-бе-ме-е... Веников запаси!»

Мы не рассказали Климу — он не пришел на работу. Не явилась и Катя. Отстояли на баке-се втроем. Золото пришлось сдать мне.

Отдежурили еще четыре ночи — Клима и Катки не было. Решили: значит, совсем ушли из бригады.

Было воскресенье. До обеда я спал — это теперь обычная моя ночь, — встал, вышел во двор к колодцу, вылил ведро воды на голову и грудь — научился такой зарядке у Самосуда, съел, что оставила на кухне тетка: пайку хлеба, миску пшенной каши, с постным маслом, два помидора, — и собрался идти в лес рубить березовые веники.

За калиткой увидел: идут по улице Врио и Самосуд, подворачивают к моему дому. У них топоры, Врио перекинул через плечо солдатскую флягу в брезентовом чехле (наверное, еще отцовская), Самосуд машет рукой.

— П-подожди!

Подходят вразвалочку. В рабочих рубашках и брюках, с закатанными рукавами.

— Куда это вы?

— К тебе. Помогать пойдём, — сказал Самосуд, а Врио скороговорочкой, краснея оттого, что ему приятно говорить, разъяснил:

— Ну, сошлись мы, в шашки сыграли, так себе болтаем, я ему сортир устроил, он говорит: пойдём тебе поможем, я ему: пойдём. Ну, решили: сначала тебе пятьсот веников, потом мне полтыщи, потом Самосуду. Мирowo, а?

— Мирowo, — поддакнул я, радуясь такой подмоге. — Еще бы! У тебя ж — голова! — И во весь размах хлопнул Врио по плечу.

— У него тоже, — сказал он, глядя на Самосуда, поглаживая рукой плечо.

— У него сено, чудак!

— Ой, правда... Я позабыл...

Самосуд молчал, усмехался, как престарелый мужичок-леший.

У Самосудов была корова, держали они ее давно — хорошая, лучшая корова на Главстане, и, конечно, уже накопили, сметали в зароды сено. Отец позаботился. Нашему Самосуду, дружку, мы можем помочь не очень много: почистить вместе стайку, попилить дров на зиму. Словом, как-нибудь отплатим.

— Шагом арш! — скомандовал я. — Ать-два, ать-два!

Выстроились в затылок друг другу, по тропинке, между огородами, двинулись вниз, к Семитке. Шли в ногу, с топорами на плечах. Врио девчоночьим голосом затянул:

На войне нужна винтовка,
А еще нужна сноровка...

Ему, ничуть не заикаясь, грубовато и хорошо, почти что по-солдатски, стал помогать Самосуд.

Перебрали Семитку, выбрали склон с мелким густым березняком, принялись махать топорами. Веселое это дело! Лезвия топоров — «дзинь-дзинь!», будто птицы цвиркают, стебельки валяются рядами, как трава, и пахнет от них горько и бражно, перестоявшимся березовым соком. Вверху птичий голоса, настоящие, и гушина ольховника, в котором застрял и перегрелся до банного пара воздух. Душно, потно, горячо. А топоры чисто, прохладно: «дзинь-дзинь!» — и это напоминает кузницу, цокот копыт по камням, покос и... немножко войну; будто рубишь, рубишь, сечешь чьи-то головы... Даже злость появляется, счастливо на душе делается за свою работу.

Но, конечно, думаешь про себя: «Хорошо, что без крови, хорошо, что пахнет березовым соком».

Звенят топоры, и речка звенит обкатанной галькой, и курлыкают, цвиркают, посвистывают, звенят птицы; и звонким голубым стеклом позванивает небо; и сопки скатывают по склонам эхо, как звонкие мячики; и запах багульника звенит в теплом воздухе тонко и чисто.

— Бей фашиста! — играет в войну Врио.

— Кто штаны стирать будет? — спрашивает серьезно Самосуд. — Матери-то некогда.

— Р-руби! — звенит голосом Врио.

На песке возле речки вырастает ворох нарубленного березняка. Листья, будто обваренные кипятком, быстро блекнут и обвисают на стебельках.

— Хватит! — кричу я. — Давайте вязать.

Садимся вокруг вороха, начинаем вязать веники. Эта работа менее интересная, но легкая — почти полный отдых. Вяжем молодыми тальниковыми прутьями: веревки теперь дефицит, белье бабам не на чем вешать; сначала у нас некрасиво получается, потом наловчились, особенно Самосуд — у него сильные, цепкие руки, концы прутьев зубами откусывает; веники складываем отдельно, считаем. Говорим кто о чем: про войну, про последний документальный кинофильм «Смерть немецким оккупантам!», про школу — вчера нас собрали и объявили, что учиться не будем до октября.

Мы стояли в толпе на школьном дворе, шумели, ожидая директора. Он появился на крыльце, маленький, толстый, по-всегдашнему суетливый, с красным от жары лицом. Запустил под широкий ремень пальцы, отправил назад складки гимнастерки, выпятив круглый живот, крикнул: «Дорогие учащиеся! Немецко-фашистские захватчики, потеряв голову от первых успехов, зверски рвутся к столице нашей Родины... В этот ответственный момент...» Он сказал дальше, что каждый учащийся должен не меньше месяца отработать в колхозе «на картошке», если не работает «на золоте», и этим внести посильный вклад в фонд обороны. Все были согласны, даже крикнули «ура», тем более что до учебы целый месяц, а там всякое может случиться: вдруг фашисты бомбить начнут! Поэтому, наверное, кто-то предложил: «Выкопаем второе бомбоубежище!» Директор рассердился, вытер платком лицо, высморкался и сказал, что старшеклассников скоро будут призывать в ФЗО. На этом собрание закрылось. Малыши начали бегать по двору, прятаться в черную трубу бомбоубежища. Мы тоже заглянули. Пахло погребом, между тоненькими бревнышками потолка просыпалась глина, кое-где обвалились стены. Стало смешно: от каких это игрушечных бомб соорудили защиту? Теперь-то все уже знали, что такое война.

— М-может, Клим в колхоз уехал? — спросил Самосуд.

— Не-е, — замотал головой Врио. — Не уехал.

— Видел, что ли?

— Ага.

— Где эт-то?

Врио замолчал, стиснув тоненькие губы, нахмурил бровки. Это означало: тайна, не могу сказать.

— Ну? — буркнул почти сердито Самосуд.

— Прибьет он меня.

— Трусишка. А еще друг называется. В бригаде!..

— Да я чего! Я нет!..

— Давай, Гена, — сказал я, назвав Врио настоящим именем (на него это очень сильно действовало). — Не бойся.

Он еще немного посидел нахмуренный, с жалобно стиснутыми губами, будто ожидая какого-то большого несчастья, потом, глянув на речку, в кусты, при-

слушался и шепотом, быстро заговорил:

— Никому, ладно?.. Ну, я пошел к нему книжку взять... Ну, эту, «Айвенго». Зинка Климу ее дала, а потом мне обещала... Ну, стучу в дверь. Никто не отвечает. Нет, думаю, никого, а замок не висит. Не может быть, думаю. Пошел к окошку, залез на завалинку. Глянул потихоньку... А там... Клим и Катька сидят на диване. Целуются. Ну, я бежать, думал, кто за мной гонится... Никому, ребята, тайна, ага?

Несколько минут мы безмолвно вязали веники. Вот тебе и на! Вот это новость! Не знаю, что переживал Самосуд, а у меня аж в груди, где-то под сердцем заклокотало. Отчего? Трудно ответить. От какого-то волнения, обиды. Будто меня обманули, нехорошо обошлись со мной. А может быть, и не то. Наверное, не то... Мне всегда нравился Клим Сорин, я охотно дружил с ним, подражал ему. И завидовал кое-чему. Но, конечно, не думал, что мы такие разные. И вот... Да он же совсем взрослый против меня и никогда не дружил со мной по-настоящему, просто так возился, как с младшим братишкой. Еще потому, что командовать любит. А я серьезно, до последнего слова... Нет, не обидно мне (обида — пустяки!), завидую, наверное, Климу. Не потому, что он целует Катьку, а потому, что он легко, незаметно ушел от нас; потому, что ему ничего не стоит взять самородок, подсунуть нам камень, отдать самородок, бросить бригаду, целовать девчонок. Он был где-то дальше нас, выше, в какой-то уже другой, почти взрослой жизни.

— Эх, ты, Рио-де-Жанейро! — наконец, смеясь, говорил Самосуд, но смех был не очень естественный — так, лишь бы не молчать.

— Вру, да? Да? Скажи? — по-петушиному вскочил Врио, выпятил острую грудку, сунул руки в карманы. — Вот! — Он выхватил из кармана руку, провел ребром ладони по горлу.

Самосуд хотел еще что-то подкинуть, чтобы больше разогреть Врио, уже мял на языке, как бы прожевывая жесткие слова, но я сказал:

— Ладно вам дурачиться.

Они замолчали. Самосуд принялся насвистывать протяжно и невесело трех танкистов, а Врио, быстро позабыв свою обиду, швырял, подпрыгивая, плоские камешки в речку и считал «блины». Потом он отвинтил флягу, жадно присосался к ней.

— О-оставь! — приказал Самосуд. Взял флягу, сделал два крупных, звучных глотка, передал мне. Хлебнул — оказалось, что это компот из сухофруктов, хоть и жидкий, однако вполне компот. Допил.

Наконец вяло и неохотно (надоела нудная работенка) довязали веники. Вырубили длинные палки, нанизали на них веники: нам с Самосудом по пятнадцать, Врио — десять. И, искупавшись в родниковой семиткинской воде, пошли в поселок. Не пели, почти не говорили (дорога круто взбиралась в гору, была скользкая, галечниковая), отдыхая, хватали воздуха ртами, как мужики в предбаннике, после парной. Во дворе сбросили веники в кучу у крыльца, и к нам ринулась, наострив рог, «благодарная» Веточка-Гюрза.

Получил от матери письмо.

«Дорогой сыночек, нашего папу забрали на войну, остались мы одни. Одни-одинешеньки. И как будем жить дальше, не знаем. Жить-то, конечно, можно, продукты есть, ягодой запаслись, эвенки мясо-оленину продают, рыбу тоже можно купить. Насчет этого пока ничего. Как же мы без папы-то будем жить?

Дрова он нам заготовил, будто бы знал, что заберут. Плакали мы, ревмя ревели. И за тебя тоже. Как ты там живешь без мамы и папы, кормят ли тебя, одевают? А может, ты простудился на своей этой баксе, болеешь? Ты там один, мы здесь одни. И что это такая за жизнь! Откуда взялся фашист проклятый на нашу голову. Ну ладно, как-нибудь победим его. А ты одевайся потеплее, шарфом шею заматывай. Съедай всю свою пайку хлеба. И учись хорошо — папа тебе так приказал. А мы здесь ничего, ты сильно не беспокойся, как-нибудь проживем, продукты есть. И тебе кое-чего вышлем. Ты учись, старайся. Случится, не захочешь если — домой приезжай, на работу устройшься рыбаком или к эвенкам в колхоз, или дома будешь помогать по хозяйству. Не вздумай, хуже всего, пить вино. Заработаешь сколько-то на золоте, истрать на питание, а также купи катанки. Слушайся тетку еще. Папа-то теперь наш далеко, с фашистами воюет...»

И опять про папу, про пайку хлеба, про катанки. Письмо длинное, на четырех тетрадных листах. Под конец я уже ничего не понимал, да и не хотел понимать. Главное — отца взяли, и он сейчас едет где-то по стране на фронт. Как он там будет воевать? Ему бы коня дали, саблю — он казак. В пехоту не захочет, казаку стыдно в пехоте. А вообще отец не воинственный человек, просто невозможно представить его в военной форме (в войске казачьем он служил, когда меня, и на свете еще не было). Он даже на гулянках ни с кем не дрался, материться тоже не умел. В свободное время книги разные читал.

Может быть, они встретятся там, на фронте, с Васейкиным? Покурят в окопе, вспомнят мирные годы. Как прекрасно жилось без войны: пили кружками брагу, ели всего досыта, ребятишек своих растили, хотели, чтобы они все инженерами стали или начальниками. Потом выпьют по сто граммов водки — говорят, бойцам перед атакой дают — и пойдут с винтовками на фрицев. А может, на конях боевых поскачут, если в конницу попали, это даже лучше. На коне легче и красивей. И конь казаку «на роду записан».

Война, наверное, будет долгая, очень долгая. Все готовятся к очень долгой войне. Это сначала думали, что она быстро кончится. Теперь смешно так думать. Если война продлится несколько лет, то мы, теперешние пацаны, вырастем и тоже пойдем воевать. И я увижу там своего отца. Только бы он не погиб до этого времени.

Не могу сидеть дома, когда о чем-нибудь тяжело думаю, за кого-нибудь переживаю или обидит меня кто-нибудь. Тесно мне бывает дома, жутко наедине с собой. Выхожу на улицу, бреду куда-нибудь. Лишь бы не сидеть, лишь бы меньше думать.

Иду мимо домсв, заборов. Вечер тихий, прохладный. С тополей падают листья, дорога в желтых пятнашках, будто награждают ее деревья золотыми медалями. Желтеют сопки, льдисто тянет из распадков. Далеко-далеко, под самым небом, белеют первым снегом острые, как вулканы, вершины Хинганского хребта. Там зима, а здесь еще осень. Но глубокая, настоящая. Осень везде — на улице, во дворах заготовлены высокие поленницы дров, копешки сена, вороха сушеных веников. Кое-кто уже копает картошку; на грядках, прихваченные первым морозцем, голубеют тугие капустные кочаны. Скоро зима. И от этого острый холодок рождается где-то глубоко в груди, дрожит, перекачивается ледышкой, долго не тает.

Придерживаю шаг возле дома с голубыми наличниками, старой рябиной у крыльца — она обвисла под тяжестью красных ягод, смотрю во двор. Что мне здесь надо? Понимаю: это дом Зины. Наверное,

я шел к нему, только не думал об этом. Мне захотелось пойти к Зине, увидеть ее, еще когда Врио рассказал о Климе и Катке. Очень захотелось. Зачем? Не знаю. Увидеть, поговорить. И что-то сделать ясным, и я не буду казаться себе таким обиженным, неуверенным. Перестану завидовать Климу.

Из конуры выполз, рывкнул рыжий Рекс. В окне появилась Зина (хорошо, что она!), я махнул ей рукой и сел на скамейку возле калитки. Но ждать пришлось долго, или мне так показалось, и когда наконец из калитки выпорхнула Зина, то сразу спросила:

— Пришел?

— Пришел.

— Я так и знала, что придешь.

— А если бы не пришел?

— Ну и дурак был бы!

Вот так встреча. Что это она? Никогда так не говорила со мной. Это больше похоже на Катку. У нее, что ли, научилась? Может, целоваться сразу начнем, как они?

— Ты что так уставился?

— Как?

— Ну... Как будто никогда не видел.

Зина была в белой шелковой кофточке, с заплетенной косой, в фильдекосовых, как у женщин-модниц, чулках, которые продаются только в золотоскупке. От нее пахло духами. И щеки у нее были уж очень румяные: не подкрасила ли слегка?

— Ты сегодня красивая.

— Заметил?

Что это с ней? Не могла же она стать совсем взрослой за месяц. Правда, загорела, ростом вроде вытянулась. Но до Катки ей все равно далеко.

— Уеду, наверно,— сказал я.

— Куда это?

— Домой. Отца взяли. Мать одна.

— А учиться?

Я уже знал, что не уеду, еще одну зиму пробуду здесь, но почему-то сказал не то, что думал. Захотелось соврать (для этого даже сказал себе: «А что, могу и уехать!»), побыть несчастным, чтобы пожалели (такие минуты бывают, наверно, у всех людей). Посмотрел на Зину — она сидела слегка опечаленная, серьезная, и щеки у нее заметно выцвели. Мне стало хорошо — вот ведь, переживает за меня! Я сказал слышанные от старшеклассников слова:

— Учиться — после войны.

— Ой, ты же старик будешь!

Рассмеялись, и так громко, что в конуре проснулся и зарычал Рекс.

— Не уедешь, правда? Ты же заработаешь себе на зиму.

— Правда.

— А мне обидно даже, что отца на фронт не берут. У многих воюют. Потом могут всех забрать, а он все равно останется.

— Это другое дело — инвалид.

— Все равно... Ну, я тебе буду помогать, ладно? —

Зина наклонилась ко мне, сказала на ухо: — Зимой... Не только там уроки, ну, если голодный будешь... У нас картошки много... А вы меня в бригаду возьмите вместо Катки, а? Честное слово, я не заплачу. И платы мне никакой не надо, а?..

Вот тебе еще новость! Не знаешь, чего ожидать от этой девчонки. На вид самая настоящая маменькина неженка, кажется, только и сидит дома да книжки Тургенева читает. А поговори с ней — все знает, обо всем слышала. И упрямая. Надумала поехать в бригаду — не отстанет теперь. Потому, наверно, и учится хорошо, что терпеливая и упрямая.

— Катки же нет. А я вам чай буду готовить.

Зина схватила мою руку, положила себе на колени,

уложила в меня свои голубые зенки — круглые, немигающие, будто чем-то страшно перепуганные. Я смотрел в них и не мог отвести своего взгляда (так, наверное, люди тупеют от гипноза), а потом увидел: зрачки ее, не мигая, начали туманиться, заплывать влагой, и две большие слезы одна за другой скатились по ее щекам.

— Вот еще! — сказал я и встал, потому что у самого вдруг защипало в глазах.

— Не сердись. Сама не знаю...

— Да нет... Так бы и сказала... Жалко, что ли! Поговорю с Самосудом — возьмем. Ерунда!

— Ой, спасибо! — Зина промокнула ладошкой слезы, заморгала мокрыми ресницами, заулыбалась, как малышка, которой вернули отнятую игрушку, а я махнул ей слегка рукой и быстро пошел по улице, чтобы кто-нибудь не увидел всего этого, — разнесут, разболтают, потом из дому носа не высунешь.

Я хрустел ботинками по желтым листьям, успокаивался, думал, и мне было хорошо. Я уже не чувствовал себя обиженным и окончательно освобождался от Клима. Нет, не потому, что я что-то ему доказал или в чем-то победил, — я понял, что моя обида, зависть были оттого... Просто я младше его и совсем другой человек. А мне хотелось быть во всем на Клима похожим. И Зина, наверно, плакала больше потому, что знает все о Катке, жалеет ее, может быть, завидует в чем-то ей, но никогда не сможет быть Каткой. Люди разные, очень разные, их не сделаешь одинаковыми. Даже муравьи в муравейнике не одинаковы. И хорошо, что Зина не похожа на Катку. А я уже никогда не захочу быть Климом.

12

Я шел из школы и уже приближался к дому, когда увидел в нашем дворе толпу женщин. Оттуда слышался протяжный плач. Заторопился, чувствуя, как слабеют, делаются вялыми мои ноги и под кепкой мокреет лоб. Вбежал в калитку. Окруженная соседками, негромко голосила, всхлипывала тетка. Волосы у нее были растрепаны, руки опущены плетями, и стояла она, привалившись спиной к доскам сеней. Я проскочил в дом, догадываясь о страшной беде. На столе лежала бумажка со штампом военкомата, прочитал:

«...в бою на подступах к гор. Можайску смертью героя пал... Васейкин Василий Иванович...»

Постоял минуту, прислушался к надрывному теткинскому вою, подумал: «Зачем это все?..» Ребятишек не было, наверно, увела к себе какая-нибудь из соседок. Захотелось упасть на кровать вниз лицом, закрыть голову подушкой. Но почему-то не смог. Тихонько открыл дверь, тихонько пробрался по двору, чтобы не остановили, не стали жалеть бабы, пересек улицу и по кустам стланика спустился под гору, к Семитке.

Сел на камень возле воды. Замер, боясь шевельнуться, чтобы не испугать себя, не разреветься. Долго ни о чем не думал, будто спал. Потом начали складываться строчки о Васейкине — ему и себе в память. Когда на Бочке проревел гудок, оповестивший дневную пересмену, я встал и прочитал вслух деревьям, воде, ближним и дальним сопкам:

Васейкин — пекарь и казак,
Тебя мне не забыть вовек.
Ты булки пек, сражался так,
Как самый лучший человек.
Ты шел по жизни не сторонкой
И не жалел свое житье.
Хотел ты воли, воли звонкой,
И верь — добьемся мы ее!



Звучала вода в Семитке, сквозил на ветру голыми ветвями лес, сопки были чуткими, звонкими в стилом осеннем воздухе, а солнце светило ярко, не жалея себя, будто знало, что тепло его трудно пробивается к земле.

Красивая, спокойная осень.

Как она может быть такой, если никогда уже не будет васейкинского хлеба — воздушного, молочной белизны, его песенок, хрипловатого голоса, отличного слова «дружба»; его самого — большого, нежно-лицевого, неуклюжего? Люди должны плакать, что не стало на земле Васейкина.

Как она может быть такой... Если фашисты возле самой Москвы; если приходится есть «Федькин хлеб» — так теперь его и называют, будто Федька разработал новую жилу, да по жалкой норме; если стыдно учиться в школе: «Зачем? Разве это серьезное дело, когда фашисты под Москвой?»

Осень — как стихи хорошие.

Разрешили бы работать всю зиму. Или в ФЗО послали — старших ребят берут, в город Хабаровск увозят на заводы, оттуда и до армии близко. А здесь мне нечего делать, тем более, что никогда уже сюда не вернется Васейкин. И мне, как и ему, не очень нравится желтый металл. Не удержит он меня — только для хлеба и нужен был.

Я уеду, убегу. Мне бы только весны дожждаться, дотерпеть. А пока...

Гляжу на ближние тихие деревья, на дальнюю, желтую в лиственничной хвое тайгу, вижу небо, и под ним — двугорбую сопку, ту, на которой мы были вдвоем с Климом. И вдруг решаю: взберусь на нее. Пусть это будет в память Васейкина. Пусть никогда не забудется мне этот день.

— Взберусь! — сказал я вслух деревьям и воде, чтобы уже не отказаться.

По ветхому мостику перебежал на другой берег Семитки, прошел сквозь голый, теперь негустой ольховник и по пояс окунулся в заросли багульника. Разбередил, растревожил его, желтая пыльца поднялась выше моей головы, запах едко и плотно окружил меня. Это был уже не тот багульник — цветущий и ароматный, — злой, предзимний, жесткий. И идти по нему ничуть не легче: листву он не сбрасывает, подсохшие от заморозков стебли сделались проволоочно колючими.

Хорошо бы позвать с собой Самосуда. Вдвоем подняться. Он бы не отказался, особенно в такой день. Рассказать бы ему, как мы с Климом трусили, правда, ночь нас тогда застала. Все равно Самосуд нахохотался бы: ни разу я не заметил, чтобы он чего-нибудь испугался. Таежник. Старатель. С семи лет свой собственный лоток имел — дед ему смастерил. Самосуд, конечно, не захочет отсюда уехать, без золота он не представляет, как можно прожить. И отца на фронт не берут — золото добывает. Но все равно, Самосуд — человек. С ним бы я куда угодно пошел — на любую, самую страшную работу, на фронт. С ним бы и сейчас мне было хорошо: шел бы впереди, набычив лысоватую большую голову, пыхтел, поругивался. Однако... не крикнешь, не позовешь. Да и стыдно вечно на кого-то надеяться.

Из-под самых ног — чуть не наступил на него — выскочил заяц, — серая шерсть клочьями, тощий, продираясь сквозь багульник, он покатился вниз. Что здесь делал серый, на такой высоте? От лисы прятался, или сова не дощипала?

— Фу, черт!

Склон круче, багульник реже. Попадаются щелочные осыпи: заденешь — оживают, как какие-то заколдованные каменные реки, шумят, струятся.

И во все стороны открываются новые просторы: пласты темно-синей тайги, черные пропасти распадков, гранитные, розоватые в солнце, будто древние могильники, вершины сопки. Отдаляется вниз, как бы западает в сопки Главстан. Все в нем — дома, огороды, улица, скирды сена кое у кого во дворах — делается аккуратным, четко размеченным, ярким от самых неожиданных красок. Там, в поселке, ничего этого и не видишь.

Отдыхаю на теплом гладком куске гранита. Ищу свой дом — вот он, с зеленой крышей. Васейкин перед самой войной покрасил, будто знал, что сверху очень красиво будет смотреться. Дальше, по левой стороне, дом Самосуда — большой, квадратный, с крышей колпаком, с бревенчатым забором, как старинная деревянная крепость. У Зины дом легонький, веселый, сияет наличниками, и рябина красными ягодами светится. Катка живет за школой, ее дома почти не видно — желтый крашенный бок, тесовая крыша. В конце улицы, справа, дом Клима Сорина. Беленый, под цинковой крышей, на цементном фундаменте. Такой дом простоят до конца нашего века.

У моего отца тоже когда-то был свой дом, на Амуре. Достался ему от деда. Может быть, тот дом я бы любил — родной, единственный на земле. А так — не построю и одной стенки даже. Не надо. Дом притягивает к себе, не отпускает. От него далеко никуда не уедешь. Живи в нем, ухаживай за ним, подколачивай гвоздями, подмалевывай краской. Сколько людей как родились, так всю жизнь прослужили своему дому. Его, наверное, трудно продать. А мне ездить хочется, видеть, узнавать. Жить могу в шалаше, в палатке. Вот когда состарюсь, совсем слабеньким сделаюсь...

«Рррр-ах-тах-тах!» — послышалось сбоку и сверху, где начинались голые осыпи, скалы, пещеры. Эхо раскатило по всей тайге: «Рррр-аах-рра-рра-а...»

Я вздрогнул, вскочил. Прислушался. Все снова стихло, замерло в солнце и прохладе. Наверное, где-то сорвался в пропасть большой камень: ведь по ту сторону вершины уже полная тень, остывают и трескаются скалы. Надо торопиться, чтобы не застала ночь. Странно: от высоты или от чего другого у меня, как и в прошлый раз, комариный звон в голове.

— Вперед! — громко команду я себе.

Нащупываю ногами твердые камни, слежу за осыпью, чтобы не покатила меня вниз, хватаю руками одинокие кусты багульника, подтягиваюсь к ним: возле них всегда прочная земля. И не гляжу вниз. Теперь нельзя — дух захватывает, до смерти испугаться можно.

Нет, я взберусь! Обязательно! Я никому не расскажу про свой поход. Это я для Васейкина — чтобы не забыть его никогда. Чтобы самому стать немножко другим — ведь одним другим на свете меньше. Это мне просто необходимо. Потому что я слабее многих, а война только начинается, и неизвестно, как все будет дальше. Может, и отец мой погибнет. Может, и мне придется воевать.

Конечно, мне всегда приходилось работать, чуть не с первого класса. Особенно на Охотском море. Ловил рыбу сетками и неводом, заготавливал на зиму дрова — пилил, колол. Умею управлять оленьей и собачьей упряжкой. Но настоящая работа для меня была этим летом, на баксе, потому что тогда больше игру все напоминало. Я боялся, что не выдержу, сбегу. Человеку, наверное, часто так кажет-

ся: он сам точно не знает, сколько у него силы, на что он способен. Оказалось, даже слабенький Врио выдержал. А потом взяли Зину, и она работала, да еще как следует. Это уж совсем было чудотворно: беленькая, тоненькая Зина в резиновых сапогах, брезентовых брюках, с киркой в руках! И ничего, не хуже, чем у Катки, получалось. Свои четыре грамма на четверых каждую смену брали.

Зачем ей, Зине, при обеспеченных родителях такая работа? Сиди дома, книжки читай — так даже выгодней: меньше хлеба съешь, одежды износишь. Не смогла. Просилась, плакала. Война на всех подействовала, всех задела (правда, нашлись и такие, которым «война — мать родна»: торгуют молочком, картошкой, хлебными карточками). Человек не может сидеть без дела в это страшное время. Да и вообще, хороший человек никогда зря не переводит еду и одежду (лишь бы себе тепло и сытно было), обязательно о других думает. Это — как душа его. Зачем Зине помогать мне — сам не калека, лениться меньше надо, — помогает, не может иначе: такое она существо.

Уже недалеко вершина. Она уже не кажется выточенной из одного огромного камня — это груда битых, ломаных камней, голых, бесплодных. Я ползу на четвереньках, цепляюсь за прочные выступы, проверяю ногами карнизы, прежде чем наступить. Отсюда сорваться — почти наверняка погибнешь. Будешь кувыряться до самого багульника. Может быть, так и погиб тот, московский командировочный? Хотел влезть на вершину, сорвался... и потом нашли его в багульнике. Придумали, что от запаха уснул... Дышать тяжело, главное — дышать тяжело. Хватаешь, хватаешь воздух, как рыба на сухом песке, и все пусто в груди. Какой-то он жидкий здесь, воздух...

Широкий гладкий уступ, хочу прыгнуть — змея греется на нем. Головка темная, панцирная, глаза, как у птицы, сощурены; по спине — четкие серебристые квадратики с пятнышками-золотинками. Наверное, гадюка. На какую высоту заползла, прямо под небо!

Беру камень, швыряю.

— Уступи, хозяйка!

Просыпается, сучит во все стороны острым раздвоенным языком, слепо поводит ромбической головкой, вяло уползает в расселину. Прыгаю на уступ, отдыхаю.

С этого пьедестала можно оглядеться.

Мир внизу расширился до необозримых пределов и, став таким, измельчил себя. Все, как на огромной карте, потеряло свой привычный вид, свои очертания — обозначилось условно. Главстан — светлые квадратики по сторонам желтой черточек — улицы; леса — заштрихованные, различной формы пятна; сопки вовсе не сопки — тени от них; речки — извилистые, остро сверкающие нитки. Горизонта нет. Отдаляясь, все теряет формы, смягчается и исчезает в дымке где-то посреди неба.

Мне делается одиноко до звона в ушах, до полной невесомости в теле. Я один. Я оторвался от привычной земли, которая всегда была под ногами. Мне нужно хотя бы в душе не терять ее. И вдруг... вспоминаются пятьдесят золотых рублей. Да, пятьдесят бон тов, что мы вчетвером — Самосуд, Врио, я и Зина — отложили на зиму. Наш «общий котел». Чтобы помочь, если кому-нибудь будет очень трудно. Это же очень хорошо — помочь! Главное — помочь: словом, рублем, плечом. Без этого страшно, наверное, жить. Но помочь мне могут

на земле, там, внизу. Кто поможет мне здесь? Только я — сам себе. Оказывается, бывает и так. Надо хранить земное притяжение.

Карабкаюсь дальше. Не чувствую боли, не ощущаю страха. Может быть, я уже не человек? Какое-то четверсное существо, неизвестное зоологии? И наш учитель, очкастый Митрич, ужасно обрадуется, увидев меня. «Феномен!» — скажет. В академки попадет.

— Вершина-а!

Я не знаю, кто я, но я здесь, на вершине. Сюда заяц не доскакал, змея не доползла. А я здесь! Даже коршун парит ниже меня. И вровень стоят холодные облака. Выше меня лишь солнце, но оно всегда выше. Я забрался сюда, чтобы крикнуть прекрасное слово моего друга Васейкина:

— Дружба!

И еще раз прочитать стихи:

Ты шел по жизни не сторонкой
И не жалел свое житье.
Хотел ты воли, воли звонкой.
И верь: добудем мы ее!

Я раскачал большой камень, столкнул его вниз. Несколько секунд он молчал, пока летел в воздухе, потом грохнул, взорвавшись бомбой, рассыпал по ущельям осколки, и эхо, грохнув, долго рокотало в пределах неба и земли. И не затихло совсем, а где-то уже вовсе в невообразимых далях снова рождалось, грохало, перекачивалось.

Нашел самую высокую точку на вершине — это был красноватый валун гранита, гладко обкатанный ветром и дождями. Взобрался на него. Посмотрел в одну, другую сторону. Потом медленно начал поворачиваться на камне — и показалось, что вокруг меня поплыла, вращаясь, вся огромная планета. С тайгой, сопками, городами и селами и да-

лекой страшной войной. Я был в центре, на полюсе, был...

Вдруг мне показалось, что кто-то на меня смотрит. Я замер, остановился. Пристально вгляделся в ту сторону, откуда пришел испуг, — и на соседней вершине увидел каменное чудище: толстым, желто-красным туловищем оно вздымалось из земли, покрытой скудным лишайником, и оканчивалось круглой огромной головой.

Этот каменный столб я увидел сразу, как только поднялся на вершину; я видел его и в тот раз, когда мы были здесь с Климом. Но это был просто каменный столб желтоватого песчаника. Громоздкий, самый высокий среди других, но все-таки столб. А сейчас... Наверное, резкий свет, солнце высветили, оживили его.

Я боялся шелохнуться, глубоко вздохнуть. Черными провалами глаз на меня смотрело скуластое, с низко срезанным лбом, плоским носом, безгубое существо... Нет, губы у него были — они расплылись в сонной усмешке по всему его каменному лицу. Существо было похоже на туземного бога бурукана (маленького деревянного буруканчика я видел в котомке проводника-ясовея, с которым ехал из дома на оленях) — такое же оно угрюмое, низколобое, скуластое и морщинистое. Это каменный бурукан, каменный идол.

Солнце находилось вровень с ним, резко высвечивало каждую выпуклость, золотило желто-красный камень, и казалось, тонкий живой румянец переливается под дряблой кожей идола.

Он усмехался, смотрел со своей высоты на все, что громоздилось, звучало, текло, туманилось, жило и существовало внизу. Он как бы охранял, оберегал все это. Был хозяином золотых ключей, тайги, рек. Он держал возле себя людей. Он вечно стоял здесь, будет стоять всегда.

Он спокоен. И усмехается.

Я спрыгнул с валуна и побежал вниз.





ДВА ВЗГЛЯДА НА ЛЮБОВЬ

Дорогая редакция! Очень прошу напечатать мое письмо в вашем журнале, так как те, о ком я буду писать, никакого другого журнала не получают.

Сначала о себе: я подкидыш. Родители бросили меня неподалеку от детского дома. Меня вскоре заметили и взяли в этот дом. Воспитывался я там с шести до десяти лет. Когда мне было десять, к нам на временное воспитание больные родители привели Сашу С. Как и у меня, у него было плохое здоровье; часто мы лежали с ним вместе в изоляторе и очень подружились. Ему было три года, мне девять, но мы с ним стали большими друзьями. Год прошел быстро, мы с ним стали, как братья, да нас так и называли братьями. Через год его больные родители немного поправились и приехали за Сашей. Но Саша не захотел уходить без меня. И тогда родители Саши, не раздумывая, взяли к себе и меня, чему я был безгранично рад и хвастался всем ребятам, говоря, что нашлись мои родители.

Началась новая жизнь. Мы с Сашей по-прежнему были дружны. Я отводил его в садик и бежал в школу, а вечером его забирали домой мама или папа. И я стал их так называть, да и зову до сих пор и никогда иначе не назову.

Жили мы, конечно, не роскошно. Родители зарабатывали не много, а расход на четверых был немалый, но мы не обращали внимания на постоянные нехватки.

Жили мы не скучно. Я ходил в школу, вечером мы с Сашей гуляли, а перед сном, сделав свои школьные уроки, я читал ему детские книги. В шестнадцать лет я окончил семь классов, но здоровье мое оставалось слабым, и врачи не разрешили мне учиться дальше, а посоветовали работать на воздухе. Я пошел работать в лесхоз. Проработал там два года и стал таким здоровяком, что мне теперь позавидует любой атлет. Работу полюбил, заработок был неплохой. Заработанные деньги — все до копейки — отдавал маме, и всегда с гостинцами. Мы купили кое-что из мебели, а потом решили откладывать деньги на новый дом, так как старый был совсем плох: мы с папой его постоянно ремонтировали. Дома я помогал во всем. Очень был рад, что иду домой и меня ждут

родители и брат. И помогать дома было для меня удовольствием. Я делал это в благодарность людям, которые, несмотря на материальные недостатки, создали мне семью, отчий дом.

В восемнадцать лет я познакомился с Таней Т. Мы полюбили друг друга. Мои родители были довольны моим выбором и всегда принимали Таню, как родную. Познакомили мы и наших родителей, и они стали ходить друг к другу. И вот кто-то из соседей рассказал родителям Тани, что я подкидыш, что меня взяли в дом только из-за корыстных целей, чтобы я помогал. Одним словом, наговорили всяких глупостей. Вот тут-то все и началось. Как только я прихожу к Тане, родители ее начинают говорить, чтобы я копил деньги, построил отдельно дом, не помогал родителям (кто, мол, они тебе?). Я их убеждал, что люблю их больше, чем родных, что это моя семья. Как я ни старался им все это доказать, меня все равно переубеждали, ругали, говорили, чтобы я не отдавал домой все деньги, а давал только «рубль пятьдесят» в день — на харчи, а остальные клал на книжку, копил бы на свой дом.

Я отвечал, что, пока не построим мы с родителями дома, ничего я не буду предпринимать. Дом мы собираемся делать просторный, где нам хватит места для всех. Говорил, что своих родителей и братишку я никогда не брошу, и если здоровье не позволяет учиться мне, то уж Саша-то обязательно окончит вуз.

Тут Таниных родителей и Таню совсем взорвало, и они меня выгнали, обозвав нищим подкидышем и дураком. Любовь наша с Таней лопнула, как мыльный пузырь. Мои родители стали беспокоиться, уж не обидел ли я чем Таню да и ее родителей. Я им, конечно, ничего не мог рассказать: не хотел волновать, они и так слабы здоровьем. Старался отшучиваться (с болью в сердце).

Таню ее родители никуда не пускают, чтобы не встретила со мной. Но она написала мне, извинилась, что поддалась на уговоры родителей порвать со мной, что она любит меня по-прежнему... Я дважды пытался зайти к ним и увести Таню. Но Танина мать кричала на весь двор, что я подкидыш, что такие, как я, могут «соблазнить»

и «все что хочешь сделать». Как я ей ни доказывал, что я не подонок, который способен на подлость по отношению к девушке, как ни доказывал, что люблю Таню и хочу жениться на ней, но ее родители и слушать меня не хотели. Таня плакала, просилась ко мне, но мать вместо этого потащила ее к врачу проверять, не соблазнил ли я ее. А отец, провожая их, говорил: «Если что подтвердится, я убью этого подкидыша». Когда врач подтвердил чистоту девушки, они немного остыли. Но Таню по-прежнему ко мне не пускают.

Я хочу, чтобы вы напечатали это мое письмо. Пускай родители Тани прочтут и подумают над тем, что они делают и со мной и со своей дочерью. Может быть, и вы скажете свое мнение.

Имя Тани я написал вымышленное: я не хочу называть ее родителей.

Простите, что плохо написал: волнуясь.

Надеюсь на вас, может, это письмо поможет нам с Таней быть вместе.

До свидания.

Н. ЗАБЕЛИН

Московская область.

РОДИТЕЛЯМ ТАНИ

Не очень нравственно, на мой взгляд, вмешиваться без спроса в те конфликты, которые происходят в чужом доме. Но если слышишь крики о помощи, тут уж, простите, нельзя не вмешаться!

И вот я пишу это открытое письмо. Пишу с возмущением. Вас бы, конечно, больше устроило, если бы я положил это письмо в конверт и отправил вам по почте. Вы бы прочли его, разорвали на мелкие клочки, обложили меня двумя-тремя крепкими словцами и продолжали бы жить по-прежнему, по-своему, потому что иной жизни вы себе, наверное, и не представляете. По совести говоря, я и сейчас не очень-то надеюсь на то, что письмо мое, напечатанное в журнале, вас в чем-то переубедит. Но я хочу, чтобы его прочитала ваша дочь. И чтобы восстала против вас!

Призывать дочь к бунту против родителей? Хорошо ли это? Допустимо ли? Вообще нет. Но в данном конкретном случае... Ведь когда вы запираете свою дочь, не пускаете ее к любимому человеку, когда тащите ее к врачу «на проверку», — наверное, вы приговариваете: «Для тебя же стараемся! Ради твоей пользы! Ради твоего счастья!»

Бить для счастья, оскорблять, бесчестить для счастья — это, с вашей точки зрения, вполне логично. Но беда, если этой логике подчинится Таня, если она поверит в нее. Тогда через некоторое время и сама она станет измываться над чьей-то искренностью, над чьей-то любовью...

Повторяю: я не собираюсь перевоспитывать вас. Жили бы вы сами, двое, согласно своим законам — и на здоровье! (Хотя слово «здоровье» тут не очень подходит: оба вы, конечно же, неизлечимо больны!) Вот и болели бы, как говорится, «на пару», в свое удовольствие! Так нет же: вы хотите насильно привить вирус оголтелого мещанства двум молодым, здоровым людям. А они — вы на это надеетесь — передадут инфекцию своим детям, своим друзьям, своим близким...

Вот такой цепной реакции, такой эпидемии зла допустить нельзя!

Обыватели не верят в добро, в бескорыстие, ибо сами ни на что подобное не способны. Мерить окружающих на свой мещанский аршин — давняя ваша привычка. Вам выгодно думать так: совершил человек подвиг — значит, гонится за наградой; хочет юноша жениться — значит, подбирается к имуществу родителей невесты; усыновили люди мальчишку — стало быть, нужен им в доме работник... Вы оцениваете все с позиции своего «грязномыслия». И героизм, и любовь, и бескорыстие — для вас явления не

существующие; это-де «пропаганда», к которой вы относитесь с кривой усмешкой: «Опять заладили!..»

Сколько на земле удивительных парадоксов! Если бы вы залезли в чужой карман и вытащили оттуда трешку, вас бы судили. Даже если бы не вытащили, а лишь сделали попытку совершить кражу. Уголовный кодекс неминуемо посадил бы вас на скамью подсудимых. А вот за то, что вы украли у человека веру в справедливость, за то, что нечистыми руками грубо обшарили две юных души и попытались отнять у них счастье, — за это Уголовный кодекс не может привлечь вас к ответственности! Что ж, обращаюсь за помощью к моральному кодексу — опубликую в журнале это письмо.

Кстати, вы не поняли, что, обокрав этих молодых людей, заодно вы обокрали и самих себя. Вы закрыли дверь перед другом. Вы не хотели, чтобы к вам пришел юноша, который свято верен своему человеческому долгу, который умеет ценить добро. На зло он не желает отвечать злом — ведь утаил же он от нашего журнала ваши подлинные имена, отчества и фамилии: ведь вы — родители его Тани!

И вспомнилась мне одна история... Несколько лет назад я получил письмо от старой женщины с маленькой подмосковной станции. Она рассказала мне о своем сыне — преуспевающем инженере, который хорошо изучил физические и математические законы, но вот науки быт человека, к сожалению, не постиг. Его мать — медсестра, одна, без помощи отца вскормила и вспоила сына, вырастила его, а он забыл обо всем этом, когда она, старая и беспомощная, стала ему уже не нужна. Мать, горько исповедавшись в своем письме, имени и фамилии сына не назвала: а вдруг у него будут неприятности?! «Прочтите письмо по радио, — попросила она. — Может быть, он услышит и поймет...» Я выполнил эту просьбу. В ответ пришли сотни писем от радиослушателей. Увы! Многие матери рассказали о неблагодарных своих сыновьях и дочерях, но ни одна (ни одна!) не назвала их имен и фамилий. Все по той же причине: пусть на их детей (какие бы они там ни были!) никто не посмотрит косо, пусть ничто не нарушит их покоя и благополучия!

Так же поступил и юноша, любящий вашу дочь. Он заботится о вас...

Может, это мое письмо окончательно откроет глаза Тане? Да и вас, может, в чем-нибудь переубедит? Писал, писал — и вдруг возникла у меня такая надежда... Что ж, хорошо бы!

Пока что не уважающий вас

Анатолий АЛЕКСИН.



Ирина Денисенко



ОТЦЫ И ДЕТИ

В прошлом году «Юность» ввела новую рубрику — «Сочинение на вольную тему». Мы исходили из того, что читатель нашего журнала достаточно подготовлен, чтобы говорить о проблемах школьной жизни, комсомольской работы, об отношениях отцов и детей, о дружбе, о первой любви.

И мы не ошиблись. Уже через несколько дней после выхода в свет номера с первой, «экспериментальной» статьей выпускника школы Коли Булгакова мы получили толстые конверты с рукописями «сочинений на вольную тему». А вскоре число их перевалило за сотню. Далеко не все показалось нам интересным. Редакция решила отдавать предпочтение таким сочинениям, где раскрывается душа нашего юного современника, его внутренний мир, где он искренне и чистосердечно рассказывает о своих переживаниях и сомнениях, успехах или неудачах, где он пытается аналитически подойти к своей личной и общественной жизни.

Несколько таких сочинений мы отобрали для опубликования. Обещаем их помещать регулярно. Напоминаем вам, юные друзья: несколько журнальных страничек под рубрикой «Сочинение на вольную тему» — это ваша публицистическая трибуна, с которой будет звучать ваш голос и ваши собственные мысли. Пишите же нам. Жанр любой. Стиль любой. Тон откровенный. Размер не выше тетрадки.

Мы печатаем здесь два «сочинения». Их автор — Ирина Денисенко.

Именно в юности человек более всего склонен ко всякому душевному брожению. К протесту против каких-то действительно или мнимо консервативных норм. Наступает возраст, когда отрицательное видишь острее и прежде, чем положительное. И о плохом говоришь чаще, чем о хорошем. Конечно, в осуждающем смысле.

Вот я по своим одноклассникам знаю, что многим чужие родители кажутся лучше, чем свои. А надо, наверно, чтоб было наоборот.

Так вот, у нас в семье наоборот.

Шел недавно кинофильм, в котором на комсомольском собрании обсуждают мальчишку за то, что он задержался в какой-то поездке. Уже все поняли уважительную причину его опоздания, и только один парень все спрашивал: «А если бы он вез патроны?»

Он так неуместно и назойливо повторял этот вопрос, что пожилой рабочий (который уж наверняка возил патроны) сердито осадил его: «А если бы он вез макароны?»

Так вот, эти два вопроса стали в нашей семье выражениями двух разных позиций. Когда моя мама (с прямолинейностью учителя) осуждает мои или моих товарищей поступки, она говорит: «А если бы он вез патроны?» Часто я с нею не согласна, и тогда звучит контрвопрос насчет макарон.

Мы, родители и дети, все равно приходим к одному мнению. Только не сразу. Иногда даже не хочется признаваться вслух, что ты был неправ. Но ведь дело не в словах, а в том, какие ты делаешь после этого выводы.

Мы с братом собираемся овладеть профессиями родителей: он станет моряком, а я — учительницей. Но не это главное. Важно, чтобы мы так же переживали неудачи и успехи в своей работе, как они. Пожалуй, это основная черта наших отцов. Просто мы к ней привыкли и не замечаем. Чтобы дать представление о своих родителях, я бы прежде всего рассказала что-нибудь об их работе. Ну вот вроде этого.

Моя мама считает английский язык основным предметом в школе. Так, наверно, и надо учителю. Но это можно было понять в дневной школе или в морском училище. А в далеком северном поселке, куда завез нас отец, в школе рабочей молодежи трудно было сделать свой предмет «самым важным и нужным». И мама как-то сникла, перестала верить, что ее предмет главный. И мы все это почувствовали...

Три дня бушевала непогода. Северный ураган тщательно пытался сорвать крыши с каменных домов, но зато он рассчитался с деревянными столбами: запутал провода и погрузил поселок в непроглядную тьму. И мы, ученики, проходившие в школе по учебникам ленинский план электрификации страны, впервые по-настоящему оценили значительность и важность обыкновенной лампочки Ильича в нашей жизни. На второй день свет уже был дан. Это рабочие-электрики, которые вечерами бегали в вечернюю школу, сумели за ночь поднять столбы и исправить провода.

Какое же отношение этот эпизод имеет к нашей семье, спросите вы?

Дело в том, что на следующий день все рабочие-

электрики, вконец измотанные, ни часу не спавшие, были в школе, на первом уроке английского языка. Кто сказал, что иностранный язык — второстепенный предмет в вечерней школе? Это очень важный предмет, если парни пришли на него. Ничего, что из трех сидящих за первой партой пишет только один: двое других, удобно уложив забинтованные обмороженные руки, следили за его авторучкой... И с тех пор маме стало работать интересно и важно.

На мой взгляд, проблему «отцов и детей» в наше время придумали дети, которые не хотят понять своих родителей, и отцы, которым некогда заниматься интересами своих детей.

Я не верю в эту проблему. А споры о разных точках зрения, вкусах и взглядах могут быть, должны быть и между большими друзьями, и между сверст-

никами, и между родителями и детьми. Только когда нам рассказывают об окопах, ватниках и рабфаках, не надо это все принимать как упрек в том, что родившимся после войны живется так уж легко и безоблачно. Не надо бросаться в атаку при фразе «А мы с матерью в свое время...».

Мы тоже будем рассказывать своим внукам о Братске, целине и комсомольских рейдах. Старости, как и молодости, хочется, чтобы ее ценили. У нее есть свое право на пристальное внимание. Это естественно. Спорить и доказывать надо, но еще и надо верить в людей. У нас нет жизненного опыта, а есть только стремление занять свое место в жизни, но и по нему одному, по этому стремлению, по его характеру и сути можно понять, что мы идем по дороге, проложенной отцами и дедками.

У СЕМИ НЯНЕК...

Свою сознательную жизнь мы ведем от наших учителей. Непреклонным законом остаются для нас слова, сказанные Марьей Ивановной или Дарьей Петровной.

Вот мы уже носим значки октябрят. Это учитель открыл перед нами еще одну страничку жизни. Потом пионерия захватывает призывом к самостоятельности, и то, что раньше вершил только учитель, переходит в руки звеньевых и вожатых класса. А слова учителя «как решит звено», «по инициативе отряда», «класс считает...» рождают принципиальность и навыки борьбы за справедливость.

Посмотрите, как дружно, с горном и барабаном выходит пионерия из школы. И нет среди ребят взрослых. Ну, пионервожатая — и все. И жмутся к стенке высокие мальчики и девочки, пропуская своих младших друзей, и с затаенной грустью провожают их глазами. Это комсомольцы школы. Они не ходят уже таким красивым, парадным строем, но они собираются вместе на комсомольских собраниях. На тех же собраниях рядом с ними сидят директор, завуч, классные руководители.

Сначала завуч доложит общую картину успеваемости по школе («Самый худший — 9-й «Б»). Потом директор: «С такими показателями не выйдешь на первое место по району». Затем математик поговорит о результатах последней контрольной проверки по школе и т. д. Из учащихся обязательно выступит комсорг и кто-нибудь из членов комитета. Собрание закончится единогласным принятием решения без добавлений и исправлений. С той минуты, как оно кончится, о нем никто уже не говорит и не вспоминает. А что, собственно, вспоминать, если о том же самом говорили и в прошлом месяце и в позапрошлом году?

Но ведь бывают события в школе, которые требуют собственного решения комсомольцев, их самостоятельности, боевого духа, принципиальности... Восьмиклассники не явились на занятия почти в полном составе — пришли только те, кто накануне не был в школе. У восьмиклассников не отапливалось зимой помещение. Всю зиму. Но не в этом даже дело. Когда они пробовали перейти в другое помещение, им попросту нагрубили: «Не вы, так другие будут заниматься в холоде. Чем вы лучше других?» После этого ребята и «забастовали».

В классе двадцать комсомольцев, и они, разумеется, могли найти другой, менее скандальный выход из положения. Так думали мы все, собравшись обсуждать и наказывать своих товарищей. Кто-то предложил лишить их призового места в соревновании по школе (класс был одним из лучших) и оставить заниматься в этом помещении до конца года. Наивно? Возможно. А разве лучше вынести традиционные строгие выговоры? Сразу двадцать. Ведь это все равно, как поставленные одновременно и по одному предмету двадцать двоек. Уж не знаю, как там по педагогической методике, а школьники такие двойки всерьез не принимают.

Выступил классный руководитель и сказал, что он против нашей меры наказания. Но мы не хотели отказаться от своего предложения, потому что выступление учителя не показалось нам действительно убедительным.

И тогда завуч предложил сделать перерыв, а всех членов комитета пригласили в кабинет директора. После перерыва комсомольское собрание превратилось в обычное школьное мероприятие, которым уверенно и открыто управляли опять учителя. И мы вынесли двадцать строгих выговоров, а заодно и комсоргу — для пушного страха! И потом привычно стали поглядывать на часы.

Интересно: у взрослых тоже такое бывает? Очевидно, да: ведь взрослые вырастают из школьников.

...Уважаемый товарищ Макаренко, собери педагогов нашей школы и прочти им снова «Педагогическую поэму». Разъясни им, что от такого опекунства остывают все наши гражданские и общественные страсти. И на смену им приходит равнодушие...

Дорогой Павел Корчагин, посиди у нас на комсомольских собраниях, посмейся над нашими робкими попытками проявить самостоятельность, обзови нас приспособленцами и научи быть смелыми, принципиальными, умеющими отстаивать свое мнение. Ведь мы твои потомки, мы многое перенимаем у тебя, и есть в нас черты твоего характера, да только скрыты они подчас даже от нас самих безмерными и излишними заботами наших семи нянек: папы да мамы, директора да завуча, классного руководителя да учителей...

Ростов-на-Дону.



Д. МИРЗАШВИЛИ, Т. ПИЦХЕЛАУРИ.

Третий друг.

По залам Всесоюзной художественной выставки, посвященной 50-летию ВЛКСМ.



А. САФОНОВ.

Продотряд.



М. ВАЙНШТЕЙН.
Первые.



Д. БАЙРАМОВ.
Первые.

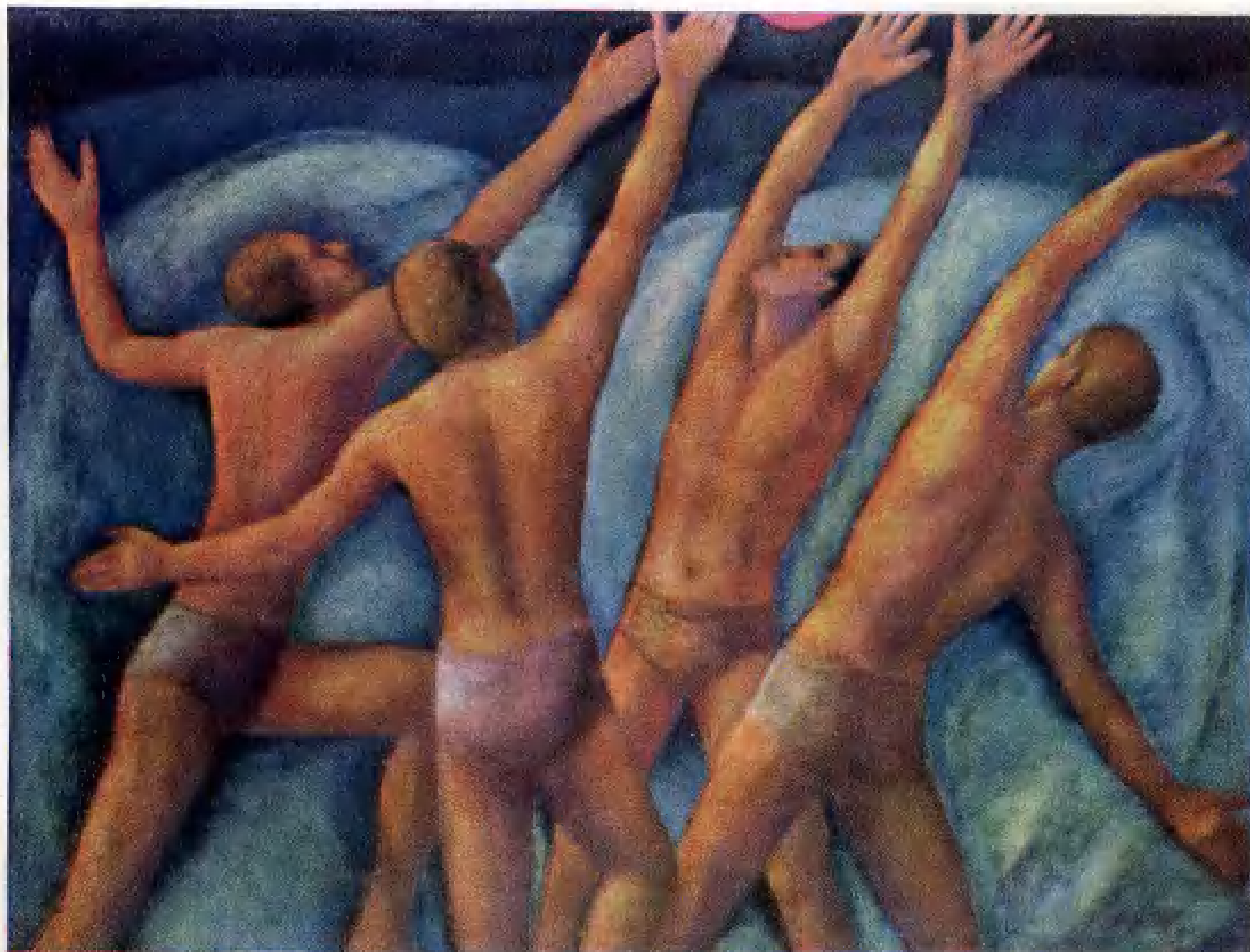
И. ОБРОСОВ.

Голубые озера льна.



Н. ГУЛЛИ.

Играющие в мяч.





Станислав
Рассадин

ТОЧКА АРХИМЕДА



Архимед обещал перевернуть Землю, если ему дадут точку опоры. Он ничем не рисковал: в небесной механике такой точки нет. В литературе перевороты случаются, потому что в ней есть точка опоры. Это традиция. Без нее, помимо нее, никакой переворот, никакое новаторство немислимы.

Тютчев писал:

Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом.
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом.

Счастлива литература, обретшая точку опоры в себе самой, в традиции.

Конечно, в литературе далеко не всегда обходится без борьбы, без свержений кумиров. Но и в этих случаях традиция играет роль активную.

Поэт умирает не тогда, когда его яростно отрицают. Он умирает, когда к нему начинают относиться с вежливым равнодушием.

Когда в начале века раздалась скандальная угроза сбросить Пушкина с Парохода Современности, это говорило не только о разрушительно-базаровских устремлениях ниспровергателей, но и о том, что Пушкин жив. Жив даже для них самих. Жив настолько, что им приходится бороться с ним.

Жив в гораздо большей степени, чем казалось Игорю Северянину:

Да, Пушкин мертв для современья,
Но Пушкин — пушкински велик!

Вот это — действительное умерщвление поэта. Само почтительное признание «велик» здесь означает не величие поэта, а величину памятника.

Марина Цветаева писала о крике «Долой Пушкина!», к которому присоединил свой молодой бас и юноша Маяковский:

«Самоохрана творчества. Чтобы не умереть — иногда — нужно убить (прежде всего — в себе). И вот Маяковский — на Пушкина. Своего, по существу, не врага, а союзника, самого современного поэта своего времени, такого же творца своей эпохи, как Маяковский — своей — и только потому врага, что его вылили в чугуны и этот чугун на поколения навалили...»

Борьба юного Маяковского против Пушкина была борьбой с памятником, к которому носил «кризис» Северянин; как и потом — уже за Пушкина — борьбой с теми, кто академически узурпировал «самого современного поэта своего времени» («Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин...» и т. п.; сама каламбурная рифма «Пушкин» — «Плюшкин» звучала предостерегающе).

И все же оговорка Цветаевой — «убить (прежде всего — в себе)» — не безобидна.

Воззвать к отрицанию Пушкина, к изъятию из театрального репертуара Чехова — все это можно объяснить пылкостью революционного времени, но, как бы то ни было, это значило и то, что Маяковский не испытал еще окрыляющего и обязывающего влияния мировой и национальной культуры.

Это, разумеется, не было индивидуальной ошибкой Маяковского. Недаром Ленин в самое бурное время вносил отрезвление в молодые головы, требуя учиться, использовать во всем их объеме культурные накопления человечества.

И вот уже в 24-м году Маяковский на диспуте говорит о любви к Пушкину, о побеждающем обаянии его стихов. Это естественная и закономерная внутренняя потребность.

Каким путем ни шла русская литература, Пушкин, воплощение великой традиции, всегда был точкой отталкивания или притяжения, то есть так или иначе точкой опоры.

Цветаева писала: «...Пушкин с Маяковским бы сошлись, уже сошлись, никогда, по существу, и не расходились. Враждуют низы, горы — сходятся».

Маяковский по-своему, с грубоватой своей фамильярностью тоже считал, что сошлись бы: «Были б живы — стали бы по Лефу соредактор...» И прежняя ревность новатора к традиции оборачивалась уже иной ревностью — к тем, кто не так, иначе, чем он, меньше, чем он, любит Пушкина: «Может я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых».

Я нарочно начал разговор с Маяковского, такого, казалось бы, далекого Пушкину поэта. Не только поэты, очевидно, близкие Пушкину по манере, по гармоническому мироощущению, но и совсем иные — лишь бы настоящие, — не миновали нравственной и поэтической традиции Пушкина.

Что говорить, герой ранней лирики Маяковского или герой «Облака в штанах», страдающий и проклинаящий, «искусанный злобой», приходящий в отчаяние от потери любви, ненавидящий соперника, не похож на лирического героя Пушкина, совсем иначе провожающего любовь: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим», — героя, даже в расставании благодарного былому счастью, даже в горькую минуту сохраняющего светлое мироощущение.

Ранняя поэзия Маяковского помечена своим временем, временем после Достоевского и Ницше, когда мир тревожно ощутил свою неустойчивость, ужас перед разверзающимся хаосом: «Двадцатый век. Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла...» (Блок).

Но Маяковский устоял перед нашествием хаоса. Мир, окружавший его, мир, отвратительный ему своей циничной буржуазностью, был дисгармоничен. Но роль поэта, «сына гармонии», оставалась прежней.

Более того, сама иступленность раннего Маяковского (непохожая на пушкинское спокойствие) — это отчаянная попытка утвердить ценности, подвергшиеся в его эпоху сомнению, поверить в их незыблемость, вернуть им бесспорность, ту, что была так прекрасно очевидна для Пушкина.

В двадцатом веке началось пришествие в поэзию хаоса, беспорядка, выдаваемого за сложность поэзии и сложность века. Но эмпирика и эклектика, порою выражающиеся в демонстративной хаотичности стиля, — это не сложность. Гораздо, несравненно сложнее выполнять высокую гармонизирующую роль, быть поэтом, а не регистратором хаоса. Иначе искусство ни к чему:

Жизнь без начала и конца,
Нас всех подстерегает случай.
Над нами сумрак неминуемый
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.

(Блок.)

Так было в суровую эпоху Блока. Так должно быть всегда: высшее назначение искусства не меняется.

У Пушкина в нашей поэзии нет избранных, единственных наследников. И глупо роднить с ним поэтов по внешним признакам: по схожести ритмов, метрики, рифм. Рассуждая таким образом, Твардовского объявляют традиционалистом, а Маяковского — новатором. Тем самым Маяковского отлучают

от традиции, а Твардовского — от современного поэтического мышления.

Между тем «традиционный» Твардовский — один из наиболее современных поэтов по видению мира, по кругу чувств, наконец, по поэтическим средствам.

Несколько лет назад на пушкинских торжествах он сказал слово о Пушкине, которое нельзя рассматривать как официальный доклад; вольно или невольно слово это оказалось и поэтической программой самого Твардовского. В свое время Блок, выступая с речью о Пушкине, тоже говорил о том, что мучило в первую очередь его самого; даже название той речи было открыто программным: «О назначении поэта».

Видимо, говоря о Пушкине, русскому поэту трудно отвлечься от собственного назначения: Пушкин — точка опоры, точка отсчета.

В слове о Пушкине Твардовский говорил о зрелости ума и чувств, которой Пушкин обладал смелостью и которой нынешним поэтам часто недостает до седых волос.

О том же он нередко и сурово говорит в стихах:

Не штука быть себя моложе,
Труднее быть себя зрелей.

Или:

Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.

Для Твардовского сила пушкинской традиции, в частности, в том, что она помогает вступать в зрелость задолго до седых волос. Помогает, не облегчая задач, а усложняя их, помогает хотя бы как укор, как вечное напоминание — своим изначальным представлением о высоком, честном назначении поэзии.

Но сама зрелость — зрелость человека иной эпохи — выражена Твардовским по-новому, по-своему.

Пушкин переживал потери глубоко и сильно, сохраняя в то же время состояние удивительной внутренней уравновешенности. В тяжкую минуту он вспоминал счастье (как в стихотворении «Я вас любил...»), в минуту веселья не забывал потерю.

Наслаждаясь дивными скульптурами Орловского, он не мог не вызвать в памяти образ ценителя и друга, который так славно разделил бы с ним художественный восторг:

Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!

А вот Твардовский, также скорбящий об ушедших:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь. —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Стихи эти по-пушкински сдержанны, в них нет ни малейшего иступления, напротив, трезвость: «Я знаю, никакой моей вины...»

Но ощущение потери (и ведь не просто личной!) мучительнее, неотвязнее. Оно как чувство вины (вопреки утверждению), которое является высшим проявлением причастия к чужим бедам, чувство вины, которого никакой трезвостью не остудить.

Это Твардовский. Это двадцатый век, обостривший чувство ответственности людей друг за друга и друг перед другом.

То же чувство в стихотворении — воспоминании о солдате, погибшем на финской войне:

...Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу.
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незначительной,
Забытый, маленький лежу.

Любители смежных ассоциаций скажут, что это стихотворение сорок третьего года словно создано при помощи ультрасовременной киносъемки: сверхкрупный план, заставляющий нас запомнить и пережить каждую подробность: «шинель ко льду мороз прижал, далеко шапка отлетела...».

Но Твардовский, понятно, об этом не думал. Подчинение всех поэтических средств главному — ощущению причастности — родило и эти рифмы, намеренно однообразные, словно кружащие над одним и тем же местом, и синтаксические повторы, и возвращение к уже произнесенному слову; заметим, как все сказанное об убитом парнишке после строки «как будто это я лежу» возвращается в стихотворение уже иным, особенно остро и мучительно осознанным, как бы собранным в фокус: «примерзший, маленький, убитый... забытый, маленький лежу».

«Пушкинианство» Твардовского не в том, что он «отошел» к Пушкину, а в серьезном, сложном, современном развитии его художественных принципов.

Река сохраняет связь с истоком не потому, что возвращается вспять. Да к Пушкину и нельзя вернуться. Он не где-то позади.

Гоголь писал о нем: «Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

До такого Пушкина надо подниматься.



Недавно вышел один поэтический сборник: Валентин Сидоров, «Высокий свод».

Я и прежде встречал стихи этого поэта в журналах, и всякий раз они если и не радовали глаз, то и не отталкивали. Стихи как стихи.

Но представшие в одной книге, они вдруг обнажили характерную черточку, по поводу которой стоит задуматься.

В книге прославляются гармония, мудрость, душевное спокойствие, и всему этому внимаешь сначала с сочувствием. Правда, холодноватость стихов сразу бросается в глаза, но благодушно успокаиваешь себя: душевный жар дается не каждому, а добрые слова все же лучше слов злых.

Но потом, помаленьку все эти добрые слова обесцениваются все больше и больше.

Любимое слово автора, которым он определяет свою жизнь, — «суета». Он, естественно, недоволен суетой и ищет способа от нее избавиться. То в общении с природой:

И наступает та минута,
Одна-единственная та,
Когда под суетой и смутой
Как бы подведена черта.

То просто жалуясь на усталость, кажется, от всего на свете:

Нам столько выпало событий,
Такая суета сует, —
И мы устали от открытий
И от поспешности побед.

Наконец:

И в нас сильнее всего желание
Уйти от праздной суеты...

Но вот вопрос: куда уйти? И надо ли уходить? Быть может, назначение поэта не в том, чтобы бежать в чистоту, в гармонию, в умиротворенность, как бегут в скиты? Быть может, оно в том, чтобы преодолевать «суету», видеть в ней и за ней свет и смысл существования? Быть может, пушкинское гармоническое мироощущение не только счастливый дар, но и результат колоссальных душевных усилий?..

Сам Пушкин так и считал:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.

«Надолго ли?» — невесело спрашивал далее Пушкин.

И разве не странно, что эта великая душа, героически противоборствующая своему «жестокому веку», выглядит у В. Сидорова спокойным эталоном умиротворенности? Тихим местом, куда можно «уйти»?

Я счастлив, что в зябком тумане
Житейских и прочих тревог
Меня никогда не обманет
Гармония пушкинских строк.

Вполне добродетельные слова. Все как будто правильно. Но что-то больше не вызывает ни сочувствия, ни тем более уважения этот любитель гармонии, противопоставляющий ее (и только противопоставляющий) «зябкому туману» своей жизни, своему веку, суетливому и практичному («Но кто ж в наш век — скажите — не практичен?»).

Можно понять, что здесь произошло.

Иногда эпигоны наивно считают, что следовать гиганту — значит дотошно повторять его движения. Копировать их.

Пушкин написал: «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег...»

Гениальность этого, как выражаются текстологи, «необработанного отрывка», помимо прочего, в том, что безмерная усталость Пушкина, заставляющая его мечтать об уединении, не убивает в нем мечту о творческой свободе, то есть о полноте бытия, о борьбе, о жизни. Недаром в строке «На свете счастья нет, но есть покой и воля» рядом с «покоем» — «воля», то, без чего сам желанный покой Пушкину не был бы нужен.

Покой ради воли, ради внутренней свободы от царя, от Бенкендорфа, от их унижительной опеки — вот что было нужно Пушкину. Покой ради покоя.

Самое, казалось бы, усталое *стихотворение Пушкина* оказывается пронизанным жаждой деятельности, жаждой творчества, жаждой по-пушкински понимаемой борьбы!

В. Сидоров попытался скопировать эти строки Пушкина, может быть, невольно, это все равно. Но вместо полноты бытия оказалась какая-то внутренняя вялость, вместо жажды деятельности — монотонные жалобы на «зябкий туман» и «суету сует».

Копировать что-либо в поэзии бессмысленно. Копировать трагедию — кощунство.

Книга Валентина Сидорова отразила нынешнюю моду выглядеть старомодным.

Да, есть такая мода, сопровождающая, как это обычно и бывает с модой, реальную тенденцию поэзии к зрелости, к гармоничности; и не только сопровождающая, но старающаяся заскочить вперед, «обойти на полкорпуса», чтобы именно ее, моду, приняли за то, к чему она подлаживается.

Даже стих Валентина Сидорова копирует по лексике и интонации стих пушкинской поры, копирует дотошно, но механически. Порою же В. Сидоров понимает учебу у классиков и вовсе просто: строки Тютчева «нежней мы любим и суеверней» у него приобрели такой вид: «Ты все нежней и суеверней к словам относишься моим». Только слова невероятной нежности, которые Тютчев нашел для милой ему женщины, нынешний стихотворец наивно адресовал самому себе. Одарил нежностью себя.

Конечно, если именно это и считать следованием традиции, тогда все просто. Только вот сама традиция начинает выглядеть чем-то таким, к чему можно относиться в лучшем случае снисходительно.

Так порою и относятся.

Разумеется, не высказывая этого отношения прямо. Но это уж из почтительности или из малодушия. Все-таки классики!

Несколько лет назад произошел занятный случай (о нем писали тогда, да и я писал, но сейчас ради одного сопоставления стоит его вспомнить).

В печати справедливо выругали плохую поэму о Лермонтове и в качестве примера белиберды привели всего четыре строчки из этой поэмы:

Насдине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!

— то есть как раз строки самого Лермонтова, начальные строки его позднего шедевра, которые незадачливый автор ввел в свою поэму без кавычек.

Лермонтовская простота была — с точки зрения стиха «современного» — объявлена бедностью.

Несколько же лет пазад появилось стихотворение о том, как Лермонтов читает своим друзьям стихи, а те его безжалостно критикуют:

И отмечали судьи строгие,
Что здесь, мол, надо «подтянуть»,
Уж больно рифмы кривоногие,
Струя светла, а в рифме — муть!..
«Бежит — скрипит!»! Пойми же, слабенько..
С лазурью — здорово опять..
А «Смерть поэта»? Надо, батенька,
Размер постороже соблюдать!

Любопытно здесь не только то, что друзья Лермонтова изъясняются жаргоном теперешних лит-объединений, но и то, что Лермонтов с ними соглашается: «Вы правы, — молвил. — Я подумаю...» И не успевает исправить рифмы потому только, что за ним является жандарм и велит ехать на Кавказ. С тем Лермонтов и удаляется: «Тут не до рифмы, господа!»

Таким образом, вроде бы получается, что автор стихотворения оправдывает лермонтовской «небрежностью» свои рифмы типа «слабенько — батенька», свою версификационную слабость. Мол, классики мало обращали внимания на форму (не до того было), а уж нам сам бог велел.

Между тем если говорить серьезно, то рифма «бежит — скрипит» как раз сильная. Как и все рифмы знаменитого «Паруса». Они в н у т р е н н и е ц е л е -

с о о б р а з н ы, ибо наполняют четверостишие смыслом, чувством, энергией.

Как мы помним, автор рецензии, выругавший плохого стихотворца за то, что он пишет, как Лермонтов, тем самым невольно признал, что классики, с его точки зрения, устарели. Автор стихотворения оправдывает лермонтовскую слабость, но тоже признает ее; даже самого Лермонтова заставляет ее признать. Получается, что классики писали плохо, и то, что они дожили до наших дней, произошло вопреки их формальному несовершенству. Благодаря одному содержанию.

Любопытная эта точка зрения, высказанная (или полувывысказанная) критиком и стихотворцем, широко представлена и в поэтической практике. Куда шире, чем в теории.

...Маршак говорил однажды, что определять качество рифмы вне строки — все равно, что раздавать медали перед боем, за один только бравый вид. А лучшим солдатам потом может оказаться самый невидный.

Когда им это было нужно, Пушкин или Лермонтов умели блеснуть рифмой, скаламбурить ею, но только когда было нужно. Ведя поэзию к естественности, к наиболее близкому, сердечному общению с читателем, они делали средства стиха сообразными цели.

Броскость самих по себе средств стиха, безразличная к смыслу, сама бессмысленна. И даже может оскорбить нравственное чувство.

Корней Чуковский хорошо сказал:

«Мы читаем и говорим: «Там человек сгорел», а виртуозно он горел или нет, забываем и подумать об этом».

А если бы думали, это значило бы, что автор не горит, не страдает, а притворяется.

Настоящий поэт не оставляет нам времени на то, чтобы подумать, «как это сделано». Суть мастерства — заставить забыть о мастерстве.

К тому же бывают ситуации, в которых это особенно необходимо.

Уже обращали внимание на то, что пушкинские любовные стихотворения написаны с редкой простотой — редкой даже для Пушкина. Ни единой метафоры, ни единого «образа» не содержат стихотворения «Я вас любил...», «На холмах Грузии...», «Я вас люблю, хоть и бешусь...», «Не пой, красавица, при мне...».

Случайно ли это? Случайно ли, что создатель мощных образов: «Россию поднял на дыбы» или «Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье», — что он, говоря о любви, обращался к самым бесхитростным словам?

В «Трех сестрах» Вершинин и Соленый, объясняясь в любви, говорят одними и теми же словами. Вероятно, потому, что, любя и добиваясь любви, человек рассчитывает не на красноречие, а на силу своего чувства.

Намеренное красноречие в подобных случаях может лишь скомпрометировать чувство.

Вот немногословные цитаты из нескольких стихотворений современных поэтов. Это тоже стихи о любви.

Юрий Панкратов:

...И бьются у моей груди
Два полушария Земли —
Две круглых половинки мира.

Анатолий Заяц:

Любовь моя,
Молчат твои зенитки,

А годы
проплывают
за бортом.

Сергей Поликарпов:

Оставшись глух к намекам случая,
По первородности простой
Ищу великого созвучия
С твоей душевной наготой.

Петр Вегин:

О! Ледоход — как леденец!
А в гололеде —
аварийность.
Ты гололед иль ледоход? Ты кто, Марина?..

Можно заметить, что здесь представлены стихотворцы разных стилистических пристрастий и разных уровней дарования — так сказать, от нуля и выше. Объединяет их стремление в меру сил своих щегольнуть эффектностью выражений. И вот Панкратов само страстное любовное объятие утяжеляет глобальными сравнениями; а Заяц помещает свои зенитки на что-то плавучее, мимо чего и проплывают его годы; а Поликарпов претенциозен; а Вегин, доверяясь элементарным аллитерациям, пытается породнить гололед с леденцом — и все это убивает искренность чувства, а то и приводит признание на грань юмористики.

Что говорить, нехитрое дело — побивать молодых поэтов Пушкиным (хотя подлинное устоит и рядом с великим). Но ведь речь не об этом. Речь о правде чувства и о том, как эта правда выражается.

В пушкинском «Каменном госте» Дон Гуан, переодетый монахом, объясняется в любви Доне Анне — и странным образом повторяется. Вначале он говорит вот что:

Я только издали с благоговеньем
Смотрю на вас, когда, склонившись тихо,
Вы черные волосы на мрамор бледный
Рассыплете — и мнится мне, что тайно
Гробницу эту ангел посетил...

И потом:

О пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят
Не подле праха, — милого для вас,
Не тут — не близко — дале где-нибудь,
Там — у дверей — у самого порога,
Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкой ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб
Пойдете кудри наклонять и плакать.

Это начало и конец одного монолога, но между ними — целая история зарождения любви. «Черные волосы» и «наклоненные кудри» похожи, но только внешне.

Высокопарность слов, сказанных вначале («волосы», «благоговенье»), холодноватая, только зрительная

прямолинейность антитезы «черные — бледный», льстивое сравнение с ангелом — это еще слова соблазнителя, сознающего силу своего красноречия.

А в конце монолога говорит уже иной человек, сам не замечающий, как из декламирующего любовника превращается в нерасчетливого влюбленного. Речь его становится менее эффектной, но более согрета чувством. Тут уже не ангел, а женщина, живая, земная; не «посетил», а «пойдете»; не гробница, а гроб; не волосы, а кудри. Это сказано не затем, чтобы поразить слух, а просто потому, что не могло не сказаться. Дон Гуан здесь больше говорит для себя, чем для Доны Анны, со смутным удивлением ощущая — хотя, может быть, и не сознавая еще — вдруг настигшую его любовь.

Взгляд его с пристальностью, скорее грустной и нежной, чем чувственной, останавливается на Доне Анне: «Пойдете кудри наклонять и плакать...» Так может говорить не тот, кто взывает к женской сентиментальности, ей самой демонстрируя трогательную картину, а тот, кто переживает ее скорбь, как свою, кто ревнует ее к «гордому гробу» мужа (вот откуда явилось это неприязненное «гордый», заменившее внешнее, зрительное «бледный»), кто не отделяет больше себя от нее.

В «Анне Карениной» сказано о Левине, что он с рождением ребенка вдруг ощутил новую область уязвимости. Новую.

В мире, в котором живет Дон Гуан, ни одна из его безнравственных дерзостей не сделала его нежизнеспособным. Это сделала любовь, обнажившая сердце. Оно стало более уязвимым, то есть человеческим.

Трагический финал «Каменного гостя» не кара за очередную интрижку. Дон Гуан и Дона Анна гибнут за любовь. Но еще задолго до финала, в том самом монологе, нельзя было не заметить зарождение любви; в конце монолога, отбросив красноречие, Дон Гуан говорит, как сам Пушкин говорил о своей любви, пылко и просто. Без ухищрений.

Это правда чувства.

...Поэзия идет своей дорогой. Стих, его синтаксис, его лексика, его метрика неизбежно меняются. И будут меняться. И должны меняться. Меняется и само художественное мышление — вместе с временем, задающим новые и новые вопросы.

Как уже было сказано, к Пушкину нельзя возвращаться.

Но о нем надо помнить.

Органическая связь поэзии с идеалом, объединенность всех средств художественной выразительности стремлением воплотить этот идеал — все это делает пушкинскую, вернее, вообще классическую традицию, во главе которой Пушкин, наиболее точным критерием, благодаря которому мы и ныне можем отличить подлинное новаторство от мнимого. Подлинную современность от ложной. Чувство от подделки. Реальность от моды.

В этом уроки традиции. Уроки Пушкина.



Михаил Шур

СПЕЦКУРС ТАЙГИ

Отчего не щегольнуть? Очень, очень хороши эти защитного цвета костюмы с нарукавными эмблемами! Есть и во всю спину броский гриф института: МАИ, МЭИ, МИСИ, МИФИ... А эти с шиком и вгиком: у них на спине: «СИНЕМА»...

Марину я просто не узнал. После мини-юбки эти рабочие брюки... Она журналистка, из «Студенческого меридиана», мы с ней поехали в Овсянку, в строительный отряд МГПИ, то есть Московского педагогического имени Ленина. Ну и молодец Марина! Первое, что я увидел...

Впрочем, сначала бы надо читателя, так сказать, ориентировать на местности.

Сибирь, Красноярский край. Синие гребни тайги, гул дорог, мачты строек, зеленые акварели лужаек по обочинам и подлеска по откосам... Енисей в золотом зное. Не ожидал я такой жары — тридцать градусов в тени!

Собственно, Овсянку мы и не увидели, она где-то за вторым витком шоссе. Мы свернули в лес, в богатое разнотравье, к таинственным зарослям енисейского берега, и там увидели лагерь в час затишья. Длинные дощатые столы под навесом — столовая; тесный полотняный квартал палаток; огромный железный чан на столбиках — душ; беленый барак «Караван-сарай» — кафе и клуб: в дверях качается занавес из нанизанных на леску березовых обручков, а стены облеплены разноцветными срезами, будто проткнуты торцами берез. В углу кофейный и кефирный бар с текстами во славу сухого закона.

И весь «персонал» на месте: комиссар отряда, начхоз, старший повар — это одна их ипостасей, здешняя, а вторая — физика, биология, химия. Одни институт в этом году окончили, другие учатся. Да и Марина тоже «двулика» — Институт международных отношений плюс журналистика, а здесь вот присоединилась к Нине Дмитриевой — чистить картошку. Упоенно, одержимо чистит, а тем временем наматывает на ус сюжеты, судьбы... Запоминает. Уже усвоила железное правило — не доставать блокнот при собеседнике.

А потом я видел, как Марина взяла в руки лопату, — это было на платформе, у железной дороги,

у магистрали, где историки и филологи Московского педагогического монтировали железобетонные плиты и столбы пригородной станции.

Не сразу угадаешь в них студентов, а всмотришься: конечно, они! Полуголые гераклы среднего роста, живописные бородачи, интеллигентные разнорабочие... Здесь высший шик московской студенческой удали — орудовать лопатой или ломом, поплевывать на руки, покряхтывать, долбя или откидывая землю.

Конечно, с появлением корреспондентки в бригаде возникает что-то новое: и без того разговорчивые ребята старательней острят, изощряются, «самовыражаются». Но делу — время, потехе — час, перекур кончается, все разговоры — на вечер.

Вечером «Караван-сарай» заполняется до отказа. Днем-то работают по десять, а то и по двенадцать часов на стройке, тяжело ребятам, непривычно, да и мучительно жарко. Но вот ведь какая загадочная штука: и на долгий вечер хватает у них еще энергии весело дурачиться, петь, изображать, сочинять юмористические документы «внутреннего распорядка» и текущий фольклор, спорить о цели жизни и сущности любви. И еще, конечно, тут и там уединяются парочки, потому как, сами понимаете, жизнь прекрасна и удивительна! Для них ведь это и Красноярский край света и седьмое небо...

Нина Дмитриева, физик, затеяла на вечер блины — пальчики оближешь!.. Юра Морозов, химик и биолог, весь день не напрасно колесил по округе с авторитетным мандатом заготовителя — мясо по себестоимости добывал, овощи, молоко, картошку. Он особенно старался, потому что нагрянула свадьба. Имен жениха и невесты не называли, чтобы не привлекать к ним внимания общества. Редкостной была эта таежная свадьба, свадьба неслыханной безалкогольности в благовейной лесной тишине.

Для Нины Дмитриевой это жизненное свершение было уже позади, как и для ее партнерши по кухне — Гали Котиповой: у обеих мужья здесь, в студенческом лагере, обе пары окончили физфак, одну оставили в Москве, другая попросилась на Сахалин. Этот номер журнала уже застанет Галю и Виктора где-то на дальнем острове...



...В озерах вспыхивают
зори,
Горя, как блики
в изразцах,
Все меньше парусников
в море,
Все больше парусов
в сердцах,
Все больше парусов
в сердцах...

Эти строки стали реф-
реном студенческой жиз-
ни в дебрях сибирской
тайги, с этой песней они
возвращаются в стены
родных институтов.

Фото Н. Баратова,
Р. Мерсона, В. Ширшова.

Третьим на пищеблоке Ваня Бандюков, истопник — три раза в сутки растапливать приходится, а там еще и другая работа по кухне набегит, но главное — при любом занятии можно мыслить. Ваня всегда легко уходит в себя, ему это необходимо, он философ, а проснется в нем поэт (бывает и это), так он пристроится к девочкам и читает им стихи, за аудиторней не гонится: чем меньше слушателей, тем ему удобней, ему интимность дорога. Но дрова, будь они неладны, сырые!

Комиссаром здесь Володя Котюков, тоже химия и биология, последний курс. Кстати, он больше всех потешался над командиром соседнего лагеря, где жил отряд местных школьников-старшеклассников: этот командир день-деньской работал голосом, дисциплина в его лагере держалась на командах и распоряжениях, звонких и заливистых, как утреннее кукареку. Отовсюду, с любого расстояния голос командира настигал и оглушал исполнителя. Иногда это были пространные, развернутые правоучения, иногда отрывистые междометия одобрения или яростные извержения гнева.

Но не в том командире дело — я о Котюкове. Комиссар педагогов, как и командир, как и все остальные, избранные руководить, голосовыми связками здесь не работает. Даже когда отрядный хор берет самые верхние ноты в песнях, никому не дозволено кричать. Вообще во всем студенческом движении, во всей этой строительной армии покорения Сибири хоть и много штабов, командиров, комиссаров, отрядов — терминология сплошь военная, — нет командирских нот; просто дисциплина, спайка, власть коллектива.

К вечернему кофе Юра Морозов привез пряники и хорошие сигареты. Я привожу здесь несколько слов из рассказа Марины:

— Знаете, я никогда ничего подобного не слышала: представьте, восемьдесят человек, разложив мелодию на четыре голоса, ведут песню в одно дыхание. Начинают с полупшепота, осторожно, мягко, нежно, и не дай бог кому-нибудь сбиться — все начинают сначала! Музыкальность удивительная! И песни не только студенческие — любые! Есть и классические русские, и романсы, и старые комсомольские песни, всегда звучащие на редкость современно...

Тот самый полуголый бригадир на платформе, что ставил железобетонные плиты и столбы, Миша Либерман, историк, пятый курс, здесь дирижировал хором. Не с помощью жестов, а собственным пением.

Все началось в прошлом году, на такой же стройке. Миша простудился, ребята сначала стегали его вениками в парилке, потом облепили со всех сторон горчичиками, приказали терпеть — пусть жжет хорошенько, — и он, чтобы забыться, стал распевать песенки. Тогда-то ребята и всполошились:

— Послушай, старик, да у тебя голос! Нет, правда, интонация своя, тембр свой — что там еще по музыкальному словарю... — все есть! Давай, старик, публика просит...

Миша взял гитару, и вспомнил еще кое-что, и забыл совсем о горчичниках — кожу прожарило до волдырей. Вот с тех пор и поет. Ребята говорят: артистизм — необходимое слово для историка.

Днем — монтаж, рихтовка, сварка, забота о кране, о машинах, споры с монтажным поездом, с прорабом, с трестом, а вечером — середина двадцатого века в острых проблемах, литературные темы сезона и песня, песня, снимающая усталость, как доброе вино или даже лучше.

Одного парня, Володю Жукова, который очень уж красиво, с лихим азартом работал лопатой под паля-

щим солнцем, местный шофер спросил с любопытством:

— Слушай, хлопец, а тебя так надолго ли хватит?

— На два месяца, — сказал Володя, — а там снова лопатить науку...

Володя Котюков, комиссар, аккуратно ведет счет этим победам духа, как кубометрам бетона.

В самом деле, академическое племя, белоручки, знатоки искусства — и вдруг такая страсть к самой грубой работе! Не малые же дети, не мальчишки, чтоб играть в романтику, — взрослые люди!

Нет, не игра все это, совсем другое. Познать, попробовать, испытать себя, пройти через это, сознательно пройти через новое и трудное, во все привести радость свою, молодую свою силу...

Смотрите, какое ослепительное ночное небо! Лесная тишь особенно располагает к исповеди. Послушайте, как ребята раскрывают себя... Ну, понятно, глупо было бы считать, что так все и поехали сюда, как в песенке поется, «за туманами и за запахом тайги»... Поехали поработать, чтобы увидеть дело рук своих: жилой дом, дорогу, мост, цех, коровник, школу, спортивный зал, откос водохранилища, рельсовый путь... А заработать? Почему бы и нет? Совсем неплохо к зиме поправить свои материальные дела... Живут ребята коммуной, экономно, строительные заказчики не скупятся, заработок будет!

И все-таки не только за туманами и запахами тайги, но и не только за рублем поехали, если уяснить главное побуждение. Вот послушайте эти ночные исповеди — человек хочет поднять себя выше, он жизненный экзамен хочет сдать!

Жора Рустамов. Родом из Самарканда, учится в Москве, с ним вместе учится сестренка, в которой он души не чает, но ему хочется рассказать и об остальных своих братьях и сестрах — семья большая. Начинает издали, с родословной — внук наркома финансов... Короче: зачем поехал из Москвы в Сибирь самаркандский парень, внук наркома? «Над характером своим поработать», — вот как он отвечает.

Да, да, все попробовать, познать, над характером поработать... Все верно. Но вот ведь еще что: здесь — и счастье общения! Счастье обмена мыслями. Правда, у одних мыслей не столь уж много, и им не обременительно держать их при себе; у других как раз, тютелька в тютельку, на двоих с любимым или любимой; но ведь у многих без взаимного обмена просто голова разламывается... Мысли нужна среда, мысли нужна работа! Отклик нужен ей, контакт...

Мы мчимся по Енисею на «Ракете».

Он весь в легендах, Енисей...

Зеленые скалы повисли над стремительно бегущей синевой. Где-то дымит одинокая труба, где-то голубеет пристань, где-то белый квартал выбежал на самую кручу. Качаются под берегом лодчонки, нет-нет да вынырнет из воды голова отважного пловца, рассекающего быстрину, — помажет пловец пассажирам рукой, крикнет что-то веселое и озорное и снова канет в воду на пять-шесть взмахов.

Летом река работает — возит и грузит, то и дело перекликаются катера и теплоходы, режут и свистят. Летом ее работа — ваш отдых: никогда Сибирь не знала такого нашествия туристов. «Откуда?» — спросил я смуглую девушку в спортивном костюме. «Из Ессентуков!» — ответила она. Из Ессентуков... Поискать — найдешь и сухумских.

«Смотрите, вот она, вот она, Мана... А там Бирюса. Ах, прозевали: вот с того поворота тропа к знаменитым Столбам. А вот — Дивногорск...»

Город взвивается в гору, улицы петляют лесом, пестрые кварталы живописно раскиданы по уступам, встроены в рощи. Очень красивый, ясный город. А за перевалом — опять Енисей с гигантской серой стеной поперек русла: плотина регулирует сток, вода под ней кипит. Глянешь — забетонирована вся голубая даль, где-то под самым небом ползут по крыше ГЭС крохотные жучки громадных самосвалов.

Студенты? А как же, есть и здесь студенты. Одни — на крыше ГЭС, другие — на распределительном устройстве, а эти, третьи, — на бетонировании откосов. Уже не педагоги, а инженеры. Энергетики и строители! Им доверили сложные механизмы. Бетонщики тянут вверх по откосу прессформу, ловко орудуя вибраторами, оставляя за собой лоснящуюся гладь мокрого бетона. Они — как пехота переднего края, — каски, робы... Смотрите там, осторожнее, вы, которые посторонние, без спецовок!..

Мне совестно отвлекать людей, я иду со своими вопросами в дивногорский студенческий штаб. Там комиссар Коля Котеленец почти торжественно излагает мне, какая у штаба линия, какая позиция. Линия мне очень нравится. Нравится и позиция: брать работу посложней, повыше квалификацией, приобщиться к строительной технике и, стало быть, к сегодняшнему дню.

Если б писать для театра, сюжет драмы можно построить на здешнем конфликте так: молодой, красивый Николай (кого он по пьесе будет любить, можно решить позже, по согласованию с другими персонажами) хочет ввязать свой отряд в главные технические операции стройки, в главные коллизии, чтобы ребята были причастны к большим свершениям, ибо в этом не только государственный смысл студенческих строительных отрядов, но и суть воспитательной программы. А краевой штаб, представляемый сухим и бездушным перестраховщиком (никого не любит и никем не любим!), хочет для студентов работы самой нехитрой и примитивной, потому как студент около техники может себя поранить (а потом имей разговор с мамой!) или на высоте закружится у него голова... И еще такие у штаба доводы: без мозолей — это не студент-целинник, а пижон. В механизации нет романтики. На кнопках не воспитывают...

— Глупости это, бред, несусветная галиматья, — отвечает Николай. — Как раз все наоборот! Даешь умный физический труд, даешь, черт подери, НОТ, или вы что, к современности глухи? Каким вы воздухом дышите, какими настроениями питаетесь?

Драма разворачивается в жесточайшем столкновении производственных доктрин. Концепция с концепцией на ножах — сцепились! «Конечно, — шумит одна, — мы не белоручки, можем и лопатой поработать и ломом, когда надо, но держать нас в позавчерашнем дне — это же позор!» А другая твердит спокойненько: «Здесь сибирская целина, тайга строительная, а не инженерная производственная практика, здесь привередничать не приходится, здесь безотказность превыше всего ценится...»

Этой концепции в ходе драмы оказывает поддержку внесценический персонаж — хозяйственник: своито, местные рабочие отказываются признавать кустарщину, им она осточертела, а студент «в порядке романтики» возьмет любой наряд, хоть мусор грести или кирпичи таскать вручную...

Ну, а сам автор, собственно, на чьей стороне?

Автор на стороне Николая. Если б наши строители все имели незаконченное высшее образование, мы бы, я думаю, и не таких чудес строительной техники достигли. Пусть студент не так вынослив и закален, как постоянный, кадровый рабочий, но от него зато

всегда можно ожидать остроумной изобретательности и талантливой организации труда. И незачем ему ездить за пять тысяч километров на романтическое свидание с кустарщиной...

Студенты МЭИ и МАИ живут на пришвартованных к дивногорской пристани теплоходах «Киров» и «Орджоникидзе». Из всех известных им общежитий это самое интересное, веселое, да и удобное. Если не спится, Енисей тебя покачает, он дарит ночную тишину и утреннюю прохладу, он мысли твои приводит в порядок, погружает тебя в воспоминания о лучших днях жизни и открывает такие дивные дали мечте, что хочется встать за час до побудки и поглядеть на этот мир сквозь розовый рассвет.

На берегу, у трапа, стоит походная кухня «MADE in MAI», возле нее хлопочет востроглазенькая плехановка, шеф-повар, с факультета инженеров общественного питания. Она уже успела мне сообщить, что у нее здесь 320 поклонников. Намекала, видно, на чисто профессиональную удачу, но я смотрел в ее дивные глаза.

Палубы, кают-компании, стены, стекла украшены студенческой письменностью. Я выписал первый параграф правил внутреннего распорядка:

Через пару лет инженером просто
Ты пойдешь работать, и пользы для
Я спрашиваю: как ты организуешь производство,
Не выполняя даже распорядок дня?

Стенгазету пересказать невозможно, но мы договорились с Николаем Котеленцем, что, может быть, в Москве, по приезде, устроим выставку этих письменных памятников «третьего семестра». Сегодняшний студент хорошо пишет. Где он этому выучился?

На теплоходе мы были с Верой Кукарцевой. Это двадцатилетняя студентка факультета журналистики, приехавшая сюда из Москвы, а в Москву — из Кирова. Она работает стремительно и увлеченно, сотрудничает в штате дивногорской городской газеты и одновременно в «Студенческом меридиане». Всех знает, все знает, везде побывала.

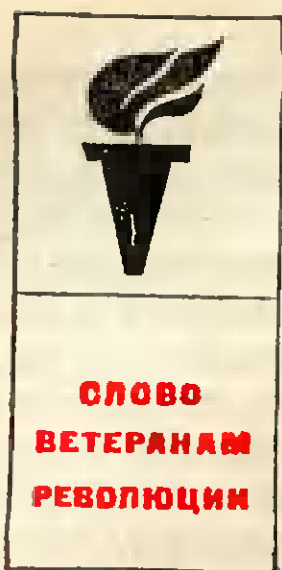
«Вася берет острый топор, длинные толстые гвозди, надевает каску и по лестнице из металлического каната поднимается вверх. 246,4 метра... Верхняя площадка волнозащитной стены... Вся плотина на виду, Красноярское море. А вдаль, на другом берегу, — башенные краны, словно жирафы, бредут по песку. Вася поплотнее натягивает каску, подхватывает инструмент и пробирается к опалубке...»

Вера пытается описать, как строится небывалый, фантастический по силе и масштабам енисейский судоподъемник. Поистине рука Гулливера с кораблем на ладони! Но репортажи сегодня, а очерки потом. Как-то неловко Вере уединяться с пером и бумагой, когда кругом столько интересного, и надо ловить это все, успеть увидеть, взять на заметку.

«Аркадий Лаховский на репетиции приходит первым. Осматривает свои «тарелки», прикасается к ним щеточками, будто стряхивает пыль. Они тотчас отзываются приветственным звоном. В дверях высокая фигура Саши Кузьмина...»

Это она об ансамбле мэистов, выступающем в кафе «Лапти» на теплоходе да и во многих других местах. Он берет призы, этот ансамбль, доказывает, что у студента может быть не только вторая профессия — строительная — в придачу к основной, избранной, но и третья — музыкальная...

Все, что я здесь увидел, на Енисее, вновь и вновь убеждает, что нынешний студент — это явление серьезное и сложное. Студент — это, знаете, такая публика, которая раньше других хочет ворваться в будущее.



Анастас Микоян

Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год)

Из воспоминаний

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАШЕЙ ТАКТИКИ. ПАДЕНИЕ ЛЕНКОРАНИ. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ И РАССТАНОВКА СИЛ В ЗАКАВКАЗЬЕ

В своих воспоминаниях я не могу пройти мимо светлой личности молодого, энергичного революционера Ивана Коломийцева. В апреле 1919 года он пробрался к нам в Баку из Персии, через Ленкорань, и явился в Бакинский комитет партии. Там мы с ним впервые и познакомились. Это был талантливый человек, бесстрашный, мужественный борец, бесконечно преданный делу революции. Он был таким же молодым, как и мы.

Став прапорщиком после Февральской революции, Коломийцев был направлен в Персию в войска генерала Баратова, где служил в Керманшахе начальником контрразведки. По мере усиления влияния большевизма в солдатских массах произошли изменения и в мировоззрении Коломийцева. Он стал на сторону большевиков. Избранный делегатом на второй краевой съезд Кавказской армии, состоявшийся в Тифлисе в декабре 1917 года, он вошел в состав большевистской фракции. Там произошло его знакомство со Степаном Шаумяном и Коргановым. С весны 1918 года Коломийцев — член Военно-революционного комитета порта Энзели. Выполняя поручение С. Шаумяна, он руководит эвакуацией русской армии и имущества.

Летом 1918 года Шаумян направил Коломийцева во главе советской миссии в Персию. После временного падения Советской власти в Баку офицерская белогвардейщина в ноябре 1918 года разгромила в Тегеране советскую миссию. Лишь чудом, при поддержке прогрессивно настроенных местных жителей — персов Коломийцеву удалось спастись.

Он подробно информировал нас об обстановке в Тегеране и в Северной Персии. Поделился также интересными наблюдениями за время своей кратковременной остановки в Ленкорани.

Он рвался в Москву через Астрахань, а мы принимали все меры к организации его поездки, прося подробно доложить в Астрахани и Москве о нашем положении. Вскоре нам удалось благополучно отправить его на лодке в Астрахань.

В июне мы получили от Коломийцева два письма, в которых он сообщал, что выполнил нашу просьбу, а также направил с Каневским и Старожуком — через Мугань — деньги. Он писал, что «деньги посылаются главным образом для создания на Мугани армии, для закупки Бакинским комитетом оружия, для организации деятельности по ослаблению англичан и правительства. В этом отношении должны быть приняты самые широкие мероприятия». Он сообщал далее о том, что в Астрахани литературы на азербайджанском языке нет: «быть может, привезу из центра»; писал, что не смог найти в Астрахани для Баку подходящих работников из мусульман и, возможно, подберет их также в центре.

Особенно приятно было узнать из его письма, что в результате бесед с астраханскими партийными руководителями у него создалась уверенность, что «вопрос об Азербайджане будет решен так, как решили его вы, — вопреки мнению Тифлиса».

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 год в №№ 11, 12; за 1968 год в №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12; за 1969 год в № 1.

Ознакомившись с политическим положением в Астрахани, с ходом борьбы против меньшевиков и эсеров, которые в то время, сомкнувшись с белогвардейщиной, активизировали борьбу против Советской власти, Коломийцев предлагал нам вопреки ранее сложившемуся у него мнению изменить нашу тактику в отношении меньшевиков и эсеров. «Не стоит и в Баку с ними нянчиться. Мне кажется, надо поставить вопрос ребром: или с нами, вполне без всяких оговорок, или определенно против нас... Мне кажется, что вам и с Чураевым не стоит нянчиться. Или пусть переходит к вам, или убирается ко всем чертям!»

Пишу я все это не просто так, сплеча, а после долгого и внимательного рассмотрения политики центра, поскольку она куется и здесь, в Астрахани. А так как ваша политика не должна расходиться с центром, то я и рекомендую вышесказанное... Я прихожу к убеждению, что вы недостаточно тверды были в дискредитировании меньшевизма и эсеризма и недостаточно последовательны, давая им кое-где место и уступая иногда позиции».

Письма Коломийцева и его критику нашей политики мы подробно обсуждали на совместном заседании Бакинского бюро крайкома и Бакинского комитета партии. С его постановкой вопроса мы не согласились.

Дело в том, что Коломийцев не учитывал разных этапов борьбы в России и Баку; он хотел механически перенести применяемые в Советской Астрахани приемы борьбы в Баку, где обстановка была совсем другой. Считая нашу политику правильной, к тому же вполне оправдавшей себя в жизни, мы решили никаких коррективов в свою позицию в этой области не вносить.

О положении дел в Астрахани Коломийцев сообщал, что там «вся титаническая работа лежит на плечах трех — пяти человек, безусловно умных и преданных... Положение в самой Астрахани недостаточно прочно. В среде астраханских рабочих масса всякой сволочи, которая подтачивает твердость власти, играя на недостатке хлеба...».

Зная, как мы надеялись, что с открытием навигации Красный флот выйдет в Каспийское море и окажет нам серьезную поддержку в вооруженной борьбе, Коломийцев писал, что флот «...вероятно, надолго будет занят под Царицыном». Особенно нас огорчило его сообщение о перспективах получения из Астрахани военной помощи: «...военной помощи, — писал он, — в ближайшее время не ждите. Твердо держите курс, чтобы справиться исключительно своими силами». В связи с этим, говоря о наших ближайших задачах, Коломийцев писал: «Основной задачей должно являться разведывание неприятельских сил и присылка в Астрахань самых детальных сведений о численности и вооружении противника, особенно судов...» Далее он указывал, что нам надо скупать оружие: «все, что можно, в Баку (в провинции) и в пограничных с Муганью местах Персии».

Закупку оружия в Баку мы начали еще до получения этого письма. Дело это было организовано все тем же нашим партийным «бизнесменом» Довлатовым. Он подобрал соответствующих людей и открыл в городе ресторан специально для английских солдат. Используя слабости уставших от походов английских солдат, и прежде всего их склонность к алкоголю, он так организовал работу своего ресторана, что у его посетителей постоянно не хватало денег для расплаты. Вместо денег он охотно принимал оружие. Ресторан, видно, пришелся «по вкусу» английским солдатам; посещаемость ресторана была очень

большая, и у Довлатова ежедневно оставалось немалое количество оружия — в уплату за спиртное.

Что касается закупок оружия на Мугани, то этим была занята специальная группа местных товарищей. С получением на Мугани новой значительной суммы денег мы дали им указание покупать оружия еще больше.

В июне военное положение на Мугани крайне осложнилось. К этому времени против Советской власти развернули активные военные действия шайки персидских разбойников, белогвардейские отряды, сформированные изгнанными из Ленкорани офицерами и кулачем, а также банды мусаватистов. По всей Мугани шли ожесточенные бои с численным перевесом на стороне противника. Части муганской Красной Армии отступали.

В конце июня положение стало критическим. Белогвардейцы ворвались в Ленкорань, завязались ожесточенные уличные бои. В одном из них был смертельно ранен Отраднов, который через несколько часов скончался в госпитале. Оборвалась героическая жизнь одного из верных сынов революции. Однако советским частям удалось тогда потеснить противника и отстоять город. Разбитые в этом бою белогвардейцы вскоре вновь собрали силы, и во второй половине июля начались новые ожесточенные бои.

В начале июля мы получили сообщение из Астрахани, что Красная флотилия в боях с превосходящими силами английских и деникинских судов понесла поражение у форта Александровского (ныне Шевченко): некоторые суда были потоплены, другие повреждены, а оставшиеся вернулись в устье Волги. Таким образом, перспектива прихода к нам в этом году флота и войск с севера окончательно отпала.

Мы обсудили создавшееся положение и в первую очередь обстановку на Мугани.

Было решено сообщить товарищам на Мугань о том, чтобы они в крайнем случае использовали имевшиеся у них суда и рыбацкие лодки для эвакуации с Мугани. В первую очередь оттуда должны были выбираться те, кому грозит гибель в случае плена. Мы советовали отправить всех их или в Астрахань, или к туркестанским берегам — для соединения с Красной Армией, которая к тому времени заняла Ашхабад и продвигалась к Красноводску. Учитывая, что оперативная связь с Баку и Астраханью была затруднена, мы предложили ленкоранским товарищам принимать окончательные решения под свою ответственность с учетом обстановки.

Как потом нам стало известно, Коломийцев, получив в это время в Москве назначение на пост полномочного представителя РСФСР в Персии, прибыл с группой сотрудников на моторном катере из Астрахани прямо в Ленкорань, связался там с местным персидским консулом и проделал все формальности, чтобы ехать в Тегеран: обязанности, на него возложенные, требовали скорейшего отъезда к месту назначения.

Однако обстановка в Ленкорани стала настолько острой, что уехать он не смог. То ли ему трудно было выбраться из города, то ли он не захотел покидать товарищей в беде, но, оставшись в Ленкорани, он принял на себя руководство борьбой с белогвардейщиной и самоотверженно сражался до последнего дня.

Силы были явно неравными. Контрреволюционные банды вскоре захватили Ленкорань. Оставшиеся в живых красноармейцы на лодках и баркасах попытались перебраться на туркменский берег Каспия, но английские военные корабли и вооруженные суда деникинцев захватили часть их в море и повернули

на Петровск. Коломийцев, Канделаки и другие наши руководящие товарищи успели высадиться на берег, но были схвачены белогвардейцами и убиты.

Коломийцев — первый полномочный представитель Советской России в Персии — был расстрелян белогвардейцами вблизи персидского города Бендер-Язи. Он был первым советским дипломатом, отдавшим свою жизнь за власть Советов.

Много коммунистов из Мугани было расстреляно и в Петровске. Только двум маленьким группам ленкоранских коммунистов удалось спастись. Одна из них во главе с Отто Лидаком пробралась через туркменские пустыни в город Кизыл-Арва, где уже была восстановлена Советская власть. Вторая группа, во главе с Вахрамом Агаевым, с помощью местных азербайджанских крестьян сухим путем добралась до Баку.

Так трагически закончилась эпопея Муганской Советской Республики, которая и с нашей точки зрения и по предположениям астраханских товарищей (о чем мы знали из сообщений С. М. Кирова) должна была стать опорной базой для высадки частей Красной Армии и развертывания дальнейшей борьбы за Советское Закавказье.

Главной причиной ее падения было не предвиденное нами изменение в соотношении сил Деникина, Красной Армии и флота — в пользу контрреволюции. Ввиду этого «советский оазис» в Ленкорани оказался обреченным.

Положение Советской России на южных фронтах становилось все труднее. Деникину удалось с помощью англо-французских союзников значительно усилить свою армию и ускоренным темпом продвигаться на север; угрожая Донбассу, он стремился уже прорваться в Москву.

Иная обстановка сложилась на востоке страны, где наши войска вели успешные бои с колчаковскими бандами. В Туркестане Красная Армия, перейдя в наступление, оттеснила контрреволюционные силы «закаспийского правительства» и уже вплотную подходила к Красноводску. Близка была перспектива полного освобождения Закаспия. Это, конечно, очень радовало нас, хотя мы и понимали, что реальной помощи от Красной Армии в тот момент нельзя было ожидать: морское побережье блокировалось английскими и деникинскими военными кораблями.

Оценив сложившуюся обстановку и учитывая прежде всего уроки поражения в Ленкорани, мы решили новых очагов восстания не организовывать, а поддерживать, насколько это будет возможным, существующие, главные из которых были в Дагестане и Чечне. Эти восстания Деникин так и не смог подавить. Долго продержались повстанцы в Зангезуре и Карабахе, а также в Казахском уезде Азербайджана. В этих районах под знаменем Советской власти очень дружно выступали совместно азербайджанские и армянские крестьяне.

Перед нами встали тогда очень сложные задачи.

Во-первых, надо было ввести революционное движение рабочих Азербайджана в такие рамки, чтобы не допускать их разрозненных и преждевременных политических выступлений, накапливать силы, организационно укреплять партию и нашу подпольную вооруженную организацию. Временно надо было воздержаться от открытого вооруженного выступления — до перелома обстановки на деникинском фронте в пользу Красной Армии.

Во-вторых, мы были обязаны усилить конкретную помощь Советской России и в ее борьбе с контрре-

волюцией. Для этого мы наладили дополнительную отправку в Астрахань бензина, о чем нас очень просили тогда астраханские коммунисты и в первую очередь С. М. Киров. Кроме того, мы создали разветвленную сеть нашей разведки на территориях, занятых Деникиным, организовали там сбор ценной военной информации и ее передачу командованию Красной Армии через наших агентов, систематически переходивших линию фронта.

В-третьих, мы установили крепкие связи с партийными организациями ряда городов Северного Кавказа, занятых Деникиным, и мобилизовали их на организацию подрывной работы в тылу белогвардейцев.

В-четвертых, мы добились усиления набегов горских партизанских отрядов Дагестана и Чечни на ближайшие к ним тылы деникинской армии.

В конце июня совершенно неожиданно в Баку появился Борис Шеболдаев, который при Бакинской коммуне был заместителем наркома по военно-морским делам. Оказалось, что при эвакуации вооруженных сил в 1918 году из Баку в Астрахань, когда наши пароходы были остановлены у острова Жилого (о чем я уже раньше рассказывал), ему удалось сойти на берег вместе с двумя товарищами, захватить рыбацкую лодку и с большими трудностями, еле живыми добраться на ней до форта Александровского. Оттуда Шеболдаев на лодке направился в Астрахань, а потом был послан в район Кизляра с тем, чтобы пробраться дальше в Дагестан и связаться там с местными повстанцами. Проявив исключительную находчивость и изобретательность, Шеболдаев сумел выполнить это поручение. Некоторое время он работал в Дагестанском обкоме партии, откуда и прибыл к нам в Баку.

Мы были очень рады такому пополнению своих рядов. Шеболдаев был несколько старше нас, к тому же он имел довольно большой военный опыт. Его появление у нас, особенно в тот момент, когда нам предстояло организовывать военную разведку, было подлинной удачей.

Решением крайкома партии Шеболдаеву было поручено возглавить нашу разведку. Мы тщательно обдумали организационную сторону работы этой разведки. Весь северокавказский тыл Деникина разбили на округа — Ростов, Краснодар, Армавир, Грозный и Царицын; в каждом из таких округов было решено иметь главного резидента с группой разведчиков, обеспеченных необходимыми шифрами и средствами связи. Шеболдаев стал во главе общего штаба разведки, причем ему было предоставлено право лично подбирать нужных людей.

На штаб Шеболдаева возлагалось также руководство разведывательной сетью в Энзели и некоторых других пунктах Персии, где тогда господствовали англичане. К нему должна была поступать вся информация военного характера от местных партийных организаций Закавказья, могущая представить интерес для командования Красной Армии.

БОРЬБА ЗА ТАКТИКУ ЕДИНОГО ФРОНТА

В связи с победами Деникина у нас возник ряд тактических проблем. Деникинская реакция угрожала не только революционному пролетариату России, но и существованию закавказских национальных республик. Меньшевики, ненавидя большевиков, радовались победам Деникина и тому, что ему удалось, как они считали, оградить Закавказье от большевистского центра.

Однако полная победа Деникина создавала угрозу также и для меньшевиков, поскольку в случае победы белогвардейцев вряд ли меньшевики оказались бы нужны бывшим царским генералам. Те не очень-то стали бы с ними церемониться. Поэтому победы Деникина на юге России встревожили меньшевиков, которые всегда «болтались» между революцией и контрреволюцией. Беспокойство охватило также и азербайджанское буржуазное правительство: это находило свое отражение в прессе правящих партий и в выступлениях отдельных представителей правительства. Надо сказать, что деникинцы с каждой победой соблюдали все меньше и меньше «церемоний» и вели себя все более нахально по отношению к этому карикатурному правительству.

Больше же всего победы деникинской армии встревожили трудящиеся массы Закавказья. Деникинская угроза волновала не только передовых рабочих и крестьян, стоявших за Советскую власть, но и ту националистически настроенную часть населения Закавказья, которая в победе деникинцев видела угрозу своим национальным завоеваниям. Поскольку же против Деникина боролись только большевики и Советская Россия, взгляды этой части населения стали заметно меняться: недоверие к большевикам постепенно сменялось определенной симпатией.

Кажется, в начале июля глава меньшевистского правительства Гегечкори в своей речи на заседании Тифлисского совета бросил фразу, что они тоже, мол, желают бороться с «генеральской деникинской контрреволюцией» и что «в этом деле не мешало бы объединить все силы демократии».

Мы, конечно, хорошо понимали, что Гегечкори не собирается всерьез объединяться с большевиками и вести настоящую борьбу с деникинской опасностью. Он добивался лишь одного: завоевать авторитет в революционных массах, которые меньшевиков не поддерживали. Он хотел произвести впечатление также и на английское военное командование и на самого Деникина, как бы предупреждая его, что в случае нападения на Грузию против него восстанет весь народ, все до единого. Вслед за меньшевиками аналогичные выступления последовали и со стороны мусаватских руководителей.

На совместном заседании Бакинского бюро крайкома и Бакинского комитета партии мы обсудили создавшуюся ситуацию. Было принято решение обратиться к меньшевикам и мусаватистам с предложением организовать единый фронт всех сил демократии и национальных сил для борьбы с Деникиным. С этим согласились и члены крайкома в Тифлисе. На основании этого решения президиум Рабочей конференции обратился к Тифлисскому совету рабочих депутатов с предложением о создании единого фронта трудящихся Кавказа для борьбы с контрреволюцией.

Мы — большевики — открыто заявили тогда, что, не поддерживая существующие буржуазные правительства закавказских республик, мы готовы вместе с тем поддержать всякую реальную борьбу отдельных партий, групп и даже правительств, направленную против Деникина, и в этих целях предлагаем созвать Закавказский рабочий съезд, чтобы обсудить все эти вопросы и создать закавказскую организацию, которая и займется практической мобилизацией сил трудящихся на борьбу с Деникиным. При этом мы говорили, что готовы мобилизовать на это дело бакинских рабочих и поставить и их и всю нашу партийную организацию под ружье — хотя бы в составе вооруженных сил буржуазных правительств.

По нашему поручению такое предложение огласил и обосновал на заседании Рабочей конференции Го-



Ленкоранский маяк — место ожесточенного боя красных партизан с белогвардейскими бандами. Здесь был смертельно ранен Т. И. Ульянов (Отраденев).

гоберидзе. Предложение это было принято единодушно, с большим подъемом. Была послана соответствующая телеграмма Тифлисскому совету.

Скоро из Тифлиса был получен ответ, что они принимают наше предложение и просят разрешить выехать представителям Тифлисского совета в Баку на Рабочую конференцию для ознакомления и предварительного обсуждения вопроса о созыве рабочего съезда. Со своей стороны, они приглашали представителей нашей Бакинской Рабочей конференции для переговоров в Тифлис.

Из Тифлиса к нам приехали тогда Герасим Махарадзе, Урушадзе и еще третий представитель, фамилию которого я не запомнил.

Зная, что Рабочая конференция в целом была за нас и меньшевики со своими речами ничего там сделать не могут, мы опасались другого: как бы рабочие не сорвали их выступлений и тем самым не вызвали излишнего обострения отношений на конференции, что могло бы послужить для меньшевиков поводом к прекращению переговоров о создании единого фронта. Поэтому мы предупредили всех наших товарищей, чтобы они терпеливо выслушивали меньшевиков и дали им возможность полностью высказаться.

Мы понимали, что успешное проведение тактики

единого фронта позволит нам также найти доступ в ряды пролетариата других республик Закавказья. Такая тактика придется по душе рабочим, поднимет авторитет нашей партии, будет способствовать объединению сил всех трудящихся Закавказья для борьбы с Деникиным и в конечном счете явится серьезной поддержкой пролетариату всей России в его тяжелой борьбе с контрреволюцией. Понимая все это, мы решили на это время сосредоточить свою пропаганду не на разногласиях, разделявших ряды пролетариата Закавказья, а на их общем и главном интересе — на борьбе против опасности деникинской контрреволюции.

Официальный оратор от коммунистов Филипп Махарадзе (который в те дни находился в Баку), выступавший на Рабочей конференции под чужой фамилией, не смог, однако, удержать себя в «рамках». Хотя мы его и предупреждали о необходимости «сдерживаться», выступил он очень резко. Из его речи можно было сделать вывод, что, пожалуй, нам с меньшевиками больше не о чем и разговаривать.

Однако общий ход конференции не дал меньшевикам повода к срыву переговоров. Рабочие, спокойно выслушав выступления делегатов грузинских меньшевиков, единогласно приняли резолюцию, предложенную коммунистами.

Тогда меньшевистская делегация попросила у Рабочей конференции разрешения выступить на одном из массовых рабочих митингов. На это им было дано согласие. Помню, в Балаханах состоялся большой митинг рабочих, на котором выступали грузинские меньшевики. Мы решили официального оратора от Бакинского комитета партии на этом митинге не выдвигать, а дать возможность самим рабочим справиться в споре с меньшевиками. Рабочие сделали это великолепно. Меньшевики уехали из Баку крайне удрученные: массы рабочих неожиданно для них проявили полное единодушие с коммунистами и лишили их — меньшевиков — возможности найти хоть какую-нибудь лазейку для проведения своей политики. Меньшевики воочию убедились, что среди рабочих Азербайджана успеха они иметь не будут. Более того, они стали опасаться, как бы мы не явились «разой» для рабочего класса Грузии.

Намечая политику единого фронта, мы предвидели несколько возможных перспектив. В случае срыва этой политики меньшевиками мы фактически ничего не теряли, а лишь еще больше поднимали свой авторитет в массах. При удачном исходе мы надеялись на созыв Закавказского рабочего съезда, самый факт которого явился бы для нас большим завоеванием, так как на этом съезде мы, несомненно, имели бы большинство, ведя за собой рабочий класс Азербайджана, железнодорожников Армении, представителей Дагестана, а также часть рабочих Грузии. Нам было ясно, что если этому рабочему съезду удастся сделать борьбу с Деникиным реальным делом, то мы, даже и войдя в состав национальных армий, сумеем завоевать там необходимое влияние. А это было бы для нас большим достижением.

После отъезда из Баку делегации Тифлиссского совета выехала в Тифлис и делегация Бакинской Рабочей конференции. В ее состав входили Стура и Губанов и я.

Следует сказать, что до того, как мы начали переговоры с Тифлиским советом о едином фронте, меньшевистское правительство Грузии обрушило волну репрессий на грузинских коммунистов. Многие из

них были посажены в тюрьмы, а кто не был еще арестован — работал в узких рамках конспирации, потому что никакой возможности для легальной работы не было. Когда же начались наши переговоры о едином фронте, меньшевики прекратили аресты и даже разрешили коммунистам издание собственной газеты: когда мы прибыли в Тифлис, эта газета уже выходила.

В Тифлисе мы немедленно связались с крайкомом партии и обсудили перспективы организации единого фронта. Надо сказать, что многие тифлисские товарищи были настроены в этом отношении пессимистически. Филипп Махарадзе и некоторые другие товарищи прямо говорили, что меньшевики «дипломатничают», никакой борьбы против Деникина они вести не будут и, конечно, не допустят созыва Закавказского рабочего съезда. Они лучше нас знали «своих» меньшевиков, но мы все же решили добиваться осуществления своей линии, зацепившись за то, что принципиальное согласие меньшевиков на создание единого фронта получено.

Наша делегация была принята в бывшем дворце царского наместника Кавказа, где тогда помещалось правительство Грузии и исполком Тифлиссского совета. Принял нас Герасим Махарадзе, который до этого приезжал в Баку. Принял внешне очень вежливо, разговор шел в спокойных тонах, но все наши попытки выяснить, согласно ли руководство Тифлиссского совета на созыв Закавказского рабочего съезда, успехом не увенчались. Махарадзе всячески увиливал от прямого ответа, не говоря ни «да», ни «нет». Когда ему уже нельзя было дальше выкручиваться, он стал ссылаться на то, что по этому вопросу в Тифлиском исполкоме существуют два противоположных мнения и окончательно решить этот вопрос может только совет в целом. Председателем совета был сам Герасим Махарадзе.

Обещание созвать заседание Тифлиссского совета нас вполне устраивало: мы получали трибуну для выступления перед широкой рабочей аудиторией.

После этой встречи с Г. Махарадзе Стура и я телеграфировали в Баку президиуму Рабочей конференции, что «бюро Тифлиссского исполкома разбилось на две части. Одна — за созыв съезда, другая — против. Ни к какому решению не пришли. Совет будет созван в ближайшие дни. Бывшие на Бакинской конференции представители Тифлиса — члены Организационной комиссии — против съезда. Слово за Советом».

Регулярный выпуск местной партийной газеты да и наш легальный приезд в Тифлис заметно оживили деятельность грузинских коммунистов и оказали хорошее влияние на тифлиских рабочих. Поскольку делегаты Баку пользовались неприкосновенностью, мы решили заполнить время до созыва Тифлиссского совета публичными выступлениями. Побывали на собрании профсоюза служащих аптек и союза кожевников; в составе правлений этих профсоюзов было много коммунистов. Стура и я выступили там с докладами об успехах рабочего движения в Баку, о задачах единого фронта в борьбе против деникинской угрозы. Мы призывали тифлиских рабочих встать в один ряд с бакинцами в минуту грозной опасности для русской революции и для народов Закавказья.

Должен сказать, что на всех этих собраниях рабочие встречали нас очень хорошо, слушали с большим вниманием и дружно принимали предлагаемые нами решения.

Сохранилась резолюция, принятая на собрании профсоюза служащих аптек.

«Требовать от правительства Грузии:

1. Немедленного объявления войны бандам царского генерала Деникина и его пособникам до окончательного разгрома их во имя торжества пролетарской революции.

2. Прекращения каких бы то ни было переговоров с представителями Деникина, ибо всякое промедление усиливает контрреволюционеров как на фронте, так и здесь, в тылу.

3. Для успешности борьбы необходимо создание единого рабоче-крестьянского фронта, для чего необходимо немедленно произвести пере выборы Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избранных на пропорциональных началах, и созвать рабочий съезд, как единственный классовый орган, способный группировать вокруг себя революционную демократию и принять конкретные меры для объединения всего пролетарского Закавказья».

В Народном доме мы организовали доклад на тему «Помещичье-буржуазная контрреволюция и Закавказское правительство». На это собрание официальных оппонентов меньшевики не выставили. Собравшиеся отнеслись к докладу с большим энтузиазмом. Среди участников собрания чувствовался большой подъем: таких открытых выступлений большевиков они давно не слышали.

Меньшевики же тем временем затягивали созыв заседания Тифлисского совета. Видимо, они обсуждали, как им выгоднее сорвать это заседание, свалив притом всю вину на нас, а самим, как говорится, выйти сухими из воды. В крайкоме стало известно, что Центральный комитет меньшевиков принял решение сорвать организацию единого фронта.

Однако через неделю заседание Тифлисского совета все же состоялось. Меньшевики выдвинули от себя трех ораторов: председателя совета Герасима Махарадзе, Джугели и Арсенидзе — секретаря ЦК своей партии.

Разделив между собой роли, эти ораторы старались всячески доказать, что большевики лицемерят со своим предложением о едином фронте, что в своих выступлениях в Баку они называют меньшевиков чуть ли не белогвардейцами, что в большевистской России расстреливают рабочих и крестьян, преследуют революционную демократию и т. п.

Особенно развязным в этом отношении было выступление Джугели.

Отклоняясь несколько от темы, хочу немного рассказать о Джугели. Я познакомился с ним в марте 1917 года. Тогда он еще был большевиком. Оба мы состояли в группе агитаторов при Тифлиском комитете партии. Раз два мы даже выступали вместе с ним на рабочих собраниях. Хорошо помню одно из этих собраний — у рабочих кожевенно-обувного производства Адельханова. В связи с тем, что на этом предприятии было много рабочих грузин и армян, Джугели выступал на грузинском, а я на армянском языке. Его выступление тогда мне очень понравилось, да и вообще в ту пору он производил на всех нас неплохое впечатление. Но по природе своей он оказался настоящим карьеристом и в конце концов предал большевиков. Когда произошел раскол объединенной партийной организации Тифлиса, он перешел на сторону меньшевиков, сохранив за собой пост руководителя так называемой «Народной гвардии», ставшей вооруженной опорой меньшевиков: на деле это был обычный карательный отряд, уже не раз участвовавший в подавлении крестьянских восстаний. Одним словом, Джугели был законченный предатель.

В отличие от Джугели Герасим Махарадзе вел себя на заседании Тифлисского совета более лукаво, хитро избегая грубых выпадов. Вообще же из всех них более прилично выступал Арсенидзе. Без провокационных заявлений и недостойных выпадов он прямо и откровенно заявил, что наши пути расходятся и никогда сойтись не могут.

Вспоминаю, какую любопытную комедию разыграли тогда меньшевики. Они выпустили на трибуну знаменитого в ту пору Войтинского — видного правого меньшевика, члена ЦК партии меньшевиков, который убежал от русской революции. Он всячески распинался о грузинской демократии и всемерно ее расхваливал. За ним выступил один из бывших видных лидеров бакинских меньшевиков, заядлый антикоммунист Айолло, предавший в 1918 году рабочий класс Азербайджана английскому империализму. Руки его были в крови 26 бакинских комиссаров. Я знал его лично и остро ненавидел. Запаканный политической грязью с головы до ног, он удрал в свое время из Баку, нашел приют у тифлиских меньшевиков и выступал у них как «знаток» бакинского пролетариата.

Надо сказать, что Тифлиссский совет не переизбирался уже более года. Наиболее революционная его часть несколько раз арестовывалась или изгонялась, а совет пополнялся меньшевистскими чиновниками. Помню, в зале совета преобладали «рабочие депутаты» с кокардами и погонами. Публика была в основном чиновничья. Помню, что нас тогда очень поразила резкий контраст между этой публикой и Бакинской Рабочей конференцией. Рабочих здесь было очень мало. На галерку же, несмотря на применявшийся меньшевиками «фильтр», пробралось довольно много рабочих. Были среди них и коммунисты. Поэтому если внизу зал кипел лютой ненавистью к большевикам, то галерка почти вся была за нас. Если аплодировал зал, — галерка свистом и шумом заглушала эти аплодисменты. Когда же аплодисменты раздавались со стороны галерки, — свист и шум шел снизу.

Первым из бакинских представителей выступал я. Мне хотелось в спокойных тонах, без всяких личных выпадов обосновать нашу позицию и опровергнуть все то, что говорилось здесь грузинскими меньшевиками. Но выступление мерзавца Айолло вывело меня из терпения. Я решил, не вступая с ним в дискуссию, одной резкой фразой отбросить его. Хорошо помню, как я сказал: «Прежде чем отвечать на высказанные здесь возражения против единого фронта и излагать нашу платформу, я должен заявить, что считаю ниже своего достоинства отвечать на хулиганские выступления подлого провокатора Айолло — этого изверга, давно выброшенного бакинским пролетариатом за борт революции».

Еле успел я окончить эту фразу, как раздался невообразимый шум в зале, аплодисменты и возгласы одобрения на галерке. Несколько человек, сидевших в первых рядах зала, поднялись с мест и с криками «провокатор», «лжец», «избить его», «убить» набросились на меня — кто с поднятыми кулаками, а кое-кто даже выхватили револьверы. Начался невероятный хаос.

Тогда члены президиума решили успокоить своих не в меру разбушевавшихся коллег по партии. От имени президиума выступил все тот же Джугели и заявил, что хотя «все то, что говорил здесь Микоян, — это ложь и клевета», тем не менее мне надо дать возможность договорить, что таким способом меня нельзя лишать слова, что потом они ответят на все наши «клеветнические обвинения» и т. п.

Публика немного успокоилась.

Уже в более спокойных тонах я стал опровергать один за другим аргументы выступавших до меня меньшевистских ораторов, отмечая их нападки на большевистскую партию, на Советскую Россию, стараясь сосредоточить их внимание на том, что деникинская опасность нависла сейчас не только над Советской Россией, но и над всеми народами Закавказья. Говорил о том, что хотя Деникин и одерживает сейчас победы, но победы эти временные, что он неизбежно потерпит крах на юге России, как потерпел его Колчак на востоке, хотя ему и удалось до этого занять там всю Сибирь, Урал и часть Поволжья. Я обвинял меньшевистских лидеров в двуличии, доказав, что, ведя переговоры с представителями бакинских рабочих об организации единого фронта против деникинской опасности, они одновременно вели тайные переговоры с представителями Деникина в Тифлисе.

В зале, мягко говоря, было неспокойно. Из первых рядов продолжали раздаваться враждебные реплики и выкрики, а на галерке по-прежнему аплодировали. Однако, несмотря на этот шум, я высказал все, что хотел.

Следующим от нас выступал Георгий Стура. Своей содержательной, спокойной речью он вновь вызвал аплодисменты с галерки и враждебные выкрики из зала, поскольку и он разоблачал гнилую, предательскую политику меньшевиков.

Во время его выступления я с сожалением думал, как это я поддался на провокацию Айолло и по своей горячности дал повод меньшевикам устроить скандал в самом начале наших выступлений! Но тут же я и успокоил себя: ведь все равно никакого влияния на исход дела это оказать не могло, потому что из выступлений меньшевистских представителей совета было ясно, что все у них было заранее предопределено.

Очень тяжелое впечатление осталось у меня после выступления Аршака Зурабова, бывшего члена меньшевистской фракции Государственной думы. В 1917 году Зурабов прошел по меньшевистскому списку в Учредительное собрание. Это был хороший оратор; я слушал его доклад в Баку 2 мая 1917 года: тогда он развивал некую «промежуточную» позицию, не вполне оправдывая оборончество и в то же время критикуя Временное правительство. Я знал и о том, что несколько позднее, продолжая не во всем разделять политику меньшевиков, Зурабов вошел в группу меньшевиков-интернационалистов.

Выступая здесь, на заседании совета, Зурабов высказался довольно недвусмысленно за политику соглашения с большевиками в борьбе с белогвардейской контрреволюцией. Надо сказать, что Зурабов говорил очень убедительно — чувствовался опытный, умелый оратор. Слова его легко могли дойти до сознания рабочих-меньшевиков. Именно поэтому его выступление сразу же было воспринято президиумом и частью присутствующих враждебно; опять начался шум и раздались злобные выкрики не только из передних рядов зала, но и со стороны президиума. Помню, Джугели злобно бросил Зурабову реплику: «Политический хамелеон!». Озлобленные «предательством» Зурабова, меньшевики кричали с мест: «Иди вон, твое место не в Грузии, а в дашнакской Армении!»

Выражение лица Зурабова свидетельствовало о его жалком и вместе с тем трагическом состоянии: оскорбления сыпались на него со стороны его же вчерашних товарищей по партии и, очевидно, больно били по сердцу. Скажу по совести, мне было жалко

этого человека, ошибавшегося, часто колебавшегося, но все же заслуживающего определенного уважения.

Джугели, коротко выступив второй раз, оспаривал мое утверждение, что меньшевистское правительство Грузии ведет тайные переговоры с представителями Деникина. «Таких переговоров мы не ведем, — говорил он. — Мы ведем переговоры с английским командованием». Это его «опровержение» скорее походило на подтверждение тех сведений, которые мы имели. Значит, логично рассуждали мы, они действительно вели переговоры с представителями Деникина при посредничестве англичан и, видимо, чего-то уже добились. Иначе зачем им понадобилось так круто обрывать наши более чем месячные переговоры о едином фронте? Видимо, вся эта «игра в переговоры» с нами имела целью лишь напугать английское командование и деникинских представителей и, как говорится, подороже продать себя.

Через некоторое время все это стало еще более очевидным: мы узнали, что английское командование, желая закрепить свое влияние в закавказских республиках и пользуясь зависимостью Деникина от снабжения его армии и политической поддержки со стороны англичан, установило так называемую демаркационную линию между деникинскими «владениями», с одной стороны, и Грузией и Азербайджаном — с другой. По этому поводу в архивах сохранилось любопытное сообщение английского командования, в котором говорилось, что «генералу Деникину предписано не допускать перехода его войск на юг от этой линии, а Кавказские Штаты не должны продвигаться на север от нее. Кавказские Штаты должны воздержаться от всяких агрессивных действий против добровольческой армии и содействовать генералу Деникину по крайней мере снабжением нефтью и другими припасами для Каспийского флота, одновременно воздерживаясь от снабжения ими большевистских сил».

Это сообщение было подписано генерал-майором Г. Н. Кори, командующим британскими силами в Закавказье.

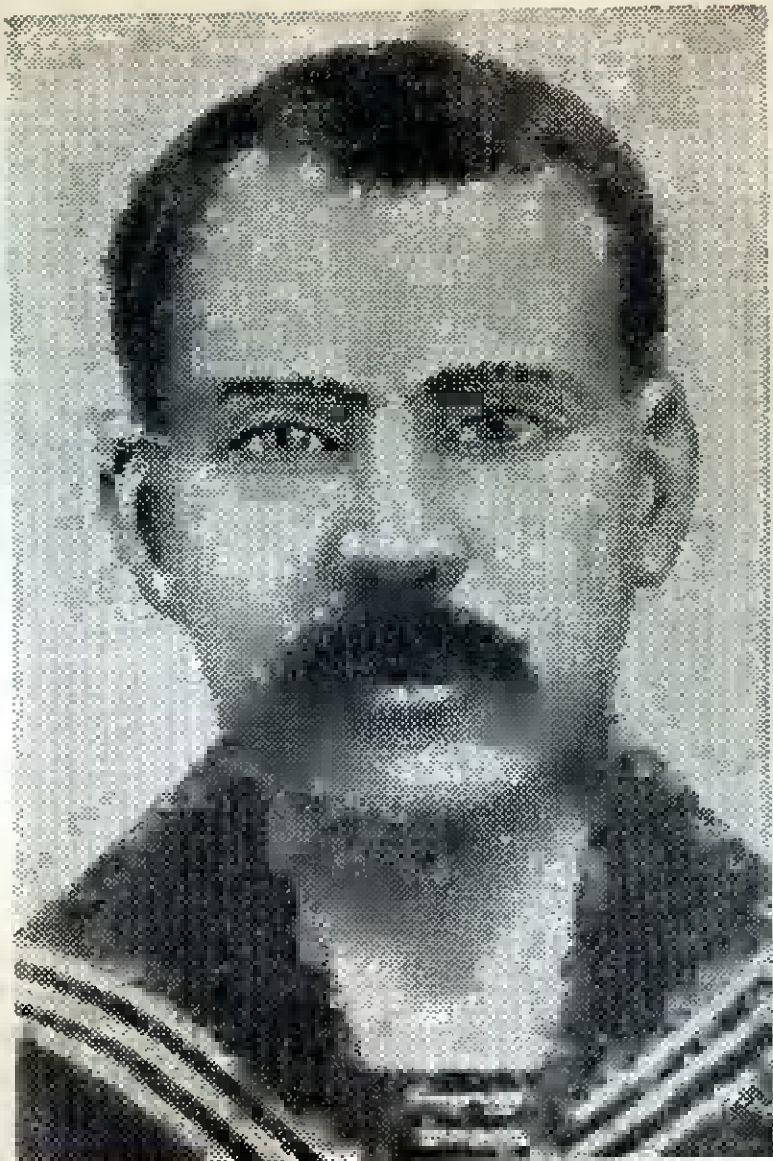
В конце заседания Тифлисского совета меньшевики предложили свою резолюцию и провели ее большинством голосов.

Наша миссия была закончена. После этого хозяева могли нас изолировать и вежливо отправить в Баку. Предвидя такой исход, наши грузинские друзья посоветовали нам еще до окончания заседания выйти из здания совета, чтобы не попасть в руки меньшевиков. Соблюдая все необходимые предосторожности, мы это и сделали довольно успешно.

Вместе с тем мы договорились со Стура не выезжать сразу в Баку, а задержаться в Тифлисе, чтобы провести несколько открытых выступлений среди рабочих, пока это будут терпеть меньшевики. Посоветовались по этому поводу с товарищами из крайкома партии. Те поддержали нас. Решено было выступить на нескольких собраниях в качестве представителей бакинских рабочих; такие выступления, по мнению местных товарищей, могли оказать большое влияние на рабочих.

Первый митинг решили провести в главных железнодорожных мастерских Тифлиса. В этих мастерских работало, как помнится, что-то около трех-четырёх тысяч рабочих. Во главе профсоюза железнодорожников тогда стояли меньшевики. Конечно, мы и думать не могли, чтобы организовать этот митинг с помощью профсоюзного комитета. Они нас просто не пустили бы в эти мастерские.

Тогда Тифлисский комитет партии решил действо-



Слева направо:
И. О. Коломийцев — один из руководителей Советской Мугани, первый полпред Советской России в Персии.
Т. И. Ульянов (Отраденев) — политический комиссар Реввоенсовета Мугани.

вать через одного своего товарища — Абакидзе, который был членом правления профсоюза железнодорожников.

Мы условились с Абакидзе, что за пять минут до окончания работы во всех цехах будет объявлено о проведении митинга и рабочие соберутся в паровозном цехе. Так и было сделано. Мы вовремя оказались на месте. Однако меньшевики уже успели распустить часть рабочих, и нам удалось собрать что-то около тысячи человек. Члены профсоюзного комитета выступили против открытия митинга, заявив, что митинг не подготовлен, что никому заранее о нем не было объявлено, что многих рабочих нет, что нужно митинг отложить на завтра, когда можно будет собрать всех рабочих.

После выступления Стуруа, высказавшегося за немедленное проведение митинга, рабочие подавляющим большинством голосов решили митинг начать.

На митинге выступали Стуруа и я. Мы рассказали о борьбе российского пролетариата, о деникинской угрозе рабочему классу не только России, но и Закавказья, разоблачали политику меньшевиков, которые сорвали создание единого фронта и отклонили созыв рабочего съезда. От имени бакинского пролетариата мы заявили о готовности рабочих Азербайджана до конца бороться против нашего общего врага — Деникина. «В то время, — говорил я, — когда лучшие наши товарищи сидят в тюрьмах, а вчера и позавчера арестованы еще новые сотни рабочих и революционеров, в то время, когда ветеран революции Миха Цхакая, вождь кавказских рабочих, брошен в Кутаисскую тюрьму, — в это время деникинские генералы и офицеры открыто разгуливают по улицам Тифлиса и организуют контрреволюционные банды против рабочих России». Взрыв негодования и выкрики: «Позор меньшевикам, долой их!», «Свободу нашему Цхакая!», «Да здравствует единый рабочий фронт!» — были ответом собрания на эти слова.

После нас было еще много других выступлений — и меньшевиков из профсоюза, и рабочих-железнодорожников, и грузинских коммунистов. Обстановка складывалась явно в нашу пользу.

И действительно, когда дело дошло до голосо-

вания, участники митинга громадным большинством приняли предложенную нами резолюцию, осуждавшую меньшевиков и обвинявшую их в срыве единого фронта и созыва Закавказского рабочего съезда, в преследовании революционеров, в покровительстве и помощи деникинской контрреволюции.

Как только митинг был закончен, мы постарались поскорее, незамеченными, выбраться из мастерских, чтобы не попасть в лапы подоспевшей полиции. Нам удалось вовремя скрыться.

Мы вернулись в Баку. На этом закончились наши попытки создать единый фронт борьбы с деникинщиной в Закавказье. Больше никаких переговоров между нами и грузинскими меньшевиками уже не было. В самой Грузии продолжалась ожесточенная борьба грузинских большевиков с меньшевиками-предателями. Дашнакское правительство Армении занимало в то время «нейтральную» позицию по вопросу единого фронта, поэтому никаких переговоров с ним мы вообще не вели.

Что же касается Азербайджана, то когда непосредственная опасность деникинского вторжения нависла над Закавказьем, партия мусаватистов подняла вокруг этого большой шум и начала даже кампанию подготовки борьбы против деникинской опасности. Представители Бакинского комитета нашей партии, а также «Гуммета» и «Адалета» несколько раз встречались с мусаватистами и вели переговоры о едином фронте против деникинской опасности. Вначале эти переговоры шли удовлетворительно. Нами проводилась большая мобилизационная кампания в рабочих районах, особенно среди мусульман. Мусаватисты пытались захватить инициативу в свои руки; они даже собрались организовать массовую демонстрацию рабочих. Вопрос этот обсуждался на межпартийном совещании. Наши товарищи предлагали несколько отсрочить проведение демонстрации, поскольку мы не были к ней достаточно подготовлены. Мусаватисты на это не соглашались.

В нашей среде начались споры. Одни предлагали вообще не участвовать в этой демонстрации и тем самым бойкотировать ее. Другие хотя и признавали, что мы плохо к ней подготовлены, но тем не менее

считали, что было бы политически неправильно бойкотировать такую демонстрацию, надо дать согласие на ее проведение и принять в ней самое активное участие.

Эта последняя точка зрения была признана правильной. Сторонников коммунистов на демонстрации было немного, но наши ораторы Караев, Гогоберидзе и Агаев имели на митинге большой успех, особенно среди рабочих-мусульман, в чем мы были тогда очень заинтересованы.

Дальнейший ход событий показал, что мусаватисты, как и грузинские меньшевики, и не собирались вести настоящую борьбу с Деникиным, а стремились всячески использовать свои разговоры и «активную» позицию как средство давления на английское командование, чтобы оно защитило их от Деникина. Кроме того, зная популярность в рабочем классе антиденикинских лозунгов, они хотели в какой-то степени реабилитировать свою партию в глазах рабочих как «левую». Однако именно эту вторую задачу им решить не удалось.

Вскоре они прекратили даже и словесную кампанию против Деникина. Это произошло, когда английское командование гарантировало Азербайджану, что нашествие Деникина не произойдет при условии, если Азербайджан будет оказывать содействие Деникину в снабжении нефтью и другими материалами и не будет продавать нефть Советской России. Это еще больше разоблачало в глазах трудящихся партию мусаватистов как буржуазную партию. В свою очередь, Бакинская организация РКП(б), коммунистические организации «Гуммет» и «Адалет» еще более усилили свои позиции среди рабочих-мусульман.

Таким образом, хотя тактика единого фронта против деникинской опасности и не восторжествовала, наша борьба за создание такого единого фронта дала свои несомненные положительные результаты.

НАША КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА. СЕМЬЯ КАСПАРОВЫХ

Вряд ли надо говорить, сколь важную роль — по тогдашним условиям подполья — играла конспирация, надежность и преданность людей, у которых мы встречались, через которых связывались друг с другом, чьи квартиры нередко становились боевыми штабами нашей подпольной большевистской организации.

С начала 1919 года основной конспиративной квартирой бакинских большевиков-подпольщиков стала квартира Каспаровых. Она не знала ни одного провала и, так сказать, с честью выполняла эту свою роль до самого дня восстановления Советской власти в Азербайджане в конце апреля 1920 года.

Дочь хозяйки этой квартиры, Мария Каспарова, вспоминает:

«Трехэтажный дом, в котором мы жили, был расположен в самом центре города, в буржуазном районе (на углу Карантинной и Красноводской улиц). Квартира наша находилась на третьем этаже; под нами, на втором этаже, жил сам домовладелец — Адамов. Все жильцы дома были людьми состоятельными. Все это как нельзя лучше отвечало нашим конспиративным планам. И действительно, трудно было поверить, что именно здесь находится штаб подпольной коммунистической организации Баку. Моя добрая, умная мама сразу дала согласие на использование квартиры для революционных целей. Более года у нас проводились тайные встречи и совещания руководителей Коммунистической партии. Здесь бы-

вали С. Орджоникидзе, А. Микоян, Караев, Филипп Махарадзе, Вано и Георгий Стурца, Шеболдаев, Мамия Орахелашвили, Камо, Гамид Султанов, Буниятзаде, Мир Давуд Гуссейнов, Леван Гогоберидзе, Саркис, Георг Алиханян, Бесо Ломинадзе, Исая Довлатов и другие. Некоторые из них скрывались здесь довольно продолжительное время. На этой же квартире летом 1919 года состоялась Кавказская краевая конференция большевистской партии...

Но все же один раз в нашей квартире побывала полиция. Дело было так: кто-то со двора предупредил, что к нам направляются полицейские. В это время в квартире находились старшие члены нашей семьи — бабушка, мама, тетка и дети. Когда полицейские открыли дверь в столовую, они увидели такую картину: за накрытым столом мирно сидят бабушка, мама, дети — Грация и Лева, а также тетка — молодая, красивая женщина. Пьют чай и едят простоквашу. Видя такую «мирную семейную «идиллию», полицейские даже не переступили порога комнаты и, всячески извиняясь, ретировались. А между тем в соседней комнате хранились золотые и бумажные деньги, доставленные из Астрахани — через Каспийское море — Бакинской партийной организации. Хранилось в квартире и оружие».

Удивительной была эта семья Каспаровых. Немолодая, но еще очень бодрая Татьяна Каспарова была доброй матерью, радушной и гостеприимной хозяйкой. В политические разговоры она обычно не вмешивалась, но всей душой была предана делу революции. Она хорошо знала, с каким риском для нее и семьи связано использование ее квартиры большевиками. Но ни разу мы не замечали у нее хотя бы малейшего сомнения или колебания, продолжать ли ей эту крайне опасную игру. Она не знала страха. При нашем появлении мы всегда встречали ее неизменное радушие и заботу.

У нее было пятеро детей. Трое старших уже находились в рядах нашей партии и активно нам помогали, особенно в устройстве конспиративных связей и встреч.

Старший ее сын, Ваня, был молодой врач. Впоследствии, когда С. М. Киров был уже в Ленинграде, Ваня работал заведующим орготделом Ленинградского обкома партии. Дочь Мария работала в то время техническим секретарем Кавказского крайкома партии. Вторая дочь, Роза, была студенткой 3-го курса Петербургского медицинского института. Третья дочь, Грация, была тогда еще школьницей; позже она вступила в большевистскую партию. Их младший брат, Лева, тогда совсем мальчик, со временем тоже стал коммунистом.

О Розе Каспаровой хочется рассказать особо. Она вернулась в Баку из Петербурга весной 1917 года. Здесь не пропускала собраний, лекций, проводимых большевиками, читала марксистскую литературу. Еще до Октябрьской революции, в августе 1917 года, Роза вступила в ряды Бакинской организации большевиков.

В марте 1918 года — в дни мусаватского мятежа против Советской власти — Роза проявила себя отважным борцом. Она работала в лазарете. Рассказывали, как она, не боясь вражеских пуль, стоя на санитарном грузовике в белом халате, разъезжала вдоль окопов по улицам города, перевязывала раненых красногвардейцев, перевозила тяжелораненых. Впервые я встретил ее именно тогда, в лазарете, когда она перевязывала и мою раненую ногу. Красивая, жизнерадостная, заботливая, всегда с улыбкой, она буквально пленяла сердца раненых бойцов, радуя их своим присутствием.

В конце лета 1918 года, когда турецкие войска по-

дошли к стенам Баку, она добровольно уехала на передовые позиции.

Там, под огнем противника, она выносила на спине раненых. Все ее искренне полюбили. Вместе с бойцами она оставалась на передовых позициях до последнего дня обороны Баку. После временного падения Советской власти в Азербайджане Роза работала в подполье.

Помню, что, когда мы подбирали наиболее проверенных, надежных партийцев для работы в тылу Деникина, Роза Каспарова, узнав об этом, настояла, чтобы ее направили туда. Мать ее против этого возражать не стала, хотя можно представить себе ее чувства. Я тоже дал согласие. С ней поехала еще одна девушка, 18-летняя Катя, только что вышедшая замуж за моего близкого товарища, бакинского коммуниста Костю Румянцева. В то время Костя был направлен в район Ростова и Новочеркасска во главе группы товарищей. Он был арестован, сидел в тюрьме у Деникина и избежал верной смерти лишь благодаря наступлению Красной Армии.

Систематические сообщения Розы из деникинско-го тыла в Кавказский краевой комитет нашей партии, содержащие глубокий политический и экономический анализ положения дел в стане Деникина, показывали, как сильно она выросла в сложных условиях работы. «Ее письма к нашей матери,— рассказывает Мария Каспарова,— были полны забот о ней, проникнуты желанием как-то ее успокоить. «Обо мне много не думай, я жива и здорова»,— пишет она в одном из них. И, для того чтобы окончательно успокоить мать, добавляет: «Пришли мне мои блузки, воротнички и лиловые бусы».

Осенью 1919 года мы получили сведения, что Роза, Катя Румянцева, Сурен Магаузов и еще несколько наших товарищей арестованы в Армавире. Лично для меня это было большим ударом. Некоторое время я даже избегал появляться в квартире Каспаровых: мне все казалось, что я виноват перед ними. Об этом узнала мать Розы и через товарищей передала о своем удивлении по поводу моего долгого отсутствия в ее доме. Я начал вновь появляться у них и стал свидетелем удивительной стойкости и мужества этой женщины-матери. Ничем внешне не проявляя своего горя, она как-то собрала и поехала в Армавир, где сидела в тюрьме ее дочь. В ту пору Армавир находился в деникинском тылу.

С трудом добравшись до Армавира, мать Розы взяла на себя хлопоты и заботы не только о своей дочери, но и обо всех ее товарищах. Каждый день приходила она в тюрьму, добивалась свиданий, приносила передачи, устанавливала связь с родными арестованных товарищей.

Вскоре всех арестованных перевезли в Пятигорск. Несмотря на тяжкие избиения и пытки, белогвардейской своре так и не удалось вырвать у молодых коммунистов ни одного слова признания, не удалось сломить их дух. Друзья сильно тревожились за состояние Розы и ее товарищей. Член нашего подпольного комитета Борис Шеболдаев, который сам в это время находился в бакинской тюрьме, писал на волю—Марии Каспаровой: «Почему не пишете мне, в каком положении дело Розы и чем оно может кончиться? Так хочется сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, товарищеское, чтобы она почувствовала поддержку, чтобы у нее не было мрачных мыслей».

Среди арестованных молодых коммунистов вместе с Розой была и Тамара Наджарова. Позднее ей удалось спастись. (В настоящее время она врач.) Вот что она рассказывает: «В тюрьме я впервые познакомилась с Розой и Катей. Роза произвела на меня боль-

шое впечатление. Это была жизнерадостная девушка, с большими, красивыми, искрящимися глазами, умница, остроумная. Мы много читали, обычно вслух. Роза читала прекрасно, а мы, тесно ее окружив, восторженно ее слушали. Помню томик рассказов Куприна. В особенности Роза любила «Гранатовый браслет». Часто мы проводили с ней бессонные ночи, так как почти каждую ночь во дворе тюрьмы расстреливали наших товарищей».

Удивительны по стойкости и мужеству письма Розы, посланные из тюрьмы родным и товарищам. После пыток и избиений она пишет: «У нас есть надежда на выздоровление, постарайтесь сделать так, чтобы не повесили, а все остальное ерунда». В другом письме (матери) Роза писала: «Страстно не хочется умирать, не пожив! Ведь я почти еще не жила и вдруг—умереть! Ну, долой мрачные мысли, а то еще подумают, что я боюсь смерти. Ерунда! Ни разу со дня ареста я не заплакала, даже не прослезилась, и так будет до конца. Во Владикавказе выпустили тюрьму, вот если и здесь придет такой момент...»

Горячо любимому 8-летнему брату Левочке она писала:

«Целую тебя много раз нежно, нежно. По вечерам я долго вспоминаю всех вас, а пока желаю тебе быть хорошим мальчиком, не лениться и не делать ручкой «чернила—куча». Леленка! Я хочу тебе многое написать, но ты сейчас не поймешь. Смотри, только помни меня всегда».

Брату Ване она писала: «Все легли спать, а я пишу, завтра мое рождение. Я, как маленький ребенок, пишу и думаю, что мне принесут завтра наши. Смешно!»

Под ударами Красной Армии разгромленные деникинские части отходили из Пятигорска. При отступлении деникинцы перевезли Розу, Катю, Сурена и остальных товарищей в Грозный. Мать Розы получила прощальную записку от дочери, где она сообщала, что их везут на казнь. Утешая и подбадривая мать, Роза писала: «Дорогая мама, снова счастье вернется к нам синей птицей». Она просила воспитать любимого брата Леву стойким, преданным большевиком¹. Получив записку Розы, ее мать вновь бросилась вслед за ней и случайно попала в тот же поезд, в котором везли осужденных. Однако ей уже не удалось увидеть Розу.

Незадолго до прихода Красной Армии, 20 февраля 1920 года, в Грозном Роза и Катя были повешены. Вслед за ними был казнен и Сурен Магаузов.

За несколько часов до казни Сурену удалось послать друзьям на волю два письма, написанных на лоскутках материи, оторванных от рубашки. Поразительные письма! Какая сила духа и мужества!

Привожу здесь оба эти письма:

«Милая Тамара, посылаю последний товарищеский привет. 12 часов. Жду смерти, но чувствую себя бодро. Жизнь—в полном смысле этого слова не изведанная для меня область. Не успел осуществить свои последние желания, сижу отдельно от Розы. Она чувствует себя героически. Всех осужденных к повешению 16 человек. Привет товарищам. Целую всех крепко. Сурен».

Во втором письме Сурен писал:

«Милые друзья! Судьбе моей нужно было стать свидетелем смерти моих славных товарищей. Тяжело мне без моей милой и славной Розы. Она погибла

¹ Коммунист Лев Каспаров с первых дней Великой Отечественной войны был на фронте и погиб смертью храбрых в бою с фашистскими захватчиками.

смертью храбрых: смело, без ропота и без страха она шла к эшафоту. Погибла и молодая работница Катя.

Вечная им светлая память! Передайте матери Розы мой привет и успокойте ее. Мать такого славного, бесстрашного товарища не должна горевать и проливать слезу. Счастлива мать, имеющая таких дочерей. Сижу в секретной и третьи сутки жду своей участи. Из пятнадцати — семь революционеров, наверное, повесят сегодня. Последую примеру Розы и других товарищей и смело пойду к месту казни. Прощайте, будьте здоровы. Сурен».

Так сложили свои головы за победу революции эти отважные юные герои, беззаветно преданные делу Ленина. И таких было немало.

Я позволил себе это небольшое отступление от основной темы моих воспоминаний, испытывая моральную потребность сказать хотя бы несколько добрых слов о совсем еще молодых людях, которых мне пришлось встретить на своем жизненном пути. Их жизнь может и должна быть хорошим примером для современной молодежи.

(Продолжение следует.)



Г. А. МЕДЫНСКОМУ 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет Григорию Александровичу Медынскому, известному советскому прозаику и публицисту.

Все творчество Г. А. Медынского наполнено страстью гражданина, болеющего за лучшее устройство человеческого общежития. Его статьи и книги посвящены юности, одухотворены борьбой за становление и воспитание нового молодого человека. Широкой популярностью пользуются романы Г. А. Медынского «Марья» и «Честь», его «Трудная книга», в которой писатель исследует глубокие нравственные проблемы, связанные с трудными судьбами людей, преступивших черту закона. Произведениям Г. А. Медынского присущи гуманизм, большая жизненная правда, неизменно вызывающие благодарный читательский отклик.

«Юность» сердечно поздравляет Григория Александровича Медынского с семидесятилетием, желает ему здоровья и новых творческих открытий.

Анна
Кузнецова

КАК ЭЙНШТЕЙН АККОМПАНИРОВАЛ ГЕЛЬЦЕР

Анна Кузнецова, автор книг о народных артистах М. Д. Михайлове и И. С. Козловском, заканчивает повесть о выдающейся русской балерине Екатерине Гельцер. Мы публикуем три отрывка из этой повести, рассказывающие, сколь велика была в своей любви к искусству и к людям Екатерина Гельцер, которая посвятила свой яркий талант служению новому, социалистическому обществу.

В двадцатые годы Советская власть боролась с детской беспризорностью. Каждая щель служила ночным пристанищем для маленьких оборванных ребятишек. «Коронным» их местом были огромные трубы, заложенные в крутых берегах Москвы-реки. Отсюда днем толпы маленьких оборванцев рассеивались по городу в поисках еды.

Слушая рассказы о беспризорниках, Екатерина Васильевна Гельцер очень их жалела; когда же ей говорили, что беспризорные почти все воры и могут при удобном случае стянуть и у нее что-нибудь, она восклицала: «Мать божья, ведь я же им ничего плохого не сделала!»

И вот встреча состоялась.

Как-то Екатерина Васильевна с нянькой Авдотьей шла из театра. Нянька несла паек, который в то время получали актеры, — хлеб, чай, постное масло. В руках Гельцер была коробка с театральными костюмами. Неожиданно из водосточной канавы появились беспризорные. В лохмотьях, грязные, они начали скакать вокруг ошеломленных женщин.

Наконец круг разорвался, и, высунувшись вперед, самый маленький оборванец в длинной мужской рубаше простуженным, недетским голосом сказал:

— А мы тебя, Гельцерá, вчера в театре глядели. Русский танец ты здорово плясала.

— Якши, якши! — заорали остальные.

— Как же вы попадаете в театр?



— А мы бываем там часто, — ответил тот, что был в женском салопе. И начал таинственно объяснять, как они пролезают в какую-то трубу, оттуда попадают в театр и забираются на самую галерку.

— Так вот прямо в этих модных костюмах? — спросила Екатерина Васильевна.

Веселый, дружный хохот был ей ответом. Потом самый маленький, в длинной мужской рубаше, протянул:

— Не-е-е, мы переодеваемся! — и тут же, глядя на няньку, крепко прижимающую к себе полученные продукты, попросил: — Дай нам чутка поесть.

Невзирая на протесты Авдотьи, Екатерина Васильевна тут же поделила с ними свой паек и даже отдала всю бутылку постного масла.

На другой день Екатерину Васильевну разбудили необычно рано какие-то незнакомые голоса и царивший над ними сердитый голос Авдотьи.

— Там тебя вчерашние «господа» спрашивают... Ворвались. Никак не могу выгнать, — сказала, войдя в спальню, старая нянька.

— Какие господа? — спросила Екатерина Васильевна, выходя в переднюю.

Вверху: Екатерина Гельцер на сцене. Рисунок Константина Коровина. (Из архива Е. В. Гельцер).

И вдруг, к удивлению Авдотьи, весело расхохоталась.

Перед ней стояли вчерашние беспризорники.

— Здравствуйте, дети,— как ни в чем не бывало поздоровалась балерина.

Екатерина Васильевна не успела еще ничего спросить, как вперед, почти к ее ногам, ребята вытолкнули черного, как уголек, парнишку в каком-то уродливом жепском пальто. Шапкой ему служили иссиня-черные курчавые волосы. В больших глазах пряталось восхищение и вместе с тем страх.

— Вот танцора привели!

— Очень хорошо,— серьезно ответила Гельцер.

И тут началось такое, что выскочила даже удалившаяся было в кухню Авдотья.

Под ритмичные хлопки ладоней, под какое-то непонятное «музыкальное» сопровождение «Уголек», сбросив длинное пальто, скрывавшее его худенькое смуглое тело, оттопывая грязными пятками, начал свой фантастический танец. Тут была смесь лезгинки и гопака. Надо всем преобладала «цыганочка». Он лихо перебирал босыми ногами, ударял себя по бедрам, звонко покрикивал: «Э-эх!»

Танец кончился.

— По всему видно, что ты хочешь учиться танцевать,— сказала Екатерина Васильевна.

Смуглое большеглазое личико расплылось в блаженной улыбке.

— Сколько тебе лет?

Улыбка погасла.

— Не знаю.

— Так вот, сейчас еще немножко рановато.— Она посмотрела на часы, которые показывали шесть часов утра.— Приходи ко мне в одиннадцать. И я покажу тебя учителям в балетной школе.

В одиннадцать часов по Рождественскому бульвару шла знаменитая русская балерина в элегантной шляпе с опущенными полями, в шелковом пальто, отделанном шиншилой, и рядом маленькое существо в не соответствующей его росту одежде. Они направлялись в балетную школу.

— Не знаю, что стало с этим способным мальчиком,— много позднее вспоминала Екатерина Васильевна.— Его взяли в балетную школу, но через некоторое время он исчез.

Его все искали, в том числе и Екатерина Васильевна, которой он до этого чуть ли не каждый день посылал благодарственные письма. Эти письма Екатерина Васильевна скорее угадывала по смыслу, чем по расплывающимся, непонятным буквам.

Решительный характер няньки Авдотьи побеждал любые «козни», готовые обрушиться на ее любимую Катеньку.

Прорваться через преданную дуэньку было не так-то легко и дирижерам и представителям дирекции Большого театра.

— Спит, будить не буду! — заявляла Авдотья даже дирижеру В. И. Суку.— Она, сердешная, сегодня на ваших репетициях так умаялась, что смотреть жалко!

Будучи уже знаменитой балериной, Екатерина Васильевна все еще оставалась для Авдотьи той же маленькой девочкой, которую она когда-то водила за ручку.

Вспоминается такой случай, в котором Авдотья играла главную роль.

Для балета «Дочь фараона» Екатерина Васильевна (верная своим традициям) привезла из Парижа целый чемодан украшений от Тета¹. Здесь были и оже-

релья, и горящие огнем короны, и длинные нити жемчуга. Украшений было так много, что, когда Екатерина Васильевна их примерила, она стала похожа на зажженный светильник. И вдруг перед спектаклем чемодан с украшениями исчез!

Искали всюду.

— Как же мне быть теперь? — восклицала огорченная Екатерина Васильевна.— Кто мог взять мои тетовские бриллианты?

— Ты сама бриллиант,— заявила пропадавшая полдня и наконец появившаяся в доме Авдотья.— Играй без «камней» и почувствуешь, что никогда еще так не танцевала!

— Это почему? — машинально спросила измученная поисками Екатерина Васильевна.

— А вот потому, что я все твои камешки снесла божьей матери! Все утро сегодня ими икону украшали, а тебе за это она свою благодать пошлет!

— Да ведь бриллианты-то фальшивые.

— Ну и что же, что фальшивые,— с олимпийским спокойствием отвечала Авдотья.— Уж то, что ты сегодня будешь наипрекрасно танцевать, это я верно говорю!

У Екатерины Васильевны не нашлось даже слов поругать свою верную Авдотью.

Вечером дочь фараона не горела пламенем тетовских украшений, да они и не могли бы заменить пламень величайшего таланта, не нуждавшегося ни в каких позолотах.

Дирижер Арендс так смеялся над рассказанной Екатериной Васильевной историей, что чуть не опоздал к своему пульту.

А Константин Коровин серьезно сказал:

— Я непременно должен написать портрет няньки Авдотьи, вошедшей в историю русского балета.

Немногим довелось, как Екатерине Васильевне Гельцер, встречаться, дружить, беседовать с таким количеством выдающихся людей мира.

Леньяни и Москвин, Собinov и Коровин, Шаляпин, Станиславский и Эйнштейн...

Казалось бы, что общего между хореографией и физикой? Ничего! Тем не менее эта встреча доказала обратное.

Будучи человеком высокообразованным и любознательным, Екатерина Васильевна интересовалась буквально всем: и литературой, и живописью, и музыкой... На ее столе можно было видеть книги Ленина, Достоевского и Бальзака, Павлова, Шиллера и Лермонтова.

К каждой встрече с новыми людьми Гельцер тщательно готовилась.

Так было и на сей раз: на столе у балерины появилась книга о теории относительности, в которой она всеми силами пыталась разобраться, но... тщетно.

— О чем же я буду беседовать с Эйнштейном? Какие выскажу мысли, суждения? — волновалась балерина.

Друзья смеялись над ее отчаянием, кто-то напоминал:

— Эйнштейн не только известный ученый, но и прекрасный музыкант.

Это в какой-то мере успокоило Екатерину Васильевну, повысило ее интерес к предстоящей встрече.

— К Эйнштейну я решила поехать вечером,— вспоминала актриса.— Днем долго выбирала туалет, пока наконец не остановилась на черном воздушном платье-хитоне, сколотом на груди золотой пряжкой.

Гельцер знала, что ей обязательно придется танцевать, поэтому она захватила с собой и пуанты.

¹ Тет — фирма по продаже поддельных украшений.

Габерландштрассе, 5. Кто из берлинцев не знал этот адрес! Здесь, на седьмом этаже дома, который внешне ничем не отличался от тысяч других домов Берлина, жил Альберт Эйнштейн.

У двери со скромной дощечкой с надписью «Альберт Эйнштейн» Екатерина Васильевна остановилась, легко нажала кнопку звонка. Дверь отворилась, и на пороге появилась фрау Эльза — жена ученого: красивая немолодая женщина с седыми буклями.

— Прошу пожаловать!..

Гостью проводили в большую комнату, обставленную старомодной мебелью, с обоями зеленого цвета.

Здесь Екатерине Васильевне особенно запомнился большой рояль, на котором лежало несколько скрипок и написанные от руки ноты.

В комнату вошел мужчина выше среднего роста, с пышной шевелюрой, с мягкими усами и добрым взглядом коричневых глаз. Он как-то сразу располагал к себе. Это был Альберт Эйнштейн. Ученый почтительно склонился к руке русской балерины.

— В ожидании вас, — сказал он, — сегодня я даже упражнялся на скрипке. Мне очень хотелось бы вам аккомпанировать, конечно, если вы согласитесь станцевать...

Екатерина Васильевна, в свою очередь, призналась, что перед тем, как прийти сюда, она также волновалась и даже решила прочитать книгу «Теория относительности».

— К сожалению, — добавила Гельцер, — мои дела сложились несколько хуже: в этой книге я ничего не поняла...

— Это только потому, — заметил с улыбкой Эйнштейн, — что вы, божественная фрау Гельцер, балерина, а не физик.

Для Екатерины Васильевны было приготовлено мягкое, удобное кресло. И когда жена ученого встретила удивленный взгляд гостьи, то сказала:

— Вы так много танцуете и потому должны спокойно отдыхать! Скажите, сколько вы работаете? Наверное, очень много?..

Екатерина Васильевна только пожала плечами. Разве когда-нибудь она регламентировала свою работу? Если балерина не занималась у станка или не репетировала в танцевальном зале, то все равно она обдумывала свою роль. И это была не менее сложная работа.

Гельцер интересовало, с какого возраста Эйнштейн стал заниматься музыкой.

— Учиться игре на скрипке, — признался ученый, — я начал с шести лет, но особого интереса к этому у меня не было. Больше того: музыка казалась мне даже скучной. И только когда мне исполнилось двенадцать лет, я взялся за сонаты Моцарта. С тех пор, — продолжал ученый, — меня никто не заставлял заниматься музыкой. Мне самому захотелось стать достойным исполнителем сонат гениального композитора. И я начал день и ночь оттачивать свою технику, пока Моцарт не зазвучал под моим смычком, как мне кажется, по-настоящему.

— Прошу к столу, — пригласила фрау Эльза.

Чай пили из скромных фаянсовых чашек. На столе, покрытом клетчатой скатертью, возвышался торт с вензелями: «Е. Г.». Гостья осторожно брала маленькие кусочки бисквита, чтобы не сломать буквы, сделанные в ее честь.

Оживленная беседа продолжалась и за чаем. Заговорили о писателях, артистах, театре.

Неожиданно Екатерина Васильевна подошла к роялю и начала с любопытством перебирать ноты.

«Лунная соната» Бетховена... Во взгляде балерины читалась просьба.



Ученый встал и, подойдя к роялю, взял первую лежавшую с краю скрипку.

Эйнштейн играл не виртуозно, но игра его была впечатляющая.

Екатерина Васильевна слушала с большим вниманием. Но вот умолкли последние аккорды.

— Ну, а теперь, — предложил Эйнштейн, — разрешите мне быть вашим аккомпаниатором, если вы, конечно, согласитесь станцевать...

— Хотите «Музыкальный момент» Шуберта? Я его очень люблю!

— С великим удовольствием!

Екатерина Васильевна, тончайший интерпретатор музыки Шуберта, в своих движениях, как никто другой, передавала всю ее поэзию и необыкновенную красоту. В классических вариациях «Музыкального момента» она гармонично сочетала сложнейшие движения с необыкновенной простотой музыки.

Особенно сильное впечатление в танце производили кабриолы, которые Екатерина Васильевна делала на абсолютном пиано, передавая всю легкость колорита музыки Шуберта.

Смолкла скрипка. Ученый стоял, опустив смычок.

— Фрау Гельцер, — волнуясь, произнес он, — вы восхитительны! В вашем лице я как бы вижу весь русский балет, неповторимый и бесподобный!

— Для меня — это самая большая похвала! — ответила Гельцер просто.

Ученый сел к столу и на своей фотографии сделал надпись: «Дорогой и любимой фрау Гельцер».

Это было в 1925 году.



Я давно слежу за творчеством писателя Виктора Ильина. В свое время повесть «Живуны», опубликованная в журнале «Молодая гвардия», была одобрительно отмечена в печати, после этого выходили другие книги, и среди них — две повести, продолжавшие линию «Живунов»: «Дана Ивану голова...» и «Сыновья». Сейчас, когда все три повести объединились в одной книге (называется она «Сыновья», выпущена Волго-Вятским книжным издательством) и стали видны замысел, удача и просчеты автора, можно — да и просто необходимо — поговорить об этой большой и трудоемкой работе.

Литературная значимость того или иного автора, на мой взгляд, определяется цельностью его натуры и мировоззрения. В биографии В. Ильина, а значит, и в его книгах, реально существуют Волга, деревенский быт, рабочий поселок на новостройке, рыбалка, картина природы — все то, что может согреть душу серьезного художника.

История, рассказанная в повести «Живуны», обычна для времен первых пятилеток. Крестьянский парень Алеха приехал на новостройку химического гиганта. Но в этом знакомом, почти традиционном сюжете Виктор Ильин находит свой взгляд на события. Все внимание писатель сосредоточивает на психологии героя, на событиях вроде бы частных, но по-своему важных в его жизни. Вот один из интереснейших эпизодов повести — получение зарплаты. Инженер Утрисов говорит во время получения: «Мы будем петь и веселиться... А в это время наши товарищи по клас-

су будут изнывать в тяжких оковах капитализма». И что же — Алеха отдает свой рубль... В расчетной книжке у него пишут: «№ 1. За лапти 60 копеек. 2. За квартиру 3 р. 50 копеек. 3. Английским рабочим 1 рубль».

Сказано совсем коротко, но как точно найдено это соседство лаптей в расчетной книжке и кровного рубля (большой доли зарплаты по тем временам), отданного для английских рабочих...

Во второй повести из немногих скупых сцен — Андрейка работает на заводе, теряет мать, эвакуируется в деревню — вырастает жестокий образ войны. Опыт тех, кто пережил военное время даже в тылу, даже в детском возрасте, забываем. Кто не запомнил рынки той поры, военные поезда, отоваривание карточек и чувство необычной ответственности, делавшее нас сразу старшими? Виктор Ильин пережил войну, он смог рассказать об этой поре жестко и точно.

Третья повесть рассказывает о новом поколении ребят, выросших после войны.

Книга Ильина — серьезная работа. Жизненная правда, лежащая в основе повестей, — залог того, что они придутся по душе молодому читателю.

Анатолий ПРИСТАВКИН

Книга становится ближе, если ощутить меру тех трудностей, какие стояли перед ее автором. Он уже прославлен операциями на сердце и заразил нас па-

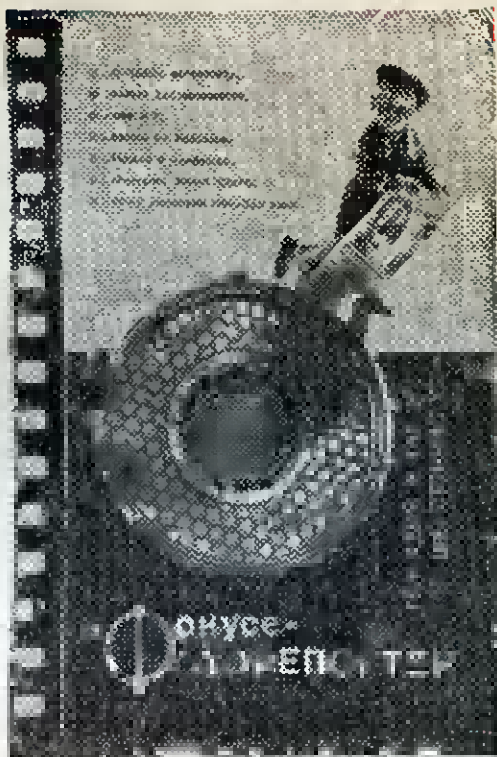
фосом этой профессии, и мы готовы снова и снова слушать об испытаниях его духа на этом пути. Но сейчас тот же пафос своего дела ведет его в глубь проблемы анабиоза (Н. Амосов «Записки из будущего», изд-во «Знание») и не укладывается в рамки популяризации или публицистики. Конечно, разговоры по любой научной проблеме можно вести и в привычных рамках романа приключений, и даже знатоки бывают достаточно благосклонны к таким книгам, хотя обычно и сетуют на их художественные слабости. Но на этом пути в лучшем случае получится занимательное или познавательное чтение, а главный его интерес — трепет дела — сведется тогда к экзотическому орнаменту или проблемному довеску, каким бы ни было художественное дарование автора. И Амосов остается собой и строит повествование, которым движет трепет самого научного исследования, когда идея, едва родившись, начинает искать свое место в реальной жизни и, уже неподвластная творцу, вовлекает в это движение судьбы людей, очарованных новой возможностью.

Правда, уступая традиции, автор прибегает к подзаголовку «научно-фантастический», но, по сути, это детальный рассказ о дерзком эксперименте, и то, что пока еще таких не проводили, не большая литературная условность, чем правдоподобно придуманная завязка любого романа. И вот герой обречен болезнью, но еще намерен поиграть в прятки со смертью — законсервировать себя на неопределенный срок без реальных шансов выжить. Торопится ли он покинуть мир, не дожидаясь беспомощности и

мучений, или тешится эффектным завершением карьеры, или просто не может не проверить свою идею до конца? А его любимая? Ведь с ее помощью он должен, в сущности, умереть и скорее всего действительно умрет, только она об этом неизвестно когда узнает; и кем же он теперь станет для нее, и почему она ему все-таки помогает? Казалось бы, поводов для драматизации хоть отбавляй; а между тем автор как бы представляет разбираться во всем читателю, стараясь лишь во всей полноте передать последствия развивающегося дела. Лаконичная, суховатая, отрывистая проза точно протокол бесед, деловых записей и самонаблюдений, ведущихся по ходу исследования.

Но стоит ли сетовать на технические детали или робость психологического анализа? Да и так ли это? Ведь в эту прозу вошел самый дух научного искания, который, не помышляя об идеале, видит свой вышший долг в преследовании истины во всей ее полноте и, ничего не принимая на веру, рассматривает не должное, а лишь допускающие проверку гипотезы, ищет не справедливости, а лишь выяснения взаимодействия причин. Думается, что в наши дни этот путь познания усложняющейся действительности становится все притягательнее. И вряд ли случайно художники все чаще добиваются очевидных успехов в документальной прозе, отказываясь от столь драгоценного права на вымысел ради возможности непосредственно осмысливать то, что происходит на самом деле.

В. БАРЛАС



У Тамары Жирмунской вышла вторая книга стихов («Забота», изд-во «Советский писатель»). И если первая книга поэта — почти всегда шаг, в котором проявляется прежде всего воля к движению, то вторая книга — это уже шаг, означающий направление избранного пути. А сознание окончательности сделанного выбора способствует спокойствию и сосредоточенности.

В нашем мире, пережившем величайшие потрясения, в мире, внешние атрибуты которого весьма изменчивы, так важно взаимопонимание людей, душевная близость. И задача художника — содействовать этому. Творчество в любом проявлении своем — всегда попытка осмыслить жизнь и человека в ней, возвысить человека, оно не должно быть бездумным украшательством.

...Но сила творчества не в том, чтоб слыть нарядным пустяком и быть ничем на самом деле. Кроить от целого куска — как это трудно...

Но именно так достигается красота истинная, во имя которой стоит подняться «над ограниченностью сил и ограниченностью срока».

В книге много стихов, обращенных к старшим: к родителям, к отцу, к друзьям отца, к тем, кто прошел революцию и гражданскую, вынес бремя трудов и ратных дел нашей страны. Это люди особого склада. Их привычки, их манеры, быть может, и не всегда

вписываются в быт 60-х годов. И вот отец, которого мучает бессонница, человек мудрый и принципиальный, легко уступает дочери в споре, где она не права, а прав он. Тот «спор доказывает равенство между отцом и мной, как будто не он, а я была изранена, в опорки грязные обути, как будто я несла воззвание: «Смерть белой банде, красным слава!» — и подо мною конь вызванивал по улицам Бугуруслана... Отцы, чьи прошлые ранения все чаще колют нас укором, меня пугает их смирение перед пустым дочерним вздором».

Я позволил себе привести столь обширную цитату только потому, что родители наши — это прошлое, которое с нами.

Книга, которую мы читаем, тому подтверждение. Непредумысленность лирического решения есть почти в каждом стихотворении. Они написаны женщиной, нашей современницей. Она живет заботой сегодняшнего времени. Много работает. Любит. Сомневается и размышляет. А сердце ее, как говорили в старину, открыто и страсти и разлуке.

Достоинство не выкалывает себя, его необходимо разглядеть.

Н. ЗЛОТНИКОВ

В потоке стихотворных сборников скромно блеснула «Прекрасная волна» Дмитрия Сухарева, вторая книга поэта (изд-во «Советский писатель»).

Вероятно, сборник можно было назвать по-другому, потише. Холодно-новато-бодрое заглавие

не выражает его поэтического характера:

Нам назначена трудная чаша:
Отплясав по отвесным волнам,
Назначение смертного часа
Воспринять, как положено нам,
Воспринять, как положено людям,
Человечеству в целом, земле.
Вот тогда мы матросами будем
На своем Корабле.

За время, прошедшее после выхода первой книги, что-то новое очнулось в душе поэта, еще не всегда обретая себя в точном единственном слове, но уже обещающая более высокую духовную ступень. «Пребудем людьми, как должны», — пишет Сухарев, и эта нота становится у него ведущей. Рецептов нет, каждый решает по-своему. У Сухарева — выверенные веками моральные ориентиры, но в его устах они не звучат общим местом или заемной мудростью, потому что мягко освещены личным, неповторимым опытом: «...Человек не меньше человека, в этой теме важен верный тон. Иногда в дороге нам темно, иногда она непроходима, но идти по ней необходимо, ничего другого не дано».

Естественность интонации — вот что привлекает в живой поэзии Сухарева. Его негромкий голос с другим не спутаешь, его улыбку запомнишь надолго:

Сухиничи! Какое это место!
Ни бремени, ни боли,
ни простуд!
Кругом — сады, беспечные, как детство,
А по садам учительки растут.

В кажущейся простоте и наивности многих его стихов ощущаешь стремление чистого, душевно ясного человека возратить сложным отношениям жизни первозданную стройность и красоту. Конечно, при этом, пытаясь сохранить в целостности мир в себе и свое целостное восприятие мира, можно впасть в ересь примитивизма. Но такое Сухареву почти не грозит. Вырывают юмор, отсутствие поэтической поэмы и та органичность натуры, которая особенно ценится и в жизни и в поэзии.

Е. СИДОРОВ

Читая эту книгу, все время отвлекаешься от строк, чтобы взглянуть на снимки. Среди них есть знакомые и даже много раз виденные, но теперь их рассматриваешь с особой пристрастностью. Потому что книга написана об этих снимках. И о фотографии вообще. Написали ее фоторепортеры «Огонька» Геннадий Копосов и Лев Шерстенников. Издала «Молодая гвардия». Адресована книга молодым, и авторы ее тоже молоды, но при этом уже известные мастера.

Начиная книгу, они не забыли предупредить читателя, что «привыкли больше не к перу, а к объективу». Однако литературная часть книги выдерживает достаточно строгие критерии, применимые к первой пробе пера.

Копосов и Шерстенников чувствуют (и издательство, видимо, тоже) так быстро растущий сейчас интерес к фотоискусству и постарались сделать книгу интересной самому разному читателю. Но занимательность уводит их порой в сторону от темы, а романтический ореол во круг профессии фоторепортера становится нестерпимо ослепительным. «Каждая фотография — это история», — говорят авторы. И выбирают те кадры, у которых история позанимательнее. Но интересная история — это не всегда интересный снимок.

Копосов и Шерстенников на страницах своей книги скрывают (и даже чуть-чуть чересчур) полемический пыл, свойственный им и молодой фотографии вообще. Они вежливы к прошлому и, снимая вполне по-своему, не конфликтуют с традициями.

Но при всей подчеркнутой непolemичности тона многое в книге вызывает на спор читателя, хорошо знакомого с фотографией. И особенно снимки. Ведь работа, включенная в книгу без комментариев, должна быть принята как не требующая пояснений удача. Но именно потому, что здесь есть такие снимки, как портреты бурового мастера Норкина и академика Буднера, как «Моцарт», некоторые другие работы воспринимаются как заурядные. А может быть, этот авторский просчет как раз и поможет читателю выработать самостоятельные суждения.

Ю. ВЛАДИМИРСКИЙ



Семен
Близнюк

ПРЫГНИ СПИНОЙ

МЕХИКО. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Фото Бориса Светланова.

— Ущипните меня,— просит мой французский коллега Робер Парианте.— Неужели это не сон?

И, схватив бинокль, снова всматривается в черное табло на противоположной стороне стадиона, на котором зажглись три цифры: «8—90». Он так и писал в «Экспресс»: «Все это кажется чудесным сном. Надо широко раскрыть глаза, чтобы убедиться, что это не так. Мы присутствуем при событии, которое войдет в историю легкой атлетики, и, несомненно, потомки нам будут завидовать...»

Но фантастический прыжок Бимона был лишь одной из сенсаций, ежедневно поражавших наше воображение с 13 до 20 октября, пока длился в Мехико легкоатлетический турнир. Жаль только, что он открывал, а не завершал Олимпиаду: после него пульс игр бился уже гораздо спокойнее...

Не ищите в этих заметках последовательного описания легкоатлетического турнира: миллионы читателей спорта все видели на телеэкранах и обо всем читали. Здесь речь о том, что осталось за рамками экрана и за пределами спортивного отчета.

На верхнем снимке — торжествующий Боб Бимон; на среднем — Наташа Бурда перед стартом; на нижнем — рекордный прыжок Виктора Санеева.



Говорят, восьмая дорожка несчастливая. Белокурая девушка наклонилась, примеривается к колodkaм на этой дорожке. Медленно поднялась, убрала прядь волос, отрешенно улыбается. Теперь она медленно снимает костюм, укладывает его в металлическую корзинку.

Подбежал солдат в синем сюртуке и серой шляпе. Подхватил корзинку. На первой дорожке раздевается англичанка Л. Боад, на пятой — французженка К. Бессон. Восемь синих сюртуков, повесив на правые руки корзинки, становятся в шеренгу. Чекая шаг, уходят. Все. Теперь бежать. Круг. Белокурая девушка впереди. И не выдерживает — отстает. Не выдерживает? Мы видим ее лицо вблизи — здесь, возле финиша. Ярость и отчаяние. Еще чуть-чуть. Есть — третья! После французженки и англичанки. Такая медаль иногда на вес золота: кто бы у нас мог сказать еще год назад, что Наташа Бурда станет призером Олимпиады, да еще повторив старый рекорд Европы и установив рекорд страны — 52,2? Никто — по той простой причине, что 400 метров она официально бежала третий раз в жизни. Первый раз — в Испании, на зимних играх, второй — в Ленинакане, на всесоюзном чемпионате, и вот здесь... Не любила, даже ненавидела эти 400 метров... Возможно, ее бы не учили и не уговаривали, если был бы у тренеров выбор. А то она да Ингрид Вербеле — в общем, только на них и могли надеяться.

Спокойно шла после финиша, чуть наклонив голову. О чем ты, Наташа, думала?

— Сначала разозлилась на себя: зачем быстро начала? Могла, наверное, и первой быть. А потом, думаю, что же это я, дуреха. Медаль — боже ты мой, радоваться надо. А он, как узнает, что скажет!

Через перила окликает ее мексиканец. Шляпа низко надвинута на лоб. Черные стрелки усов, горящие глаза. Рядом переводчица: протягивает номер «Эксельсиора». В полстраницы ее цветное фото.

— Вы сводите с ума всех кабальеро, — плетет цветистые кружева мексиканец. — Распишитесь. Учтите, — он шутливо хватается за широкий пояс, — я потомок флибустьеров! Разрешите представиться — Марио де Сальвадос Кастро.

Правда, потомок флибустьеров оказывается на поверку местным скульптором, который до сих пор имитировал в камне богов ацтеков, а теперь увлекся спортом.

— Вы были прекрасны в этом порыве на финише, — восторгается Марио. — Скажите, у вас есть возлюбленный?

— Да.

— Счастливый человек! — вздыхает скульптор.

Через час, уже в деревне, Наташа просит меня передать этому «счастливому человеку», что рекорд и медаль она посвящает ему. Рядом сидит ее тренер Евгений Кузнецов и понимающе улыбается. С помощью телетайпа я выполняю ее просьбу.

Я помню, как часами, взявшись за руки, они бродили по Ленинакану. Самый высокий из наших барьеристов — москвич Валентин Чистяков и саратовская студентка Наташа Бурда. Валентин в Токио был в своем забеге дисквалифицирован, он делал ставку на Мехико, как на последнюю свою Олимпиаду. Наташа только в прошлом году появилась в большом легкоатлетическом свете. И планов у нее не было столь определенных, тем более что она терзалась между любимой дистанцией — 200 метров — и нелюбимой — 400. А потом, в финале, у Валентина ничего не получилось, он оказался третьим и не выполнил олимпийский норматив. А Наташе

пришлось бежать четыреста, и она стала вдруг чемпионкой. Она плакала от злости и досады, не понимая, почему у нее все получается, а у Вали, который так технично бежит барьеры, нет. А Евгений Кузнецов, у которого и Валентин и Наташа тренировались и который достаточно изучил их характеры, озабоченно помалкивал. Наташе было невдомек, что на тренировках он давал ей задания, точно подводящие ее к бегу на 400 метров, ни слова не говоря, что готовит ее к такому бегу. Но сейчас он думал, как бы отвлечь их от олимпийских дел.

Ранним утром автобус увозил нас из Ленинакана в Ереван. Я сидел позади Валентина и Наташи. На разбитой горной дороге автобус трясло и заносило. Наташа уже смирилась, что не быть в Мехико их свадьбе, и, устав от всех переживаний, дремала на Валином плече. Он закутал ее в свою кожанку и все три часа до аэродрома не шелохнулся, боясь ее потревожить.

В Мехико она было заболела, и это даже в какой-то мере ей помогло, так как она не участвовала в напряженных контрольных состязаниях, не думала о беге и жила, в общем, мыслями о том, что будет, когда она вернется домой. Обсуждала с Кузнецовым и свои студенческие дела — ведь она хочет стать врачом. И вообще толковали обо всем, только не о беге.

Как закончился ее бег, вы уже знаете. Состоялась и свадьба — правда, не в Мехико, а уже в Москве.

Нижний этаж олимпийского пресс-центра находился под землей, и там было прохладно, но телексы и машинки были рассеяны по комнатам и залам верхних этажей, где дышалось, как в горячей духовке. Даже «кондишен» не спасал. И, ошалев от жары, от сенсаций и не пройдя еще «временной акклиматизации», мы выстукиваем на тихих «Оливетти» свои отчеты. В первый же день на всех «Оливетти» выстукивался текст примерно одинакового содержания: знаменитый Кларк не выдержал борьбы на «десятке» и оказался лишь шестым. Африканцы верны обещанию добиться успеха на всех средних и длинных дистанциях. Нафтали Тему, не думая бежать эту дистанцию, стал чемпионом... А затем... Затем восклицательных знаков стало меньше: крушения фаворитов уже не удивляли. Киришентейн прыгает только 6.10 и не попадает в финал, американский дискобол Сильвестр остается без медали, выбывают из борьбы прыгунья Шмидт и пятиборка Розендаль... Ну, а новые чемпионы... Самые большие толки вызвал Дик Фосбюри. «Похоже на задний кульбит», — писали японцы. «Сальто. Это заднее сальто!» — восклицал Аллен из лондонского «Таймса».

Диковинные прыжки этого длинного веселого парня из Портленда и сейчас продолжают вызывать горячие дискуссии. Что же произошло в тот день в правом секторе? Трое претендовали на золото: наш Гаврилов и американцы Каразерс и Фосбюри. У Гаврилова еще побаливала после травмы пятка, и он начал с малых высот и когда добрался до 2.20, порядком устал. 2.18 пропустил, а 2.20 взял с первого раза. Приземлился, поглядел на планку: «Я уже подумал — чемпион. И больше настроиться не смог». А Фосбюри — тот настраивался особенно. Он стоял лицом к планке, под прямым углом, и невообразимо долго раскачивался. Дотошные специалисты подсчитали: 43—45 качков перед каждым прыжком. Очень быстрый, стремительный разбег — сначала прямой, затем, перед самой планкой, по дуге, — и он слева выходит к планке, потом отталкивается пра-

вой ногой. Поворачивается спиной в воздухе, прогибает спину, глядя на планку через левое плечо. И вот уже гибкое тело его словно обволакивает планку, и он приземляется на плечи, затем перекачивается на спину.

«Он внес коренные изменения в традиционную технику, подобно тому, как это сделал в 1912 году Джордж Хорейн. Он тоже был калифорнийцем», — так писала одна газета. «Парадоксальный прыжок. Его трудно принять всерьез», — писала другая. «Пируэт, который может привести к серьезной травме», — писала третья.

Ну, ладно. А что же сам Дик?

— Классический прыжок у меня не получался, хотя я был гибким да и разбегался быстро. Ну, а ростом бог не обидел — 193. И тогда один друг мне сказал: «Не можешь прыгнуть лицом вперед, прыгни спиной». Может быть, он пошутил — не знаю. Но я действительно решил попробовать. Это было в 19 лет, когда я учился в Орегонском университете. И, знаете, сразу получилось! Только на очень низкой планке. Я тренировался втихомолку. Тренер мне советовал быть осторожным: «А то еще засмеют». И даже когда я разучил свой прыжок, выступал только на университетских соревнованиях. И объявился за пределами университета лишь в этом году, когда у меня пошли прыжки за 2 метра. В сборной меня не считали первым номером, и поэтому я, конечно, очень доволен победой.

— Как называется ваш прыжок?

— Не знаю. У нас просто говорят о нем: «Фосбюри-фльол» (то есть трюк).

— Кто-нибудь будет еще так прыгать?

— Наверняка. Я уверен, что прыжки должны быть очень разнообразны по технике.

— А что вы посоветуете другим? Как чемпион?

— Я еще молод для наставлений. Единственное, пожалуй, скажу: «Играйте в свои игрушки». Важно же прыгать, как тебе удобнее. И главное — очень приятно, когда делаешь то, что сам придумал. Копирка полезна в офисе — не на стадионе...

— Что вы думаете о мировом рекорде Брумеля?

— Все может быть. Он в пределах досягаемости...

Яниса Лусиса, с его характерным выходом перед броском, ни с кем не спутаешь. И прыжки Тер-Ованесяна тоже. И, несмотря на молодость стажа, уже отличишь от других Санеева. Среди сотен других ходоков выделишь Голубничего; обладает яркой индивидуальностью и Гущин. Но много ли в нашей сборной индивидуальностей? И если появляются, то не стригут ли их под одну гребенку? Я глядел на молодую прыгунью Хелену Рингу и вспоминал ее первый выход на легкоатлетическую сцену — свежий, своеобразный. В Мехико она поскучилась и как-то сникла. Ее переучивали, долго и нудно читали ей технические нотации. Ничего не получилось: три заступа, три ноля. Кому же записать в пассив эти ноли?

Ежегодно в легкой атлетике у нас готовится примерно 500 мастеров спорта. А сколько ярких имен заставляет о себе говорить? По пальцам перечесть. В итоге достаточно сверкнуть способной бегунье, подобной свердловчанке Людмиле Жарковой, как за нее лихорадочно цепляются тренеры сборной, и журналисты посвящают ей десятки заметок... В итоге в сборную попадает мало ярких индивидуальностей, порой их надо переучивать, а переучивать индивидуальность всегда сложно. И селекционеры, свыкшиеся со средним уровнем, стригут их под ту же гребенку. Конечно, сборная-68 была гораздо бо-

гаче дарованиями, чем ее олимпийская предшественница. Но зыбкость основания — недостаточное развитие массовой легкой атлетики — на ней сказалась. Эта сборная осталась без крупных талантов во многих видах программы, поэтому так хлипкими были наши позиции в Мехико и на стайерских дистанциях, и в метаниях диска, и в женском копье. Посредственности не могут побеждать на Олимпиадах!

Тридцать три десятиборца начали олимпийский турнир. Только девятнадцать добрались до финиша. Четвертым среди них был Коля Авилов. После завершающей жестокой «полуторки» он свалился на мокрую траву, но, когда к нему подбежали врачи, он виновато улыбнулся, поднялся и, пошатываясь, побрел в туннель... Он мог бы бежать эти последние 1500 метров медленнее и все равно попасть в шестерку. И его бы никто не смел попрекнуть. Единственный из наших ребят, он закончил турнир. И ему всего двадцать лет, а, как известно, настоящими десятиборцами атлеты становились в более зрелые годы.

Но он рвался обыграть этого сильного немца Кирста и этих двух американских парней — Уодделла и Слоана. И понимая, что до медали ему не добраться, что знаменитости — и Тумей, и Вальде, и Бендлин — ушли далеко, он все же выкладывался до конца. Не понимал, как можно иначе. Он не знал, что в этот момент с трибуны за ним внимательно следил сам Джесси Оуэнс и что, заметив Авилова еще накануне, когда тот под проливным дождем прыгнул на 2 метра 7 сантиметров, Оуэнс сказал о нем:

— Это человек...

И поднял указательный палец.

Мы поймали Колю в туннеле, а он, прислонясь к своду, поглядывал на наши блокноты и молчал не в силах что-либо вымолвить. И только улыбался. И тут я вспомнил теплую осень в Одессе, трибуны Европейских игр юниоров и сомнения одного старого десятиборца, который, наблюдая за Авиловым, говорил:

— Данные изумительные. Высоченный, гибкий. Координация от бога. Но вот добрый какой-то! И потом... вечно улыбается. А тут злость нужна. И вообще... чтобы железо в характере.

Но, оказалось, ошибся ветеран. Оказалось, не из глины вылеплен характер Авилова.

Он вырос в веселой Одессе и полюбил спорт, пройдя по всем его классическим ступенькам — от детской спортивной школы через юношескую и молодежную сборные в олимпийский класс. Его тренер В. Кацман, видя способности Коли, зная его характер, не торопил ученика. Получались прыжки — и ладно. Но тренер исподволь старался развить в нем все качества, и не только технические. Учил терпеть, не унывать. Коля стал мастером в высоте, затем здорово прыгнул в длину.

Прошлым летом в Москве, на молодежном первенстве, он, однако, не радовался, выиграв длину: «Нога болит, не знаю, что сделаю в Ленинкане». И вот, перенеся травму ноги и ни разу в сезоне не выступив в десятиборье, он потряс всех на ленинканском чемпионате. 7905 очков — «с листа». Сумма, живущая в мечтах даже очень опытных! Он установил там много личных рекордов. В одном из этих рекордов весь его характер. Впервые в году взяв в руки шест, он прыгнул на 4,10. Авилова не подталкивали в сборную, не делали ему скидки на молодость: он сам пробился, сам набрал гроссмейстерскую сумму, сам завоевал медаль, давшую путевку в Мехико.

В Мехико Авилов был сильнейшим среди лидеров

на барьерах — 14,5. Он великолепно прыгнул в длину — 7,64. Он набрал 7 909 очков. Коля Авилов, как и Наташа Бурда, — открытие олимпийского года. Если бы таких открытий было побольше!

Вернемся к рекорду, о котором шла речь в первых строках. К рекорду Боба Бимона.

Сектор для прыжков в длину далеко от нас — прямо, за полем. Помогает портативный телевизор: на маленьком экране длинная черная фигура. Руки расслаблены — как на шарнирах. Разбег неимоверно быстрый. Мы видим, как Бимон взлетает высоко, словно прыгает через планку; он летит, вытянув вперед ноги и расставив руки. Кажется, планирует — так долго длится его полет. Мы не видим приземления, а видим лишь красные пиджаки членов исполкома ИААФа. Там Паулен, Хоменков, кто-то еще из жюри. Но зато мы видим, как Бимон, вытаращив глаза, смотрит на табло, а затем подскакивает и исполняет какой-то невообразимый танец. Потом падает на колени и целует тартановую дорожку. А через минуту начинается ливень. Он смывает последние надежды конкурентов Бимона на результаты, которые хоть бы отчасти соответствовали его рекорду. Ибо перепрыгнуть за его флажок, установленный на отметке 8 метров 90 сантиметров, дело просто немыслимое.

Уже в Москве я рассказывал Игорю Тер-Ованесяну о комментариях в «Экспрессе», где скрупулезно подсчитаны все плюсы идеальных условий, в которых прыгал Бимон: идеальная погода — попутный ветер 2 метра в секунду не превышал нормы, но помог сантиметром на двадцать. Тартан, мол, дал еще такую же прибавку. И потом... он точно попал на брусок.

— Пусть там высчитывают что угодно, — ответил Игорь. — А рекорд есть рекорд. Да еще какой! — И он вздохнул. — До сих пор не могу прийти в себя.

...Сквозь скошенное лобовое стекло «Форда» я вижу, как медленно бредет, накрывшись прозрачной накидкой, Бимон. Я забрался сюда, поджидая его после традиционной пресс-конференции в темном прокурорском зале под трибунами. Я понимаю, что после этой пресс-конференции разговор будет сложным.

Бимон раскрывает коробку, долго разглядывает медаль. Узнав, с кем беседует, вдруг отвечает по-русски. Слова произносит медленно, ему трудно даются шипящие, и родительным падежом он еще управлять не может. У себя в Эль Пасо, в университете, учит русский уже второй год.

— Что я думал? Только выиграть. Мне это очень нужно было — выиграть. И спасибо Бостону, вчера мне помог. Очень помог. Я два раза заступал. А он говорит: «Отнеси разбег на 10 сантиметров и прыгни вполсилы — все равно на восемь прыгнешь. Ты же просто чудак. Ты же только что на 8.50 прыгнул — и заступил». Я так и сделал. А сегодня разбег полчаса отмерял. Четыре раза отмерял.

— А вам так нужно было выиграть?

— Эль Пасо — это рядом, это почти на границе. Там с неграми плохо. Совсем плохо. Весной одного черного парня хотели исключить из университета, а я организовал протест и сказал, что не буду прыгать, если его выгонят. Оставили. Но зато мою жену через месяц выставили из магазина, где она работала продавщицей, да еще пригрозили. И нам стало худо. Вот почему я должен был... В общем, жить надо... и университет я хочу закончить. — Он задумчиво забарабанил по стеклу. — Не знаю, как будет

теперь, после этой конференции. Но жить надо, — повторил он.

Я помню, что случилось со Смитом и Карлосом, двумя самыми быстрыми спринтерами планеты, и понимаю Бимона.

Смита и Карлоса исключили из сборной за молчаливый протест на пьедестале. Но если Смит на пресс-конференции еще говорил слова, объясняющие многое: «Негров в Штатах травят, как псов», — то на следующий день Эванс и Фримен, выигравшие 400 метров с феноменальными результатами, уже вели себя несколько по-иному. Подобно Смиту, они тоже поднялись на пьедестал в черных перчатках и черных носках, еще натянув вдобавок черные береты. Но на пресс-конференции из них не могли выдавить ничего определенного.

— У нас нет заявлений, — упрямо твердил Эванс. Хотел было снять берет: в пресс-центре было душно, — но, взглянув на нескольких черных, отлично одетых людей, стоявших поодаль, отдернул руку. Эти люди были из организации «Власть черным» — организации, как нам рассказывали, проникнутой духом религиозного фанатизма (расизм в США порождает и такую реакцию). И мы поняли, меж каких двух огней жили эти бегуны, которыми только что восхищался стадион.

Бостон и Бимон, по их словам, — сторонники другого движения, их кумиром был Мартин Лютер Кинг. И когда подошел их черед давать пресс-конференцию, они резко и решительно осудили Олимпийский комитет США, изгнавший Карлоса и Смита из команды. Нужно было обладать незаурядным мужеством, чтобы такое сказать во всеуслышание. Вот почему такой тоской были проникнуты ответы Бимона в ночном автобусе.

Спустя месяц в зарубежной печати появились сообщения: предприимчивый менеджер Джерри Херрман планирует в Штатах создание «легкоатлетического цирка» из звезд первой величины — сошедших и даже действующих. По слухам, Бимон будто бы дал согласие на контракт с этим цирком.

Перечитывая это сообщение, я вновь слышу его слова: «Жить надо...»

Вспоминаю Яниса Лусиса. Он говорит тихо: «Не надо было волноваться, я все точно рассчитал, я верил, что выиграю». Вспоминаю и Эдуарда Гущина. Никто не знал, как болела у него рука, когда он шел в атаку на медаль, как он дважды травмировался и все же сумел добиться того, чего не достигал ни один из наших гигантов-метателей. И еще вижу я иссиня-бледное лицо Виктора Кудинского — после предварительного зачета в стипль-чезе. «Если бы они свалились в яму с водой, — пробует он отшутиться, говоря об африканцах, — тогда бы выиграл». Его трясет, у него подкашиваются ноги. И сваливается он — не они. Не только из-за травмы, полученной накануне... И флегматичный бег Леонида Микитенко — стайера, который вырос в горах и на которого четыре года так надеялись. Он не переживал счастливых мучений, как марафонец Сухарьков или ходок Смага. Он словно не замечал, что в одиночку борется на дистанции его товарищ — Свиридов... А Хлопотнов, швырнувший на обочину эстафетную палочку за 16 метров до конца коридора?.. Мужество и малодушие — они часто рядом. И если дрогнули некоторые наши атлеты в Мехико, если одни не справились со страхом, другие не проявили духа товарищества и самоотверженности, — не потому ли все это произошло, что их технике, а не воспитанию уделяли все внимание многие тренеры?

Наша легкоатлетическая сборная выступила в Мехико хуже, чем на всех предыдущих Олимпиадах. Она осталась, как и в Токио, второй, но как скуден оказался ее багаж! Только три золотые медали! А ведь легкая атлетика — Мехико это ярко подтвердило — задает тон Олимпийским играм, она определяет и успех в неофициальном, но таком важном командном зачете, от нее зависит общее настроение.

В Мехико родилось 27 олимпийских рекордов в легкой атлетике. 14 из них — мировые. Но только один из 14 принадлежит нам. Это рекорд Виктора Санеева — 17 м 39 см, в тройном прыжке. За нашу сборную выступало 70 спортсменов. Вакансий в ней было 117. Это была сильная, но самая малочисленная сборная за всю нашу олимпийскую историю. А из этих 70 только 20 принесли олимпийские очки и медали. Ни одной медали не принесли мужчины на беговой дорожке; из 22 видов бега только в двух — женской эстафете и женском беге на 400 метров — нам достались награды.

— Мы убедились, что не могли обыграть американцев. Но мы выступили гораздо хуже своих возможностей, — сделал признание после Олимпиады старший тренер сборной Гаврил Коробков.

Маленький, тонконогий, легкий, словно высушенный африканским солнцем. У него смущенный взгляд. Будто извиняется, что обыграл знаменитостей на такой почетной дистанции. Это 23-летний солдат Нафтали Набиба Тему — первый чемпион Олимпиады, победивший 13 октября на дистанции 10 000 метров. Я говорил с ним до старта.

— Не люблю спокойный бег, — признался он. — Попробовал здесь, на репетиции, «рваный темп» Куца — и задохнулся, хотя вырос в горах. И все же мы — я говорю об африканцах — еще постараемся даже в Мехико доказать, что спокойный бег и расчет только на финиш годятся для представлений, а не для Олимпиад. Нас учили бегать «по Куцу». И думаю, что для выносливых его бег очень подходит.

С высокогорьем шутить нельзя. И все же фрагменты «рваного темпа», рывков, игры на дистанции африканцы продемонстрировали: и когда Гаммуди выиграл «пятерку» и когда блестяще обошел всех на «полutorке» Кейно.

— Заметили, какая у них коллективная тактика? — говорил Владимир Куц, который был почетным гостем Олимпиады. — Друг дружке помогают, на одного работают — сильны во всех отношениях.

А нам было понятно, почему вздыхал герой Мельбурна. Он не видел своих наследников среди земляков. Отмечал разве только Свиридова, который героически сражался в одиночку на двух стайерских дистанциях. Забвение собственных славных традиций — не это ли одна из причин хронических неудач наших бегунов на последних Олимпиадах? Дома мы часто слышали, как наши тренеры проповедовали бег на австралийский или новозеландский манер. Но бегать «по Куцу» не учили. Это уж точно. Ибо на всех чемпионатах и мемориалах мы видели робкую тактику высиживания за спиной. А перед Олимпиадой в Мехико наши специалисты совсем запугали и стайеров и средневики — в Армении, например, в соревнованиях, никто на результат и не бежал.

Сейчас ученых, во главе с директором ВНИИФКа А. Коробковым, готовивших олимпийцев, порядком критикуют: ошиблись в сроках, навязали всем легкоатлетам поездку в Мехико за месяц до старта, стай-

еров передержали в горах. Оставим спор об акклиматизации, хотя заранее всем было известно: на спринт, прыжки и метания мексиканское высокогорье пагубно не влияет.

Но я хочу здесь обратить внимание и вот на что: проводя в Мехико неделю-другую, спортсмен уже начинал считать дни до главного старта: «Неужели еще столько же?» Не случайно же Аркадий Никитич Воробьев, наставник штангистов, врач и тонкий психолог, записал в тетрадь: «К концу месяца расход продуктов на кухне упал. Аппетит у наших олимпийцев снизился...» Вот так месяц жди, изнывай. Это ожидание, например, совершенно вывело из равновесия Огорокову. На тренировках она легко брала 187, на соревнованиях была непохожа на себя: 180, и все. Одним, возможно, на пользу пошли напряженные старты накануне открытия. Но других, как наших спринтеров, они опустили с пика формы до безнадёжных секунд. Тут в общем-то трудно вывести уравнение для всех. Да и не нужно. Мне кажется, что приступы ностальгии, боязнь соперников, потеря формы — следствие того, что характеры олимпийцев плохо изучались их наставниками.

В первое же свое олимпийское утро мы, журналисты, отправились глядеть нашумевший тартан. Тонкое, в палец толщиной, шероховатое кольцо было уложено на бегон. Во время заливки смесь посыпалась резиновой крошкой, которая и придавала тартану нужную шероховатость. Мягко поддавался покров под ногами. Как бежать по нему?

После неудачи в прыжках в длину Ирена Киршенштейн сказала:

— Совершенно иначе пужно разбежаться. Я это поняла поздно.

Она учла урок, поработав над техникой и установив великолепный рекорд на двухсотметровке.

Не всем удалось подобное. Недаром спринтеры вздыхали: «Тартаном за месяц до старта не надышишься». В Мехико было шесть тартановых колец. О том, что предстоит бежать по такому кольцу, было известно четыре года назад. Но первые метры собственного тартана были у нас уложены в Лужниках на Большой арене, когда олимпийцы улетели в Мехико!

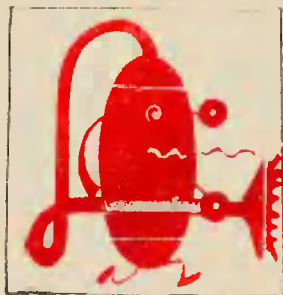
Представьте себе, как выглядели бы, скажем, наши футболисты, которым пришлось бы со своих твердых зеленых полей выехать на турнир, организованный на сыпучем песчаном грунте. Примерно так же чувствовали себя на тартановых дорожках наши легкоатлеты.

А чего стоят злоключения Геннадия Близнецова с шестом! Перед самой Олимпиадой он опять оказался на голодном «фиберглассовом пайке», поскольку в Ленинкане у него сломался один из боевых шестов — самый жесткий.

Сразу после выступления (а Близнецов, как известно, установил в Мехико новый всесоюзный рекорд, но мог бы рассчитывать и на большее) он говорил:

— Гляжу, другие после 5 метров 30 сантиметров переходят на более жесткие шесты. У американцев и немцев полный боевой комплект. А у меня шест мягкий — для большой высоты не годится. Право же, чувствую, мог бы и 5.50 взять...

Неимоверным взлетом результатов Мехико было обращено в будущее. Но Мехико уже позади. А бег времени в спорте удивительно быстр. 1972 год — он уже видится теперь. И подъем к нему, к этому новому олимпийскому году, начался всюду. Не презевать бы нам!



ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

(Продолжение)

Рисунок В. Бабичева

Сейчас уже научно доказано, что бывают время от времени такие миражи, которые видно за многие сотни километров. То вдруг корабль по небу плывет, то вода виднеется. На все эти штучки есть строго научный ответ: да, такое может иметь место.

Но это в наше время. А раньше, в эпоху поголовной темени и суеверий? Появись на небе такой мираж с кораблем, все сразу авторитетно признают в нем «летучего голландца» и начнут мифы сочинять.

Это довольно непостижимо. Обыкновенный человеческий мираж ставил тогдашних граждан просто-таки в неудобное и даже глупое положение. Иное дело теперь, в эпоху расцвета науки...

Вот на прошлой неделе, например, в шестом часу вечера недалеко от Шестой Оптимальной улицы появился на небе мираж этого самого «летучего голландца».

Летит, понимаете ли, корабль. Не воздушный корабль, как сейчас принято выражаться, а обыкновенный, значит, фрегат. Не спеша летит, по-хозяйски.

Спускаться начал. Ладно, смотрим. Люди грамотные, понимаем, что мираж, а все равно интересно. Подлетел «голландец» к вокзалу. Вокзал у нас не речной, но «голландцу» этого не понять. Зато шпиль есть, за который причалить можно, как положено.

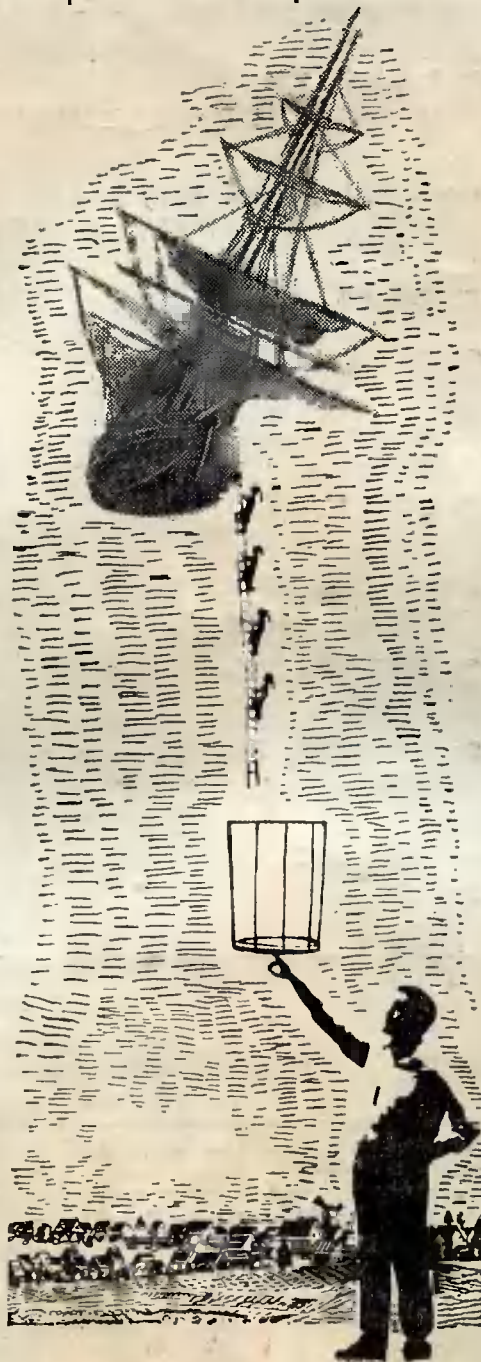
Смотрим, причаливает. Понимает. Наблюдаем молча. Потому что знаем, что корабля-то на самом деле нет — мираж. Все-таки образование у каждого не шуточное, науку от псевдонауки отличить можем.

Но вот с «голландца» бросают веревочный трап, и с корабля на землю начинают матросы высаживаться. Один спустился, другой.

Весь город на улицы вывалил. Смотрим пока спокойно, хотя неясности кое-какие по ходу дела возникают. Уж не экспериментальная ли это объемная телепереда-

ча? А матросы на нас уже пальцами показывают. Наглеют. Зубы по-голландски скалят. Мы терпим. Знаем, что так не бывает, что мираж. Разумеется, сами на своем языке перебрасываемся. Вполголоса. Чтобы не спугнуть.

Один матрос подходит враскачку к газировочному автомату и сует в него монету. Из автомата бьет фонтанчик. С сиропом. М-да.



Мы стоим себе, размышляем. Мираж не мираж, а автомат работает. Булькает, шельмец! Стало быть, бросил голландец монету. Интересно только, откуда он три копейки взял, ежели в Голландии гульденны?

А сами чувствуем, как просыпается в нас первобытное язычество, и мурашки по организму пробегают. Что же это, граждане, получается? Где ваша хваленая передовая наука? Почему спит атеистическая пропаганда?

Конечно, проверить надо. Уж не спим ли мы? Эх, мальчика, маленького мальчика не хватает, чтобы крикнул: «А король-то голый!» Но все молчат. Даже мальчишки. Нынешних мальчишек голым королем не проймешь. Они уже на своем веку перевидали. По телевизору. До 16 лет.

«Братцы, что же это? — думает каждый. — Не хотим, а верим? А?»

Окаменели все! И вдруг один из служащих к-ак бухнет на колени, руки к небу задрал и:

— Чу-у-у-до! Свет очей! Веди!

И тут, видимо, от сотрясения воздуха корабль — ах! — и растворился, как мираж. Все вышло точно по науке. В общем, где-то в глубине души мы так и думали, что этим кончится. Но напугал все-таки нас этот черт...

— Наверное, из-за границы шуточки-то?

— А то откуда же! Голландец!

— Но что же все-таки это было за явление?

— Никакое это, граждане, не явление. Это, товарищи, простой единичный факт. Факт этот нетипичный. Так что нечего тут обобщать.

Ну, что же, объяснение научное, против фактов не попрешь. Все поверили.

Один только человек не поверил. Тот, что ежедневно из газировочных автоматов выручку выгребал.

В одном из них вместо трех копеек он обнаружил... гульден.

ДВЕ ЖИЗНИ

К 200-летию со дня рождения
И. А. Крылова

Юбилейные даты хороши уже тем, что возбуждают у нас новый интерес к хрестоматийным источникам.

Прошел юбилей Тургенева: театры поставили «Месяц в деревне» и «Нахлебника», школьники открыли для себя «Вешние воды» и «Первую любовь». Оказалось, что автор «Записок охотника» и «Отцов и детей», как никто из русских писателей, умел писать пробуждающую любовь, главное таинство юности. Некоторые публицистические мотивы тургеневского творчества нажуются сейчас устаревшими. Природа и любовь Тургенева остаются неслепыми.

Басни Ивана Андреевича Крылова настолько росли в русский быт, что мы уже не ощущаем их фактом литературы. Становясь взрослыми, мы редко открываем книги Крылова, высокомерно оставляя его следующим детям. Эта традиция даже закреплена в быту: «дедушка Крылов».

Между тем он никакой не «дедушка» и уж, конечно, не устаревший писатель. Как и Державин, как Новиков, например, которых сегодня читают больше, чем десять лет назад.

Стоит перечитать и Крылова. В сущности, мы его знаем совсем мало и часто забываем, что это был первый русский писатель, попытавшийся выразить многообразные стороны народного, национального сознания. В этом смысле он непосредственный предшественник Пушкина, который называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом».

Это был человек удивительной судьбы. Он прожил две жизни. Он начинал как сатирический публицист, писал стихи, очерки, драмы, театральные рецензии. Можно сказать, что Крылов был одним из родоначальников русской демократической журналистики. Цензура последовательно закрывала три его журнала — «Почта духов», «Зритель», «Санктпетербургский Меркурий». Молодой Крылов исчез из столицы, и несколько лет Россия не слышала его голоса.

В вельможный век, при Александре I, родился Крылов-баснописец. Началась вторая жизнь, которая продолжается и сегодня.

Крылов не сохранил бы своего значения до наших дней, если бы он был злободневен и только. В поэзии Крылова с замечательной силой выразились народные положительные идеалы — здесь истоки его бессмертия. «Его притчи», — писал Гоголь, — «достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве».

Е. ЮРЬЕВ

● К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. КРУПСКОЙ

- Наша Надежда Константиновна 5
А. СЕВЕРЬЯНОВА. На заре пионерского движения 6
Алексей СТРЕБКОВ. Мой учитель ленинизма 10

● ПРОЗА

- Евгений ВОРОБЬЕВ. Увольнительная в город. Рассказ 25
Анатолий ТКАЧЕНКО. Желтый бурукан. Повесть 35

● ПОЭЗИЯ

- Геннадий ХОРОШАВЦЕВ. Горны. Вечерняя поверка. Выбор 2
Владимир ПОЛЕНОВ. Мальчишки 2
Виктор СЫЧЕВ. «По-2». «Ему б в какую-нибудь Ниццу...» 3
Юлия ДРУНИНА. «Мне уже в начале жизни повезло...». Из сицилийской тетради. «И с каждым годом все дальше, дальше...». «В моей крови — кровинки первых русских...». 4
Михаил КВЛИВИДЗЕ. Чола. Фотография. Мольба. (Перевела с грузинского Е. Николаевская). Песня. «Он ждал возникновения своего...». (Перевела с грузинского Б. Ахмадулина) 20
Хута ГАГУА. Голоса. Сон. «Утро ли вспыхнет веткой миндальной...». Постой, охотник... (Перевел с грузинского О. Чухонцев) 21
Наум КИСЛИК. Соль. Поэма 22
Юрий МЕЛЬНИКОВ. «Шумит неумная вьюга...». 23

- Виктор УРИН. Ракетчики. Расставание с агитбригадой. «Есть в зиме материнское что-то...» 24

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

- Станислав РАССАДИН. Точка Архимеда 81

● ПУБЛИЦИСТИКА

- В. ЛЮБОВА. Военный объект № 736 15
Ирина ДЕНИСЕНКО. Отцы и дети. У семи нянек... 79
Михаил ШУР. Спецкурс тайги 86
Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год). Из воспоминаний. (Продолжение). 90

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- Анна КУЗНЕЦОВА. Как Эйнштейн аккомпанировал Гельцер 101
Е. ЮРЬЕВ. Две жизни 112

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 104

● СПОРТ

- Семен БЛИЗНЮК. Прыгни спиной 106

● «ПЫЛЕСОС»

- Вл. ПАНКОВ. Летучий голландец 111

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ
и А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор
Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 255-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 00325. Подп. к печ. 4/II 1969 г. Формат бумаги 84×108^{1/16}.
Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз.
Изд. № 388. Заказ № 3457.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Из иллюстраций М. Алексеева и Н. Строгановой
к басням И. А. Крылова.



«Мартышка и Очки»

«Квартет»



«Свинья под Дубом»





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120